НЁМАН

8/2010
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей ФЕДАРЕНКО. Ревизия. *Роман. Окончание.*
Перевод с белорусского автора и А. Чероты 3
Микола МЕТЛИЦКИЙ. Спиралью близкого родства. *Стихи.*
Перевод с белорусского Ю. Сапожкова 41
Анатолий КОЗЛОВ. Примириться с ветром. *Повесть.*
Перевод с белорусского И. Шевляковой 47
Анатолий ЦИРКУНОВ. О соле мио. *Стихи* 84
Владимир СТЕПАН. Акварельные рисунки. Дед. *Повесть.*
Перевод с белорусского А. Маркович 85
Наталья СОЛОВЬЕВА. Любовь — величайший художник. *Стихи* 103
Дарья МАКСИМОВА. Странные сказки 108
Георгий ЛИТВИН. Ягодные места. *Стихи* 115
Татьяна КУВАРИНА. «Как богат я в безумных стихах» 118
Владимир ШУГЛЯ. Мамина тропка. *Стихи* 121

Наследие
Павел ШПИЛЕВСКИЙ. Исследование о вовкалаках.
Предисловие А. Ващенко 124

«Всемирная литература» в «Нёмане»
Борис НОСИК. Гений из Смиловичей 136
Огден НЭШ. С точки зрения вечности. *Стихи.*
Предисловие и перевод Ю. Маслова 159

Культурный мир
Алесь МАРТИНОВИЧ. Настоящий рай — Молодечненский край 167

Личность
Надежда СИВЧУК. …Любовью своею сильны 180

Документы. Записки. Воспоминания

Татьяна ШАМЯКИНА. Природа вошла в его сердце как Родина 187

Время. Жизнь. Литература

Зинаида ДРОЗДОВА. Время толстых романов 198

Иван ШТЕЙНЕР. Криница, из которой пил святой 209

Из почты журнала

Кирилл ЛАДУТЬКО. Диалог поэтов и культур 222

Авторы номера 224

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные по электронной почте, редакция не рассматривает.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 10.08.2010 г. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,25. Тираж 3477. Заказ 1882.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО

Ревизия

Роман

6

Не паеду сёння на трамваі —
Лепш вячэрнім горадам прайду.

Он шагал себе потихоньку, и представлялось ему, что идет не один, а с девушкой. Ему хотелось, чтобы была это Нелли, но это была другая, незнакомая, немножко лишь на Нелли похожая — так: сборный тип.

Во всем, на что бы он ни смотрел, она присутствовала. Она была и этим скрипучим снегом под ногами, и звездами над головой, и светом фонарей, и освещенными витринами магазинов… Постепенно она материализовалась, и вот они уже идут рядом, и он как будто разговаривает с ней…

Черт возьми! Ну почему не может быть так? Почему все, что для других обычное, нормальное, доступное, для него — недостижимо? Вышла девушка покурить на кухню и заинтересовалась тобой, и с того момента прочно «прописалась» в твоей душе и мыслях — ну и радуйся. Почему бы, на добрый лад, не дать этому продолжение? Не пригласить ее в ресторан на день рождения? На машине до университета не подвезти? Бриллиантовое колье не подарить?

И что у меня за судьба такая! Кто, когда и за чьи грехи на меня такое проклятие наложил? Как только мелькнет лучик надежды — так жди вскоре периода слепоты; как только грамм радости — так получай вдогонку стопудовое разочарование…

Любому нормальному парню какие бы на его месте открывались перспективы! Хоть бы в меркантильном плане: минская квартира, хорошие и богатые тесть с тещей, умная и красивая девушка, а то, что без царя в голове, так совсем молодая же еще…

«Нормальному!» В том-то и дело, что надо же было Нелли нарваться именно на него — не-нормального, не-обычного. Даже то маленькое, простенькое, что у меня сейчас есть, эти безобидные мечты, это отстраненное наблюдение за чужими жизнями — даже это для меня роскошь, потому что может закончиться в одно мгновение, потому что нависла дамокловым мечом операция, отравлена постоянной, ужасно тупой подготовкой к концу всего…

Тут ему вдруг обидно стало. Не за себя, не за судьбу свою извилистую, а… за женщин. Ладно, все так: болезни, бедность, унылость, некоммуникабельность… Но ведь это внешнее. Так угадайте внутреннее! Оцените его, вознаградите его. Вас же тысячелетиями восхваляют поэты, рисуют художники, воспевают композиторы; где хваленое сострадание ваше, где интуиция ваша? Почему вы не чувствуете, что таких, как я, — необычных, особенных, — может быть, два человека на весь этот город?

У вас спрашиваю.

«Всю жизнь зову их и зову, а они, сволочи, не идут и не идут» (Ю. Олеша). Тут еще вот что: Игоря с Терешковым, или того же Ведрича, полюбить дело

Окончание. Начало в № 6, 2010 г.

нехитрое. А вот его — «полюбите меня черного, а белого я и сам себя полюблю» (народная поговорка). Куда, к плечу какой Мармеладовой прижаться, к чьим коленям преклонить буйну голову, кому — нет, не поплакаться, не пожаловаться — последнее это дело, а с кем скупыми двумя-тремя фразами перемолвиться?..

Почему же тогда удивляемся возрастающей волне «голубизны», этой своеобразной мужской мести им — от имени всех их неисчислимых жертв, от имени всех тех, кого они, эти носатые и грудастые, раньше времени свели в могилу, загубили в войнах, развязанных из-за их дурацких капризов, уничтожили на дуэлях, сгноили в тюрьмах и дурдомах; мести от имени миллиардов тех, кто так и не родился, убитый их абортами…

Вот занесло. «Не мне бы говорить о них с такой злобой, — мне, который, кроме них, ничего на свете не любил» (М. Лермонтов).

Тогда можно вспомнить и о том, сколько войн из-за них не случилось? И то, скольких спасли они, повытаскивали из петель и дурдомов?.. Да и с чего ты взял, что Нелли… Может, не так и безнадежно все. «Ты меня интересуешь…» Случаются же чудеса на свете. Может, Нелли как раз и есть то самое исключение, у которого можно спрятать голову на коленях? Предвестница какого-то перелома? Так сказать, плата, гонорар ему за все невзгоды. И с этого времени наладится все, и операция пройдет удачно, и поправится он, и писателем станет или юристом, как Илья Ильич, и разбогатеет сказочно, и на машинах разъезжать будет, и по ресторанам Нелли водить…

А вдруг? Просто допустим. В шутку, не всерьез, ненадолго. Что вот вскоре будет у них купе одно на двоих, целая ночь, без света… И что он ей скажет? В таких случаях нормальные люди обычно строят светлые планы: как жить, как разбогатеть, как вырастить детей… А он — какую счастливую перспективу сможет он нарисовать перед ней? Сообщить о своей операции? Похныкать, что нет денег на лечение? Поныть, как тяжело ему всю жизнь, без будущего…

Здорово. Вот с этого давай и начинать. Так женщины виноваты или мы, такие, как я, — слабые, истеричные создания, несущие им вместо силы, уверенности, любви свои сопли в платочках?..

7

Назавтра после ее дня рождения, в понедельник, на первой же лекции Трухан оказался с Нелли за одной партой. Это было впервые за всю их совместную учебу. И сегодня, вот сейчас, Трухан поклясться был готов, что ни он, ни Нелли специально не подгадывали, чтобы так сесть. Просто судьба наконец решила обратить на них внимание и вмешалась: взяла за шиворот одного и другую и свела их вместе.

Что бы ей сказать? — прикидывал Трухан, искоса на нее поглядывая. Просто поблагодарить за приглашение? У него и в мыслях не было давать продолжение вчерашнему разговору на кухне.

Он повздыхал, повертелся и, так и не придумав ничего (аромат духов ее мешал, и ее нога возле своей, и «что за партой одной ты сидела со мной…»), лишь бы дать пальцам разминку, взялся конспектировать лекцию, механически, от скуки переводя эту нудятину на белорусский.

— Ну, не передумал? — Нелли тронула его за локоть. — Ты приглашаешь меня?

Легкая досада была в ее голосе — оттого, что не он, а она вынуждена начинать. Она не понимала его молчания. Откуда ей было знать, что еще во

время вчерашней прогулки по вечернему городу, и позже, ночью, он уже все осуществил: съездили они в деревню, вернулись, он ей выговорился и признался в любви, и предложил выйти замуж, и получил насмешливый, строгий отказ… Потому и был он сейчас почти сердит на нее — как будто все это произошло на самом деле.

— Я как раз сегодня собирался ехать за билетом. Так что — за билетами? Если ты не…

— Ничего я не… Сказала же. Просто не думала, что так скоро.

— Нелли, может, ты мне просто одолжение делаешь? Смотри. У тебя своих дел хватает.

— Сказала же!

Он читал по ней, как по раскрытой книге: по лицу, по сердито поджатым губкам, по наивному прищуру глаз; старался угадать ход, последовательность, чередование ее мыслей и, казалось ему, небезуспешно — угадывал, «входил» в нее хоть таким образом…

Ей, к стенке припертой, теперь некуда было отступать. Из желания сделать наперекор — он не сомневался в этом — она поедет. Билеты. Может, цветы. Вагон-ресторан, пятое-десятое… Если б можно было на день назад перенестись! Тебе же давали вчера деньги.

Вечером он поехал к Ведричу.

Поехал на авось, не зная адреса, помня только название улицы. Однако чудовищное облезлое здание общежития можно было найти и без адреса. Только сейчас, к крыльцу подходя, Трухан опомнился, что студенческий билет не взял, и могут не пустить, а номер комнаты он тоже не знает. Как и не знает, где может быть сам Ведрич. Так он и сидит сейчас на месте, с его характером, и ждет…

Но коль уж судьба возьмет под свою опеку, то всерьез и надолго. Не пришлось ни у кого проситься, никому ничего объяснять, даже в вестибюль Трухан не зашел, потому что столкнулся с Ведричем нос к носу на крыльце, в дверях, над которыми тускло светилась забранная в сетку лампочка. Ведрич был с сумкой в руке. Увидев Трухана, он не обрадовался, а как будто застеснялся чего-то. Перебросил сумку в левую руку, чтобы поздороваться. Предательски зазвенели пустые бутылки.

— Немного порядок решил навести, — нашелся, как объяснить, Ведрич. — А ты чего здесь? За деньгами пришел?

— Да нет — так…

— Не ври. Вижу, что за деньгами. Спохватился. Тебе вчера давали? Так надо было брать… Ладно, насупился уже. Найду я. На, сумку подержи, — и пошел, не пригласив Трухана даже в вестибюль, не то что к себе.

Пока ждал, Трухан топал на крыльце, чтобы ноги не замерзли.

— На, — сказал, появившись, Ведрич. Трухан запихнул скрученные трубочкой купюры во внутренний карман куртки. — Беда мне с вашей любовью. По глазам вижу, зачем они тебе понадобились. Трухан, хочешь совет? Не рассчитывай на Нелли. Это дохлый номер. Она не по тебе девка. Не строй планов, потому что потом только хуже будет. Как друг тебе говорю!

— Да мне… долг отдать…

— Знаю я! После вчерашней кухни тебе этот долг понадобился.

Таким образом проблема с деньгами была решена.

В субботу вечером Трухан так же, как на крыльце общежития Ведрича, пританцовывал на перроне возле поезда, который вот-вот должен отправиться. Смех смехом, но это было первое в его жизни свидание, со всеми атрибутами: волнением, беспокойством, гаданием: придет — не придет, взглядами на часы

то на руке, то на большие вокзальные… С букетом цветов и со смутной догадкой, что вскоре может отозваться ему эта формальность, это желание «быть как все»: где и во что зимой в поезде их поставить, эти цветы, и как в тесном купе будут они лезть все время под руки — мешая, надоедая…

Время бежало. На перроне докуривали сигареты последние пассажиры. Проводница просила лишних «покинуть вагон». Трухан увидел Ее, когда возвращался от мусорки, куда ходил выбрасывать букет.

Румяная, запыхавшаяся… Милая — она спешила к нему. В спортивном костюме. Удивительно, как это он раньше не замечал, что при миниатюрной фигуре у нее такие длинные, ровные ноги. Так вот оно как бывает. Вот ты какая, любовь, эпизоды твои, детальки — такие значительные… Переходы-перегрузки твои — то в жар, то в холод, то в грусть, то в радость…

— Молодчина, что догадалась так одеться, — еще ничего не понимая, счастливый, сказал он. — И идет тебе, и для дороги…

— Алесь, я не смогу, — быстро перебила она. — Не обижайся.

— …практичный, — по инерции продолжал он, и когда договаривал конец фразы, тогда только до него дошло, что никто ни с кем никуда не едет.

— Билета жалко — пропадет…

— А ты хозяйственная, — сказал он, криво улыбнувшись. — Экономная.

— Счастливо съездить.

Поезд уже трогался. Проводница сошла с подножки и впустила Трухана. В тамбуре он оглянулся. Нелли приложила к губам палец, улыбнулась ему и помахала рукой. Проводница это видела, и другие люди на перроне… Девушка сама поехать не может. Но пришла на вокзал, чтобы проводить парня. Все так просто.

Он прошел в купе. Три места были свободны. Прошла проводница, забрала билет. Он посидел немного, потом взял сумку и — через тамбур, через переходной мостик, на котором качало, как на корабле во время шторма, через этот ветер, свист, стук — прошел в общий вагон. Минут через пятнадцать, в Мачулищах, он вышел на намного более людный, чем в Минске, перрон. Люди ждали электричку. В это время бегали они одна за другой. Трухан пропустил одну, потому что не захотел выбрасывать недокуренную сигарету. Другая подошла… И вот снова минский вокзал плывет за окном.

Общежитие. Комната. Игоря нет, не нужно ничего объяснять. Хотя слабенькое оправдание было им приготовлено: опоздал на поезд.

Он включил свет. Сел на кровать. Хорошо, вертелось в голове, хоть цветы выбросил. Стоило одалживать деньги, готовиться, беспокоиться, чтобы через какой-то час сидеть здесь, на этой кровати, где мог бы и никуда не собираясь сидеть… Большая глупость с его стороны!

Горел свет, а он все сидел: то ли спал с открытыми глазами, то ли просто задумался… Затихла за стеной музыка. Только потрескивала, шамкала что-то — тихо, как иголка по краю пластинки. Он поднял голову и увидел, что это… таракан ползает под газетой. Не под газетой даже, а под стопкой желтой бумаги. И не светильник горит, а керосинка — гильза с фитилем, потрескивает себе, почти не давая света… И не в комнате в общежитии он сидит, а в своей каморке, и на нем не костюм, а гимнастерка и старые галифе, а на ногах — удобные, хоть и дырявые, кирзовые сапоги. Окошко открыто настежь. На улице не зимняя ночь, а скорее летняя: такая теплая, густо-черная и тихая-тихая… Не удивительно, что слышен шорох таракана и треск фитиля.

Часть четвертая

1

Труханович совсем не удивился этому перемещению. Плавая между эпохами, живя одновременно двумя жизнями, он постепенно — сон за сном, запись за записью — подготовил себя к тому, что две эти жизни, как две неровные, непараллельные прямые постепенно будут все больше выравниваться, становиться параллельными, сближаться — пока не сольются, не сойдутся, наконец, в одну…

Другое было интересно: и в том, и в этом времени он помнил себя только до какого-то определенного момента — в том, «будущем», воспоминания обрывались на возвращении своего двойника из Мачулищей в Минск, в этом, «прошлом» — на прибытии в деревню, на знакомстве с родственниками и заселении в каморку.

Он щелчком и цитатой из раннего Коласа:

— Куда собрался? А пачпорт у тебя есть? — прогнал таракана (тот спрятался в щели стола), пробежал глазами, как бы перепроверил еще раз основные этапы приключений своего минского тезки с фамилией без «ич»… Потом запихнул пожелтевшие листки под сенник топчана, погасил керосинку и в полной темноте, потихоньку, привычно выставив вперед руку, выбрался в сени, а оттуда — на улицу. Было поздно. Все живое спало давно. Только одна из собак тихо звякнула цепью где-то рядом, но даже из будки не вылезла, — за эти три дня, что прошли со времени его приезда сюда, собаки успели привыкнуть к нему.

Он хотел выйти со двора, пойти дальше, на то место, которое днем видно было из окошка каморки — где луг и возле речки ольшаник. Но побоялся заблудиться в темноте.

Присел на колоду у стены. Со всех сторон его окутывала ночь. Темень, густота ее, парная теплота ее ощущались им физически, казались ватными, вязкими, жидкими — как будто он, как рыба, наконец оказался в родной водной своей стихии, в теплом ночном океане.

Он смотрел перед собой, почти ничего не видя, прислушивался, почти ничего не слыша, улыбался сам себе и думал, что вот уже три дня прожил он здесь, и этого срока было достаточно, чтобы осмотреться, принюхаться, освоиться, чтобы уложилось все в голове и чтобы можно было начинать делать какие-то выводы. Первый из которых — все совсем не так и плохо, как представлялось в госпитале.

Сейчас можно было с улыбкой вспоминать недавние свои «страхи», например, хотя бы ту же встречу с так называемыми «родными-близкими», то, что если откроется его, пусть и ненамеренное, шарлатанство и выяснится, что он никто этим людям, — налетят, обругают, оскорблять начнут, издеваться… Прогонят. Так это еще полбеды. А то (почему бы и нет? Может, это только на людях его «отец» такой добренький, все Бога вспоминает, а дома — самый обычный тиран, самодур) — набросятся вместе со своим Миканором, отдубасят жердями до полусмерти. Может, и в госпиталь к нему ездили так, для отвода глаз, и забрали оттуда только чтоб потом на нем злобу вымещать, крайним во всем делать, ведь и такие в семьях нужны, особенно в семьях стародавних, мракобесных.

При всей несерьезности, детскости таких опасений была в этом определенная логика. А что же, нянчиться с ним? Спасибо судьбе, что вот свалился на голову калека, от которого в деревне никакого толку, который к крес-

тьянскому труду непригоден, только корми его, так еще и «без памяти» — как с таким малахольным жить в одних стенах, еще неизвестно, что он отмочить может!

А то на 180 градусов мысли его менялись. Если не это — не оскорбления, не издевательство над его увечьями, так другая крайность может быть: различные «торжественные» встречи, которые начнутся, казалось ему, сразу же, как только округу облетит слух, что Труханович «дурноватым» с войны вернулся. И узнает разная родня, потянутся чередой, не успеет он порог переступить, и будут так бесконечно шляться — то в дом, то из дома, как в мавзолей или зверинец, все эти соседи-знакомые, с которыми его никто не знакомил, кумы-сваты да крестные-крестники, с которыми он никого не сватал и не крестил, да «друзья детства», о которых он понятия не имеет и которых первый раз в жизни видит. И под каждого нужно будет подстраиваться, каждому уделять внимание, здороваться, улыбаться, кивать, поддакивать, насиловать себя, ломать комедию, тупую улыбчивую маску на лицо натянув!..

Однако, к его большому и приятному удивлению, ничего похожего пока не происходило. Не оправдывались госпитальные страхи. Никто в эти первые дни его не беспокоил. Никаких даже отведок не было, если не считать друга Миканора, тоже волревкомовца — Якова, который, по его словам, будто бы помнил Трухановича еще «во-от таким!» (рука ниже колена), так и этот Яшка вел себя сдержанно, в душу с расспросами не лез, — наоборот, приободрял надеждой, что все наладится, только время нужно, «выздоровеешь, поправишься и вспомнишь все, дорогой ты мой товарищ, и повоюем мы с тобой, хоть и не на военных «хронтах», но на не менее трудных — мирных». И больше ни одного человека. То ли сама пора такая горячая была, когда людям больше светлого дня нужно урвать, то ли просто ко всему они уже привыкли таким лихолетьем, всего навидались — мало разве калек с войны вернулось, и в своей деревне, и в соседних; ну, будет жить еще и такой — «непомнящий»… А может, сами тогдашние люди были не такими, какими больше чем через полвека сделаются, может, эти, советчиной пока еще не перекрученные, социализмом не переломанные, концлагерей, нищеты, большого голода и холода не знавшие — по самой природе своей более тактичные, умные, отзывчивые?

То же самое получилось и с новой его семьей. По крайней мере, в эти первые дни он совсем не чувствовал себя лишним. Работой его не загружали; вообще, он как-то сразу поставлен был в такие условия, чтобы неполноценность его не чувствовалась. Постепенно начало до него доходить, что не раз, не два эти люди советовались-совещались, прежде чем забрать его, и когда уже решили, то и все остальное было ими до мелочей продумано. Само собой разумелось, что вместе с ним самим теперь они взваливают на свои плечи и все его заботы: и где жить ему — случай с каморкой лучшее тому доказательство, и что есть, и чем заниматься… Найдется работа. Лучины нащипать… Грибы-ягоды — это же такой в семью прибыток, ведь у кого здорового на это хватает времени?.. Рыбная ловля… Сечкарню, точило можно и одной рукой крутить… Воды принести, свеклу, картошку выкопать, корзину поднести, ботвы нарвать… Да было бы желание — занятие найдется!

2

Но люди есть люди, они живые, а значит, предсказуемые. К тому же в отношениях с людьми у Трухановича имелся уже такой-сякой опыт: прикидывайся «беспамятным», «контуженным», и привыкнут, и рано или поздно отцепятся.

Куда больше пугала его встреча с неживыми — то, что приедет он в деревню, пусть изменившуюся, пусть восьмидесятилетней давности, но свою, родную; и какой же предстанет она перед ним? Был у них в госпитале один, которому делали операцию на глазах, так он не столько ждал дня снятия повязки, сколько боялся этого. Еще бы — пока есть надежда, до тех пор есть жизнь. А вдруг крах? Вдруг вместо такого чуда, как заново обретенное зрение — темнота полная, темнота вечная, и нет больше ожидания, нет жизни… Что-то подобное, хоть и не так глубоко, конечно, ощущал Труханович, представляя свой приезд сюда и осмотр деревни. Как ни сладко было мечтать-думать о спасении из госпитальной неволи, как ни хотелось перемен, но боязнь снятой с глаз повязки присутствовала, студила душу. Это же сколько будет нового всего! Каждую минуту — новое впечатление, и каждое — как мини-стресс! Он и без того сам себе удивлялся, как ему удается столько времени удерживаться на грани рассудка и сумасшествия, на такой тонкой паутинке балансировать между ними.

Он боялся увидеть какие-то близкие, с детства знакомые картинки, первородности их боялся, другого их ракурса — и все это надо будет осознать, смириться с ним и жить среди него, постоянно делая скидку на физическое время, держа в уме изменчивость его, да еще и в таком перекрученном варианте! Приблизительно то же самое, как, живя, не стареть, а молодеть, не расти с годами, а мельчать, уменьшаться, приходя в конце концов к моменту зачатия…

И вот прошло три дня. И оказалось, что не в далекое свое прошлое он вошел, или, точнее, на скрипучей телеге въехал, а в чужое и новое. Была не встреча, а знакомство. Не хозяином он тут был, а гостем. Повторился вариант с дорогой. Вместо щемяще-сладкой остроты впечатлений было обычное любопытство, более того — даже легкое разочарование, если не сказать раздражение, потому что все время хотелось вмешиваться и переставлять все на свой лад, так, как в его детстве было.

Он ковылял по своей новой-старой улице, не узнавая почти ничего и, конечно же, никого из людей, этих лапотно-сермяжных, этнографически-колоритных детей лесов и болот, которые шумной гурьбой будто высыпали сейчас со страниц книг и с экранов и разбрелись по дворам, под камышовые крыши своих маленьких, смешных, декоративных домиков… Некоторые, опершись на забор, здоровались с ним, а иные еще и к шапке тянулись. Да только что ему было до них? Если не родился даже тот, кто его родит?

Он подолгу всматривался в повороты улиц, дома, деревья, заборы, колодцы… И только тогда ему начинало казаться, что все же кое-что он узнает. Колодец был почти такой, как в его будущем времени, с дубовым разлапистым крюком-«журавлем», и стоял на том самом месте — на перепутье дорог в центре деревни… Молодая липа рядом — ну, эта доживет до его времени… Неподалеку крест, атрибут каждой полесской деревни — тоже старый знакомый, обвязанный вышитыми рушниками, в ограждение со всех четырех сторон взятый… Заросли юных акаций, возле которых или под которыми через десятилетия построится школа, где он будет набираться ума…

Улица была почти такая же — желтым сентябрьским солнцем залитая, с курами в теплом песке, рябая от пятен света и тени; правда, была она низкая, как лог, и весной и осенью забирала с дворов дождевую и талую воду, превращалась в целый ручей, который вливался уже в настоящую речку. А его улица — более поздняя, насыпная и асфальтированная, доходила чуть ли не до окон домов — такую вот радость сделали людям после Чернобыля, и если в первом случае вода стекала на улицу, то во втором — во дворы, мало того — сама та, на скорую руку насыпанная, улица во время хорошего дождя

проседала, расползалась, как оладушка, дорожный балласт наваливался на заборы, ломал их…

Казалось, даже дома некоторые узнать можно было… Хотя нет — обман зрения, иллюзия повторения. Как раз такие дома все были чужие. И стояли не в том порядке, как в его времени. Эти как бы от чужих глаз прятались, к земле припадали, подальше от улицы убегали… Да и не удивительно: пожары, войны, переселения. Не раз, не два все здесь менялось, перестраивалось, когда те же избы по звеньям разбирались, на другое место переносились… Потом, со временем, постепенно богатея, хозяева строились уже ближе к улице, чтобы чужаку виден был достаток, а старая избушка так и оставалась — под амбар, под сараюшку, трухлеть и догнивать на далеких задворках, и часто только пригорок, поросший малинником, бурьяном да колючками, обозначал след ее…

Не без труда Труханович отыскал место будущего своего дома. Родители перебрались в эту местность и начали строиться здесь поздно, после войны. Приблизительно вот тут, на этом диком пустыре около речки, вот и мост, вот и граб (от которого в будущей жизни Труханович застанет только большой, гладкий и твердый, как железо, пень, на котором хорошо будет играть в карты и в копейки)...

Так добрался он до речушки. Радость моя, любовь моя, только тебя я всегда вспоминаю и вспоминать буду. Сколько раз, когда жить не хотелось, вечерами и «ночами, черными от отчаяния, ловил наяву или во сне» — тебя, ты стояла у меня перед глазами, я проходил твоими берегами, проплывал твоими водами в челноке; раскинув руки, аистом нависал над тобой… Плеск перекатов твоих был мне музыкой, шепот сухой осоки и камышей твоих — колыбельной, и легче становилось, как от руки маминой, и сердце болеть переставало, и слезами прогонялся страх, и жить хотелось, и тебя видеть… Где-то вычитал Труханович, что сколько ни выравнивай реку, она, как вена на живом теле, упрямо будет стараться повторить естественное свое русло, свой путь, свои все повороты и изгибы. Так что речка — речушка его детства и юности — была, наверное, единственным, что практически не изменилось. В смысле, место расположения ее не изменилось. А так — конечно: здесь она была резвая, с быстрым течением, с ольхами, ивами по берегам… В его времени уже не то: почти стоячая, мелкая, с мазутными пятнами на воде, где с лысыми, даже без травы берегами, где поросшая лозняком настолько, что к воде и не подступиться.

Здесь умилял мостик — такой славный, из круглых бревнышек, горбато-выпуклый посредине и более низкий на концах, — куда до него их более позднему, когда опять-таки в связи с Чернобылем, строя дорогу, взялись и за мост — разделили речку двумя балками, на них тяп-ляп набросали бетонных плит, все это неуклюже, некрасиво, криво, косо, и поехали, оставив после себя, как после боевых действий, под откосом насыпи и в самой речке кучу бетона, куски плит, щетину арматуры…

И все равно это была его речка! А все остальное — все, что смогло дотянуться до его будущего времени, почему-то не воодушевляло, не радовало, ничего в душе не задевало. Струны ностальгии молчали. Больше логики, чем души, больше холодного пытливого разума, чем щемящего трепещущего сердца… Вместо восхищения от встречи со всем этим — как с первой любовью, как с молодой мамой, как с самим собой маленьким (а Трухановича не однажды соблазнял вариант, не раз ему мечталось, что при таких темпах, если удастся ему уцелеть и дожить до своих семидесятых, это значит, до даты своего собственного рождения, и до более поздних времен, когда будущий двойник его начнет говорить, и в школу пойдет, — то вполне возможна ситуация, что им удастся увидеться; встреча самого с собой — вот было бы

здорово! Это же от скольких ошибок можно было бы застраховаться, предупредить их, какой хороший, надежный заложить стартовый фундамент для дальнейшей жизни!) — вместо, словом, радости встречи с милым, дорогим прошлым было обыденное бесцветное статичное ощущение, что просто приехал он в какую-то чудом сохранившуюся, цивилизацией почти не тронутую, патриархальную чужую деревню. Все было ему здесь чужое, и он был чужим всему — живому и неживому, приезжий, временный гость, заблудившийся между столетиями, квартирант, дачник, студент «на картошке»…

3

Еще в госпитале, где свободного времени было хоть отбавляй, Труханович часто думал и все понять не мог: почему судьба или какая-то другая высшая сила так посмеялись над ним? Почему забросили в такую глушь, бедность, разруху, а не в какое-нибудь спокойное, тихое время, в какую-нибудь богатую европейскую страну, где нет войн, где другая природа, другая психология, где сытые счастливые люди не думают о хлебе насущном и потому перед ними не стоит вечного вопроса, как бы путем революционной встряски отобрать лишнюю корочку у более богатого соседа.

Да дело даже не в этом. А в том, что какая — при другом раскладе — могла бы получиться прекрасная возможность «бесплатно» свет белый повидать! В конце концов… А кто его привязал здесь? Не поздно ведь еще. Может, и правда — не сидеть здесь истуканом? Дороги ему открыты, он свободен… Документы кое-какие есть. В крайнем случае Миканор бумагу в волревкоме справит. Станция железнодорожная близко… Ну, а там? Дальше куда? В Гомель эрэсэфэсэровский? В Минск — к Купале? В Москву — к Горькому? В Вильню — к Горецкому? И что он им скажет? При условии, если еще доберется до них, да если они сами его к себе допустят. Какие такие светлые перспективы перед ними нарисует?

Тогда, может, в противоположную сторону? На запад? Через Варшаву, которую как раз в этот момент обложили войска Тухачевского, — в Германию, Францию, Англию? К своим же братьям-белорусам-эмигрантам, ведь кто еще, кроме них, примет его — не Керзон же с Пуанкаре или Де Голлем (который, к тому же, сам пока еще очень мелкая фигура)… Да и свои, эмигранты, — примут ли? Подвинутся ли, освободят ли место для еще одного горемыки? Который только и умеет, что «каркать» о судьбе их незавидной, перекати-польной… Так они это лучше его знают, таких оракулов и без него немерено.

В Америку — с предупреждением о «великой депрессии»? А туда как попасть? И где найти там богатого «спонсора», который согласится организовывать и оплачивать ему выступления, на которых он будет баять заокеанской, от трезвости ошалевшей публике о Второй мировой войне да о «Третьей — холодной», о переделе Европы, сталинско-гитлеровском пакте, о капиталистическом и социалистическом лагерях…

А самое главное, если допустить чудо, и вдруг найдется какой-нибудь, простите, наивный дурень и захочет выслушать его и «помочь материально», то есть вложить деньги в него — чем он докажет свои пророчества? Чем подтвердит, что он — посланник будущего? Он хоть что-то может? Кроме слов? Может задушить советский строй в зародыше? Не дать осуществиться коллективизации? Предупредить гибель Купалы с Горецким? Не допустить войны, голода, Чернобыля? Он может нарисовать схему конструкции космической ракеты? Сверхзвукового или любого другого самолета? Компьютера, телевизора, холодильника, магнитофона?..

Да в том-то и дело, что ничего этого он не может! Даже простой схемы автомата Калашникова не знает! Ничего он не может. Поэтому не стоит переоценивать себя. Не нужно быть великим мудрецом, чтобы понять, что ничего хорошего не принесут ему ни путешествия по миру, ни попытки изменить ход «исторической телеги», а тем более старания перевернуть ее, подсев, как та кондраткрапивская жаба, под ее колесо…

И тут вот еще что. Такое вырисовывается дело — а нужно оно ему? Эти потуги изменить что-то, повлиять на что-либо, вмешаться во что-то, предупредить кого-то… Если ясно, что любое, даже самое незначительное вмешательство в исторический процесс элементарно приведет к тому, что… родители его когда-то не встретятся и он просто не родится! Вот парадокс. Полная противоположность нынешнему «хочешь жить — умей вертеться»; тут, в его случае — «хочешь жить — не шевели даже пальцем!».

…А вокруг бурно рос, отцветал своим запоздалым, последним уже цветом тихий сентябрь, и никакого дела не было ему до метафизики.

По утрам долго держалась на седой, жесткой траве-типчаке роса, и окропленные ею кружева белой липкой паутины под ранними солнечными лучами блестели, переливались, а в низинах, где паутины было больше всего, она казалась инеем. Небо еще не утратило своего летне-голубого цвета, но вода в речке, в которой оно отражалось, была уже свинцово-синяя. На лугу отрастали по третьему разу клевер и кашка — головки их набивались между пальцами, если идти босым, а пятки колола недавно скошенная трава. Картошка почти вся была выкопана; тешили взгляд, обещая неплохой урожай, пустые серые загоны, только с черными кругами кое-где на месте сожженной ботвы, да вдоль борозд — ряды свеклы со свежезеленой, а снизу фиолетовой ботвой, да еще тыквы добирают последнее тепло, валяются панами на пляже — если перевернуть такую ногой, то откроется белая, как сыр, незагорелая кожура, а в земле останется приличная вмятина. Длинные веревки тыквенника с огорода заползали на луг, спутывались с травой, пускали корешки, врастали в землю — попробуй вытяни! — и цвели, цвели себе как ни в чем не бывало крупными желтыми цветками, а потом, благодаря поздним хлопотливым пчелам, всего за каких-то несколько дней образовывалась завязь — маленькие, с яйцо, тыковки, которым, конечно, так и не суждено вырасти.

Недалекий лес представлял собой желто-бордово-зеленое панно. Ковыляя туда с лозовой, легкой пока корзиной, где только ножик, два яблока, репа и завернутый в тряпочку кусочек сала, Труханович проходил перекопанные наделы, в конце их продирался через стену подсолнухов вперемежку с кукурузой, потом через луг, оставляя на росяной траве разные следы — один, как и положено, пунктиром, другой — сплошной полосой, добирался до узкого, в кустарнике спрятанного мостика через речку.

Он шагал этой извечной своей дорогой, привычно совершал простые движения — такие, как отодвинуть веточку, чтобы не хлестнула, спружинив, по лицу, прислушивался к утренним звукам и чувствовал, как кружится у него голова — от тихой радости жизни, от возможности существования, от того, что уши могут слышать свист крыльев какой-то птицы над головой, нос — вдыхать ядреный сентябрьский воздух, глаза — видеть бордовое золото березняка и осинника впереди, кожа — чувствовать через гимнастерку здоровую утреннюю прохладу… И ему казалось, не только голова, а и сам он медленно кружится в этом круге бытия, как та вот сухая еловая иголка в вертикально подвешенной сетке паутины.

А когда начинался лес и желто-золотая листва возникала не только перед глазами, а и под ногами, и нужно еще время было, чтобы привыкли, пере-

ключились с общего, «панорамного», на детали глаза, чтоб могли смотреть на эти листья, мох, вереск — и не замечать их, потому что цель ведь не они, а заветная, красная или коричневая, часто с прилипшим листиком, с проеденным следом слизняка грибная шляпка, это чудо земное, верх совершенства, еще одно доказательство существования Творца Всевышнего!..

Тут в лирическое созерцание вмешивался Его Величество Практичный Реализм: вот если б много, очень много боровиков насобирать, насушить — и в то, будущее время? Какому-нибудь оптовому скупщику… Обогатиться можно было бы… А с этого времени в то — что?.. А зубчик следующий уже цеплял очередной выступ, приводя в движение более сложное, хотя и лучше знакомое колесо — самоанализа. Ладно — пусть не может он, да и не должен вмешиваться в ход истории. Тогда какая все же цель моей засылки сюда? Какая, высоким стилем говоря, моя здесь миссия?!

Глушь эта… В стороне от лихих дорог, укрытая от революций и войн деревушка — тихое, безопасное место… Море свободного времени, лес, речка, собственное жилье, постоянный кусок хлеба на столе… А бумаги стопка? А карандаша аж два? Потом: рука покалечена какая? Левая… Не потому ли, что пишут правой? Хромает опять-таки… Не потому ли, чтоб не носился сломя голову, а имел возможность спокойно посидеть, осмотреться, подумать? И то, что к тяжелой крестьянской работе, которая бы все свободное время забирала, непригоден… И что побаиваются его и не трогают… И что ни к чему и ни к кому он особо здесь не привязан, а значит, имеет свободу, в первую очередь духовную…

Обстоятельства, физическое состояние, одиночество, чуждость всему и всем, незанятость по хозяйству — не очень ли подозрительные все совпадения? Как будто подгадано кем-то, как будто специально созданы для него эти идеальные условия, которые не оставляют ему никаких других вариантов, а настойчиво, однозначно подводят к одному-единственному и, что важно, доступному ему занятию.

4

Неважно, что делается вокруг —
важно, что делается в душе.

Давно, еще в той будущей своей жизни сколько раз все собирался Трухан-Труханович сделать такую вещь: описать деревню свою, буквально каждый дом; мало того — даже взялся однажды за это, даже придумалось, как — да просто: нарисовать план деревни, квадратиками обозначив дома, пронумеровать их… И пиши себе: «№ 1, домик-халупа возле леса, жила Лукерья, вся в бородавках, на них росли волосы. Имела двух дочерей, Веру и Любу, сама недоедала и их голодом морила — все корове (поговорка «Лукерьина корова гладка, как оладка»). Слово-имя Лукерья станет потом нарицательным, будет обозначать неаккуратную, запущенную, жадную женщину. Судьба Веры с Любой, когда Лукерья умерла. Поверив вербовке (особенно, кажется, тому, что дают каждому бесплатно телевизор), обе поехали на БАМ, Вера так где-то и погибла. Люба вскоре вернулась с мужиком, Аликом, — и это имя станет нарицательным, кличкой: «алик» — алкашик, недоделанный, непонятный… Помнится, удивлял он деревню кроме имени своего еще тем, что суп сам себе варил прямо во дворе, разложив огонь между кирпичей… Да только ли это! Бог мой, сколько историй связано с одной этой семьей!..

№ 5, под сливами, напротив кладбища — глухой Авраам жил, один-единственный раз за всю жизнь выбрался в районный центр и сразу же, чуть ли не на вокзале, попал под машину — «машина зарезала», как потом говорили…

№ 8 — дом «Сербейца», или — серба. Откуда тут взялся серб, что он тут делал, куда потом девался? А может, это и не серб никакой, а просто служил где-то на Балканах человек, вот тебе и бирка приклеена, устный паспорт, эдакая на всю жизнь сопроводительная «рекомендационная характеристика», и ему, и потомкам его.

Каждый дом — клубок судеб, тьма историй, целые саги — с рождениями, смертями, радостями и бедами, географическими перемещениями и возвращениями… Так это же всего только маковка, вершок, то, что он знает поверхностно. А если б хоть немного копнуть глубже, если расспросить старших кого?..

Или взять неживое, околицы — тут вообще сокровища под ногами!

Вычерти план-схему, синим фломастером обозначь на ней реченьки-речушки, которые ни на одной, даже крупного масштаба, топографической карте не обозначены (а между тем существуют же они, эти речушки, и названия имеют), зеленым — леса, желтым — поля и полянки, черным — торфяники, и т. д. Подписывай: Майстры, Печки — их, наверное, штук пять, и все в разных местах, Фольварок, Лапленица, Вуделки, Сухой Лесок, Долгий Лес, Подляски, Горелое, Осинники (те самые, где и находился в эту минуту Труханович, где как раз под осиной в вереске увидел шляпку первого гриба и тотчас присел перед ним и, приминая пальцами вереск, освобождал крепкую ножку, чтобы как можно ниже, у самой земли срезать ее, потом слизняка сковырнуть с ласково-белого низа, счистить ножом желтую каплю следа его и осторожно — не содрать бы заодно и кожицу! — оторвать сухой березовый листик с шапки, и тогда — с этим белым знаком — гриб становится копией тех, искусственных, шоколадно-пряничных грибков, которые продаются в коробке набором по пять штук в каждом минском универсаме)...

Криница, Копанка, Гравельные Ямы… Шупикова Кладка, Микитова Поляна, Игнатова Пеля… Что за имя такое — Шупик? Почему в его честь назван обычный мостик?..

Каждая полянка, каждая лесная просека, каждая узкая, на одного, тропинка, родничок, пеля, болотце, брод, мостик — все имеет свои названия, свои истории, все к чему-то или к кому-то привязано, все это — на добрый лад — стоило бы записать, зафиксировать, по возможности расшифровать… Не может быть, чтобы не пригодилось оно, чтобы пропало ни за что, — не говоря уже, что это такой же полноценный элемент устного творчества, как и песня, поговорка, предание…

И вот сейчас, на восемьдесят лет назад прелетев, какую чудесную возможность осуществить такую задумку получил Труханович! Да более идеальных условий, лучшего случая, сто лет думай — не придумаешь. Проследить зарождение этих названий, понять, откуда что взялось… Или ладно, не будем преувеличивать — хотя бы приблизиться к их разгадке, поговорить с людьми, которые могли знать этого таинственного Шупика или Сербейца, прадеды которых могли жить на древних Майстрах… Да просто повнимательнее присмотреться к этим чумазым, голопузым детям, носящимся сейчас по деревне (деды его будущих ровесников!), сопоставить семя с плодом, постараться увидеть в них, на примере их «цепную связь поколений»…

Не только люди, судьбы их, не только топография околиц — все остальное тоже не менее интересно. И хозяйство, и быт, и орудия труда, которые он может пощупать руками, собственными глазами увидеть, — все то, что до его времени не доехало, растряслось по дороге, растерялось, стало экзотикой и, в лучшем случае, пылится где-то на чердаках, или спрятано в музеях, или преподносится нам в виде иллюстраций на страницах энциклопедических изданий…

…И вот корзина уже оттягивает руку, а грибов чем дальше в лес, тем больше — они же такие создания, что так и бросаются в глаза, если не ищешь их.

Найдена полянка. Самое время пообедать. Белорусским шашлыком (изобретение Трухана). Так это делается: не боровики, не другие какие-то «благородные» грибы, а обычные молоденькие сыроежки чистишь, на ветку нанизываешь: сыроежка, кольцо лука, ломтик сала — и дальше в такой же последовательности. Тонкие еловые лапки под низ. Более толстые ветки «пионерской» пирамидкой…

И только когда подносил в горсти к сухому низу трепещущий огонек, все не мог привыкнуть, что спички, как и соль, и мыло — роскошь, и нужно их экономить, Труханович вдруг понял, почему не осуществил до сих пор, и скорее всего, никогда уже не осуществит, не доведет до конца свой план — составить своеобразную книгу типа «Памяти», посвященную родной деревне и ее околицам. До него дошло, наконец, почему он все откладывает, оправданий ищет, все не берется за это, казалось бы, несомненно полезное дело.

А не делает он этого, потому что, как и в случае с вмешательством в исторический процесс, ему и не нужно этого делать. Потому что нет целины. Потому что и без него на этом поприще все уже до такой степени вытоптано, выкошено, выбито, что свободного кусочка не осталось, что просто ступить некуда: все Микитишины Поляны и Дальние Логи (с точностью пародии Ведрича) заняты дедами и бабами, котами Барсиками и баранами Колями, коровами Лысухами и Барсухами, что вся эта голая факто-биографичность, кличковая обозначаемость, литературная фотография, фольклорно-этнографически-лубковая натура давным-давно превращена в скучную самоцель, поэтому и отталкивает запоминать, использовать, употреблять — зля и раздражая с одной стороны, а с другой — убаюкивая, обманывая, заставляя забывать, что самая необычная, самая интересная, самая реально-правдивая история, человеческая кличка, топографическое название, любая другая самобытная редкость ничего не стоят сами по себе. Не тем интересна полянка, что она Данилова или Микитишина, а тем, кто на нее в данный момент смотрит, через чьи глаза, разум и душу она передается.

Это на одной чаше весов. А на другой — «Полесские хроники» да «Комаровские хроники», которые попробуй переплюнь, между которыми как втиснуться?.. Особенно ему, Трухану-Трухановичу, начитанному, напичканному художественными произведениями, набрякшему, как гриб дождевой водой, чужими мыслями, цитатами, образами — до того, что только через них, будто через стекла чужих очков, и может воспринимать все, и им, этим книжно-выдуманным фантомам, отдает предпочтение перед жизнью живой, перед настоящей реальностью!..

Хорошо. Хорошо! Если это — быт, этнография, разные сочные колоритные выражения, диалоги типа: «Куда ты сейчас?» — «Косить в Бараний Лог», — если это кажется тебе давно отработанным материалом, словесным балластом, не стоящим твоего пера, тогда что? — спрашивал сам у себя Труханович. Он лежал на боку, сухие иголки кололи через гимнастерку, и как зачарованный смотрел на огонь. «Шашлык белорусский» был съеден, веточки с остатками жира деловито, весело догорали теперь в огне.

Тогда что? — спрашивал у себя и отвечал: все то же — собственная душа. Душа, вставленная в рамку тела. Соответственно, литература — эгоизм, взятый в рамку стиля. Только такая и выживает. Потому что поменяется социальный строй, поменяется все материальное, поменяется климат и вся эта «погода с природой и молодежной модой», но человек как был когда-то создан, со всеми недостатками и достоинствами, так и останется неизменным. Как неизменен и он, Трухан-Труханович, и в том, и в этом временах.

Там ему нужно было писать о прошлом, а здесь — о будущем. Что он, собственно говоря, давно и делает. И может, именно в этом и есть его спасение?

Чем больше он будет сам в себе ковыряться, тем скорее сам себе поможет, тем легче ему будет и там, и здесь прожить, или, возможно, даже так — вообще выжить. Учитывая еще и то, как бережно, дозированно, «по порциям» сама жизнь отпускает ему эти двойные воспоминания: стоит только запутаться ему в одном времени, как жизнь переносит его в другое и там заставляет искать (и часто находить!) выход.

Если раньше для него существовало четкое разделение на настоящую — «минскую» — жизнь и условно ненастоящую, приснившуюся — здесь, в двадцатых годах, то чем дальше, тем больше все путалось, перемешивалось; тем тяжелее было определить, что является телом, а что — тенью, где же он настоящий, какая из этих двух жизней есть болезненный сон, а какая — реальность? Может, именно то — будущие восьмидесятые, и Минск, и Ведрич, и Нелли, и он сам, — ему просто снится?..

5

«Вот если б знак оставить, зарубку сделать — с этого времени в то!» — думал Труханович, целый день по лесу пробродив и домой возвращаясь.

Сухие грибы были глупостью, конечно. Это если бы сокровище какое… Горшочек с золотом… И закопать его. А откопать во времени своем — в восьмидесятых… Одно плохо: где его взять, этот горшочек? Что-то не очень везло ему на золото — ни здесь, ни там.

Вечерело. Хромая, он шагал по узкой, ведущей через мокрый от росы ежевичник тропинке. Плечи пощипывала прохлада. Солнце садилось, небо в той стороне было пунцовым. Окутанный синей фатой тумана и сумерек лес утрачивал свои контурные, контрастные оттенки, детали стирались, сглаживались, пропадали, и как на картинах импрессионистов, лишь общее выступало на первый план. Но как только лес закончился и Труханович вышел к мостику, так сразу посветлело, сумерки не пошли за ним — зацепились за ветви последних деревьев, остались позади, будто стражи на границе своих владений. На мостике сидели две лягушки, с влажной и холодной даже на вид кожей. Потревоженные человеком, сердитые, что не дал вобрать им остатки тепла, шумно плюхнулись в воду. Брызги полетели на Трухановича, он со своей тяжелой корзиной, да с невозможностью балансировать, да с хромой ногой, чуть сам не сорвался со скользкого мостика. Подумалось, что и это нужно запомнить как символ: противные лягушки, скользкий мостик, речной ил…

После мостика, выбравшись на вырубку, тропинка сразу стала шире, прямее и уже гораздо веселее повела человека — между с одной стороны нарытыми земляными муравьями кочками, поросшими вереском, брусничником и голубикой (сразу же сильно и пьяняще запахло оттуда багульником), с другой стороны вдоль нее потянулись столбики и жерди ограды. Немного странно было видеть возделанные загоны, этот приличный окультуренный кусок земли здесь, далековато от деревни, под самым, считай, лесом. Кстати, называлось урочище просто Полянка, без уточнения, чья она, кто ее открыл, разбил, окультурил.

«Ну вот, слава Богу, что дал прожить еще один день», — вспомнились слова из какого-то слабенького американского фильма; однако запомнилось же, поразило — не утро благодарят, а вечер, не начало — а конец… И вполне связно, созвучно, как бывает только осенью и только тогда, когда возвращаешься с грибами, Трухановичу опять подумалось: так где, в каком времени он все же настоящий? Потому что таким далеким, нереальным предстало перед ним то его будущее — те фильмы, книги, цивилизация, Минск и метро,

политика и лекции… Более того — если бы имел он вот сейчас возможность выбора, какому времени отдать предпочтение, в какой жизни согласился бы он существовать постоянно — то кто знает, кто знает!..

Вдруг впереди увидел он женскую фигуру. Женщина тоже шла в деревню — от Полянки. Слегка ссутуленная, с большим кошелем картошки за плечами, как живой укор ему, что занимается такими глупостями, когда люди усердствуют.

Он замедлил и без того нескорый шаг, чтоб не догонять ее. Но женщина оглянулась, услышав или угадав, что сзади идет кто-то, оглянулась — и узнала его. А он ее — Насту. Она остановилась.

— Я и не знал, что здесь надел… ну, участок, — сказал он, подходя, — ну, полоска ваша, — запутался, запоздало хотел исправить «ваша» на «наша», но не стал: здесь лучше быть самим собой, говорить, как умеет, потому что язык заболит каждый раз поправляться.

Наста и не обратила внимания. Они пошли рядом. Хоть и неудобно было, и ему, и ей приходилось ступать не столько по тропинке, сколько по траве рядом. К тому же он физически не мог идти быстро, она видела это и под его шаг подстраивалась.

— Опять грибов насобирал… Таскаешь ты их каждый день!

— Да полно же их. Младенец насобирает.

— Как же! Меня пусти в этот лес, так только потопчу. Как ворона слепая. Да и страшно одной в лесу.

Ну как было не отметить под этими грубоватыми, деревенскими словами определенный такт, деликатность, возможно, даже сочувствие к нему, искалеченному человеку? Труханович давно уже заметил, что она, эта Наста, при редких их встречах всегда старается подчеркнуть, что он — обычный, нормальный парень, ровня ей, Миканору и всем остальным людям. Как и сейчас — хвалит его за самую привычную вещь, за грибы эти, как будто какую-то особую сноровку надо, чтобы насобирать их нынешней порой, когда их полон лес…

Дальше пошли они молча.

Тропинка вилась среди лозовых кустов, высоких, мокрых кочек ситника. Сентябрьский день остывал. Шуршали шаги. Пахло росой, травой, туманом и грибами, и издалека — из деревни — тянуло, так естественно дополняя этот аромат осени, дымком от сожженной картофельной ботвы… Или, может, это уже растапливали печи? Как бы еще раз пережить все это, вернуть… Потому что только и есть в жизни настоящего, что один этот момент, то, что перед глазами, — а потом закончится тропинка — она всегда заканчивается, причем, там, где ей, а не нам, нужно, и не повторятся больше никогда, ни с кем и нигде именно такой вот вечер, такие картинки и такие запахи, — хотя будет, будет, возможно, еще и лучшая тропинка, в другом месте, где-нибудь во Франции, в Германии или в Лунинецком районе, и еще более молодая и красивая женщина будет шагать рядом, и условия, и обстоятельства, и окружающее — все, словом, будет лучше; да только вот таким, как сейчас, — нигде и никогда!..

Но пока рано было думать об этом. Пока не заканчивалась тропинка. Немало ее еще впереди, а значит, было время у Трухановича с Настой.

Оба идти старались медленно, будто сговорились как можно больше растянуть путь, продлить эту возможность вдвоем остаться. За четыре дня впервые представился такой случай. А побыть им наедине давно надо было бы, что-то связывало их… А что? Единственное, вынесенное Трухановичем еще из госпиталя, было такое представление об их прежних как будто отношениях: жила эта Наста, и жил предшественник его, какой-то Труханович, вместе они росли, воспитывались, потом дружить начали, потом — погули-

вать, потом он служить пошел, а она вышла замуж за Миканора… Вот и вся нехитрая историйка. Не редкость — скорее правило, чем исключение, когда девушка выходит замуж за твоего брата или ты женишься на сестре своей любимой — во многом только из-за физического их сходства; а он лицом как раз-таки похож на Миканора, видел это и на фотоснимках, и в зеркале, когда представлял себя без бороды…

Сейчас самое время было выяснить, так ли это, правильны ли его догадки. Только Труханович не знал, как начать. Наста выручила его.

— Хорошо осенью, — сказала она.

— Чем?

— Комаров нет. Я их так терпеть не могу…

— А по мне так любая пора хорошая. Осенью грибы, картошка… Есть, кстати?

— Нет ни холеры. Замучилась, пока этот кошель накопала…

— Тяжело нести? А я и помочь не могу…

— Да иди уж! Ты же грибы несешь.

И то правда: что ей эта ноша — так, игрушка. Молодица в самой силе, породистая, рослая — Миканора, между прочим, выше… Такие семьи, где муж ниже жены, обычно счастливые, и еще в таких (заметил Труханович) почему-то чаще рождаются девочки.

Играючи несла она свой тяжелый кошель. И придерживать не надо — высокая грудь не давала опуститься шлейке, руки свободны были; видимо, по крестьянской привычке, чтоб не гуляли они, на ходу отломила веточку и обмахивалась, как будто те же ненавистные комары досаждали ей. Поглядывая на нее сбоку, такую стройную, сильную, Труханович впервые за эти дни почувствовал зависть к Миканору. И еще понял, что совсем не природа, не теплый и ароматный сентябрьский вечер и не обстоятельства создают это его лирическое, какое-то возвышенное настроение — а она, Наста, близкое, почти интимное присутствие ее.

Всплыла в памяти Нелли, то, как его минскому двойнику Трухану всегда было беспокойно, тревожно с ней, какой он был с ней напряженный, все время ожидая какой-то каверзы, обмана, неприятностей… И как — по сравнению с Нелли — просто, легко, спокойно было сейчас Трухановичу с Настой.

Ему вдруг захотелось прямо сейчас, потому что другого такого момента могло и не быть, открыться ей, единственному и в той, и в этой его жизнях человеку, которого можно не бояться, с которым можно чувствовать себя самим собой. Рассказать ей все-все, как на исповеди, просто и искренне, без постоянных своих хитростей и перестраховочной вечной осторожности. Потому что уже надоело носить все в себе, живой, сочувствующей души захотелось!

— Мы давно знакомы с тобой, Наста? — без подготовки, без далеких подходов сразу начал он.

— А то ты не знаешь…

— Если б знал, не спрашивал бы. Ты только напомни, помоги мне вспомнить. Мы гуляли с тобой — перед тем как я в армию пошел? Между нами было что-нибудь? Мы хоть целовались с тобой?

Она только хмыкнула. Нашел о чем спрашивать. И как отвечать на такое?! Если сам не можешь вспомнить, что толку с того, было или нет?

— Наста, пойми. Я с большой охотой и радостью вспомнил бы, если бы мог! А тем более такую приятную вещь, как наши… будто бы наши! — потому что на самом деле это же был не я — отношения. Неприятное, стыдное не хочется вспоминать, а тут — тебя, девушку! Ты представь себя на моем месте. Какой-то, извини, гад, о котором даже вспоминать не хочется, этот вроде бы

Я, от моего имени прижимал тебя к забору, шептал разные слова, к губам твоим приникал…

Ответом ему был смех — негромкий, девичий, тот самый, который так много в себе таит. Она сообщала этим смехом, что понимает, даже оправдывает его, что ей интересен его монолог.

Приободренный, Труханович продолжал:

— А может, он, этот вроде бы Я, пользовался тобой, твоим телом, прелестями твоими, раздевал тебя, трогал где хотел — голенькую, белую, теплую, податливую…

Она все смеялась.

— А мне, у кого даже воспоминаний, которые согревали бы, нет — мне сейчас за кого-то отвечать!

До сих пор Труханович говорил как бы шутя, с иронией. А тут начал серьезно:

— Хотя все равно же ты мне не веришь. И я бы на твоем месте не верил…

— Я давно это знаю, — сказала она вдруг. Спокойно у нее это получилось, даже безразлично. — Ты не тот. Ты — другой.

Он споткнулся, чуть грибы не рассыпал. Вот тебе на! Стоило в открытые двери ломиться, доказывать что-то… «Отец» с «матерью» не узнали, и «брат родной» Миканор, а она — Настонька, первая любовь… Не моя даже, чья-то, чужая, а сразу угадала, сердцем почувствовала… Он был и обрадован, и возбужден, и озадачен.

— Так… а чем другой? Чем мы отличаемся?

— Просто другой ты. Лицом одинаковые, а так… Не знаю!

— Ну, ладно. Тогда — а с кем тебе лучше?

Наста взглянула на него. Неохотно сказала:

— С тем проще как-то было…

— Спасибо.

— А с тобой — интересней.

— Почему мы раньше не поговорили так? — искренне пожалел он. — Или ты не хотела?

— Я боялась, — ответила она просто. — Виновата все же… Не дождалась, за Миканора вышла…

— Кстати, а почему не дождалась? Забеременела? Или, может, Миканор шантажировал (подбирай ты слова!)… ну, угрожал тебе? Может, говорил — не пойдешь, так…

И Труханович начал перечислять-пересыпать известные шаблонные «вечные» мотивы, не замечая, что заносит его, что пора остановиться уже, ведь не девочка-одноклассница перед ним, а чужая замужняя женщина, мать.

— Пошел слух, что он… ну, я — погиб? Или что контузило, и ты с калекой связываться побоялась?

Он догадался, что она покраснела, хотя в сумерках и не видел этого.

— Если б был девкой, то сам узнал бы! Показал же, как это делается… Попробуй после такого выдержи, поживи без мужчины! — ответила она все с той же деревенской грубоватой искренностью. Видно, и стыдно ей было признаваться, и сердилась она на себя саму, что по-другому не умеет. Но ей и в голову не приходило, что можно быть хитрой, жить, как Труханович живет, задними мыслями, врать, актерствовать…

— Поэтому и не дождалась, и вышла за первого, кто взял!..

Простота этого признания и оглушила Трухановича, и, как ни странно — успокоила. Вспомнились размышления свои, записанные позавчера в каморке, о женщинах, после Неллиного дня рождения… Мало же он оши-

бался. Вся разница между ними, что одна — минская, ухоженная, с сигареткой в пальчиках, вторая — сильная, рослая, с кошелем за плечами. Да еще одна больше ломается, а вторая — меньше.

Возникло было искушение (писательское) подглядеть «в замочную скважину»: использовать момент, залезть этой Насте глубже в душу, полнее, подробнее расспросить — каково это девке без мужчины? И, возможно, удастся выудить какие-то пикантные детальки — может, под шумок, по инерции, она такого наговорит… Но остыл. Наста была не Нелли. Она открывалась, она доверяла ему, — и полной подлостью, и предательством было даже в мыслях развивать это.

— А я тебе могу рассказать что-то, — сказала Наста, угадав его намерение сменить тему и опережая его.

6

— Яшка этот все ходит да расспрашивает… О тебе, — сказала Наста тем самым голосом, которым признавалась в невоздержанности женщины, попробовавшей мужчину. А может, она просто хотела, чтобы Труханович было интересно с ней, и потому разговор на него перевела?

— У кого, у Миканора выспрашивает?

— У меня. Мой (так она называла Миканора), наоборот, все защищает тебя.

— А ты его… Молодчина, хорошая жена, — в конце концов, Трухановичу и вправду интересно стало. — Ну, и что этот Яшка говорил?

— Что живешь, как барчук…

— Там — барсук, тут — барчук, — пробормотал Труханович. — Так, а чем я кому мешаю? Кому успел дорогу перейти?

— Говорит, придуриваешься ты все.

— С чего он взял?

— Потому что грамоту же не забыл… Спрашивал, что ты все записываешь там, в каморке?

— А еще?

— Говорил, что не такой, как все. Не делаешь ничего…

— А что они хотят, чтобы я делал? И что я сделаю — одной рукой? — немного растерянно, не столько у Насты спросил, сколько в пространство проговорил Труханович. А то он сам не знает, чего от него хотят. В одиночестве чтобы не жил — вот самая страшная провинность, она же одновременно и опасность, потому что никак нельзя человеку без коллектива!

— И что к девкам не ходишь, и самогонку не пьешь… Матом не ругаешься… И еще…

— Ну, ну.

— Не цепляешься ли ко мне…

— А можно, Наста? — потянуло его вдруг на шутки. — Ты не против была бы? Не сильно отбивалась бы?..

— Да ну тебя! Я же не обманываю. Этот Яшка, знаешь, какой малахольный? Как в большевики записался, так сдурел совсем, отца родного как-то побил посреди улицы, и ногами, и по голове…

— Не может быть, — дурачился Труханович. Его и трогало, и забавляло, что в ее голосе была неподдельная жалость к тому избитому родным сыном дядьке, и страх перед самим сыном — большевиком Яшкой.

Во двор Труханович с Настой входили вместе. Хоть и в сумерках, но двор еще жил своей, полной крестьянских забот, жизнью. Возле сарая Мать (Труханович в мыслях так и писал с большой буквы — Мать и Отец, как имена собственные) отцеживала молоко. Рядом рябыми и белыми тенями сновали,

мурлыкали и лезли ей под руки два или три кота. Отец, пристроившись на крыльце, осторожным пристукиванием деревянного молотка насаживал на ушат лозовый обруч. У дома на завалинке время от времени вспыхивал огонек. Это сидел и дымил цигаркой Миканор.

Увидев жену с братом, подхватился, быстро подошел — но не для того, чтобы у жены с плеч кошель снять, а чтобы Трухановичу помочь, единственную руку от корзины освободить.

— И где это вы так долго, да поздно, да вместе? — спросил весело, громко, показывая, что все понимает и совсем не ревнует. — Смотрите мне… Смеюсь!

— Да не болтай лишь бы чего, — насторожилась Мать.

— А что? По мне так не жалко. Лишь бы люди не видели.

Трухановичу бы сейчас тоже — в тон Миканору, найти какую-нибудь шутку, чтобы смягчить неловкость ситуации. Да как-то не придумывалось ничего.

— Вот, встретились на дороге, — только и сказал он.

— Дай ты поесть ему, — отозвался Отец, похлопывая ладонью по новому, звонкому ушату. — День-деньской в том лесу.

Как Труханович упорно избегал обращений «отец», «мать», так и в отношении к нему оставалась определенная настороженность: и Отец, и Мать обычно не к нему напрямую обращались, а, как к переводчику, к кому-то третьему, нейтральному, чаще к Миканору: «Пусть, может, поспит человек», «Может, он есть хочет»… Это было, конечно, не очень тактично — и с их, и с его стороны, но Трухановича устраивало, потому что соблюдалась дистанция. Можно было слушать, принимать к сведению, а делать по-своему. Как и теперь. Если бы у него спросил Отец: «Есть хочешь, сынок, или Алесь?», то пришлось бы отвечать, да присесть рядом, да снова выдумывать, актерствовать, ломаться… А так — потихоньку ковыляй себе куда хочешь и делай что хочешь. Хотя бы и ужинай.

Кстати, еще проблема — этот ужин. Утром или в обед хорошо — картошки испечешь, «шашлык», как сегодня, если есть кусочек сала, попробуешь, репу какую в огороде вырвешь, подсолнух скрутишь, огурцы еще не все собраны… Молоко кислое и сладкое всегда стоит в кувшинах. Похлебка грибная, со щавелем, хоть и холодная, но кисляком забелить, так лучше и не надо… Так что голодным, да еще имея госпитальный опыт, Труханович не ходил — и за столом не сидя.

А вот по вечерам! Две семьи хоть и жили в разных домах, но на одном дворе, и как правило, ужинали вместе. Для Трухановича эти совместные посиделки были мучением. Никак он к ним не мог привыкнуть и находил любые отговорки, чтобы отказаться. Не нравился ему, сироте, безотцовщине, сам процесс, эта декоративная заданность: Отец, перед тем как начать есть, крестит лоб, тогда только первым тянется ложкой к общему чугуну, за ним — по ранжиру — домочадцы… Лишним все это казалось, фальшивым, пародией на стародавнюю патриархальность.

Второе — сам он не мог избавиться от ощущения, что присутствием своим сковывает людей, мешает им, и они вынуждены подстраиваться под него — как бывает, когда за столом чужой человек. А самое главное, за что не любил он эти вечера, так это за то, что как обычно они начинались, так и заканчивались — одним и тем же. Икнув и перекрестив рот, Отец — не к нему, Трухановичу, а к Миканору или к Матери обращаясь, заводил разговор о том, как люди в жизни устраиваются: тот в коммуне, этот — учетчиком на мельнице, третий на железной дороге, и что неплохо было бы «и нам у людей поучиться», с них пример брать…

Труханович тогда опускал голову, и кусок не лез ему в горло.

Поэтому и перестраховывался. Лучше всего еще до ужина прихватить со стола что-нибудь в руку и, стараясь поменьше на глаза попадаться, к себе, в любимую каморку. А там сапоги снять… Прохлада… Наслаждение!.. И есть не спеша, в свое удовольствие, в окно поглядывая… Чтобы ни его не видели, ни ему никого не видеть.

7

И вот отдохнули ноги, перестала ныть спина, живот полный… В каморке тихо потрескивает свечка и освещает стол, на котором — стопка бумаги и бережно, «до иголки» заточенный карандаш…

Тут затопали, загремели в сенях, и в каморку — без разрешения, само собой, ввалились Миканор с Яковом.

— Можно? — спросил Яшка, когда вошли уже. — Не помешаем, может?

«Свиньям мешают, — хотел ответить Труханович, — а у нас — беспокоят…» Он повернул листики исписанным вниз. Начинается. Как полководцы, когда, планируя военную операцию, видят, что промедление смерти подобно, так и этим приспичило, нет у них больше сил тянуть, нужно, наконец, брать этого барчука за жабры.

— Может, во двор выйдем? — предложил Труханович, вставая. Так не хотелось, чтобы торчали чужаки в его жилище. — И сесть негде…

— А нам хоть где. Хоть здесь, на топчане, рядком-ладком.

И примостились рядом, тесненько, плечо к плечу. Такие смирные, деликатные. Талант еще нужно, чтобы представить, как в любой момент смирность эта, это в-рот-смотрение очень просто может смениться оскалом, матом и железной хваткой.

— Темно здесь, — Труханович еще не терял надежды выпроводить их.

— А? — переспросил Яшка. Труханович уже знал за ним эту привычку — «акать», переспрашивая при каждом слове, такую же, как у Миканора «смеюсь»! Слух у Якова был, как у совы, а переспрашивал он, чтобы выиграть время и, пока человек повторяет, подготовиться к ответу.

— А на улице еще темнее, — добродушно ответил Миканор. Изо рта у него торчала цигарка. Он курил и осторожно помахивал перед носом, отгоняя дым, который мог повредить «больному, с отравленными легкими» брату. Когда пепел падал на пол, наклонялся и сдувал под топчан, в щели в полу.

— Разве, чтобы поговорить, свет нужен? — поддержал Яшка. — Мы же не в сваты, не на смотрины пришли, не девку выбирать.

После чего стало тихо. Метался от дыхания трех мужчин огонек свечки. При его дрожащем, ненадежном свете Труханович время от времени поглядывал на Якова, лишний раз убеждаясь, что Бог шельму метит. Не такая уж, выходит, и порочная практика, которая так раздражала его во многих художественных произведениях, — эта примитивная, без вариантов, закосневшая квалификация отрицательных (впрочем, как и положительных) героев, всех этих контриков-полицаев-предателей, обязательно с оспинами, прыщавых, гнилозубых, небритых, которые не говорят, а сипят, шикают, гаркают, не смотрят, а бросают взгляд, косятся, фамилии которых или прозвища либо короткие: Гуз, Шишка, Коршак, Корчик, Клопик, Сипун, либо почему-то заканчиваются на «-онок», «-ёнок», — будто авторы заключили между собой какой-то сговор против этих невинных и безобидных окончаний.

Кстати, фамилия у Якова была — Калашонок, а кличка — Акало. Отслужив и повоевав на флоте, ходил он косолапо, или, по-местному, — кашалапа;

коренастый, сильный, в неизменной, похоже, ни разу с тех пор, как вернулся с войны, не стираной тельняшке, которая и сейчас на нем — выглядывает из-под такого же заношенного, распахнутого, без пуговиц бушлата. На голове — бескозырка, круглая, как феска, с оборванными в каких-то приключениях лентами. Широкое лицо, безбровые колючие глаза, уцепистые руки…

И походкой, и поведением, и даже отсутствием двух передних зубов Яшка Калашонок опережал до боли знакомый образ шолоховского морячка-«двадцатипятитысячника», только в белорусской обертке, лучше сказать — белорусского розлива. Хотя все они, по большому счету, были на один манер, как одноклеточные близнецы, эти ходячие порождения своего времени, все эти солдатско-рабоче-матросские бедолаги, «борцы за правду», — в одинаковой одежде, с одинаковой лексикой, с дурной своей энергией, с плакатной бестолковой отвагой, с нигилистским наплевательством на все и всех, со своей разрушительной темной жестокостью…

Яшка как-то так сидел, что только овал лица с полоской рта виден был, а глаза, обычно такие острые, колючие, подозрительные, оказавшись сейчас за кругом света, жили как бы отдельно, сами по себе — черные пустые глазницы, над которыми на околыше бескозырки, между выцветшими словами «Балтийский» и «Флот», неожиданно ярко алела звездочка — этот «в пустоте зловещий символ: сгусток крови, пять концов, и бездонные могилы наших дедов и отцов!..».

Но вот пошевелился Яков — и исчез оптический фокус. Все оказалось на месте — и глаза, и настороженная внимательность в них.

— Обживаешься понемногу?

— Понемногу обживаюсь, — ответил Труханович. — Привыкаю, а там видно будет.

— Все пишешь что-то… А? — переспросил Яшка, хоть Труханович еще и ответить не успел.

— Тренируюсь. Знакомые буквы вспоминаю, чтобы грамоту не забыть.

— Нет, я серьезно.

— Я тоже. Доктора сказали пальцы разрабатывать.

Кроме спекуляции на болезни, которая столько раз уже выручала, вдруг пришло и ощущение какой-то силы своей, превосходства над ними — как у взрослого над детьми, как у опытного игрока над зелеными дебютантами, и захотелось поиздеваться над ними хоть немного. Ну, начинайте, сыграем!..

Хоть и понимал он, что проводится всего лишь обычная проверка его, знакомая по госпиталю.

— Пальцы пальцами, а пора и на люди чаще показываться. А то как будто брезгуешь коллективом, или как.

— Да нет, привыкаю просто, — повторил Труханович.

— Здоровье как? Поправляешься?

— Поправляюсь…

Миканор напустил слюны в ладонь и затушил папиросу. Завоняло табаком еще больше, чем когда он пускал дым.

— Мы чего пришли… Сходка завтра. Большая, всех деревень окольных. Так, может, выступишь?

— А что за сходка? Чему посвящена? Не гать ли делать? — иронически спросил Труханович, имея в виду художественные произведения про двадцатые-тридцатые годы. Все без исключения романы и повести заканчивались там собраниями, после которых путем совместной работы происходило сливание индивидуумов в единый организм. Из пятнадцати прочитанных им книг в десяти вместе строили дорогу, мост и прокладывали гать (дорога как

символ перехода от темного к светлому, мост — приобщение к прогрессивному человечеству, гать — выползание из трясины жизни на широкий простор), в четырех коллективно осушали болота, а в последнем (роман А. Чернышевича «Рассвет») — все это вместе плюс строительство торфозавода.

— Какую гать? — недоуменно спросил Яшка. — А? У нас же брод есть!

— Обычно гать делать решают на собраниях…

— Не гать, — сказал Миканор и радостно засмеялся, — а общий Крестьянский дом! Как клуб, только больше!

— Так фольварок же есть. Готовый уже. Кирпичный. Почистить, обновить…

— Место плохое, — объяснил Яков. — От дорог в стороне. Да и дух там еще панский…

«Не так панский, как ваш». Труханович недавно, собирая грибы, набрел на тот фольварок, лучше сказать, на то, что от него осталось. Но даже по фрагментам еще можно было реставрировать, хотя бы в воображении возобновить это маленькое архитектурное чудо в его первозданности, это двухэтажное здание со шпилем, с флигелем, с мостиком через канавку, с прудом, с посадками акаций, с клумбами во дворике… Все это было, конечно, еще в семнадцатом году превращено в одну большую общественную уборную.

— Ну да, — грустно проговорил он, — новое проще построить.

— Огромное такое, красивое здание! — увлекся Миканор. — И чтобы место удобное, на равном расстоянии от всех деревень, и чтоб изба-читальня там, и школа, и почта… И может, даже магазин, и милиция, и комбед…

(И консерватория — как в том анекдоте: «Вот закончится война, консерваторий настроим, и на каждой — по пулемету, чтобы консервы не воровали!»)

— Дело хорошее, — сказал Труханович. — Все в одном месте, все на виду, под контролем — кто что читает, кто что в магазине покупает, кому письма приходят… Но чем я вам помогу? Разве что мхом щели конопатить…

— Я же говорю — выступи завтра! И расскажи, объясни людям, зачем это нужно.

— А оно нужно? — добродушно спросил Труханович. — Человек ведь не животное, чтобы всех в один сарай, да и животные не очень хотят жить вместе…

— Что-что? — насторожился Яков.

— Говорю, даже животное каждое хочет свой угол иметь.

— Вот так? У тебя, выходит, пропозиция такая: моя хата с краю?

— Позиция, а не пропозиция, — с мягкой улыбкой исправил Труханович.

— Пусть про госпиталь, может, расскажет, да и все, — вступился добрый Миканор за брата. — Какие там настроения…

— Да какие там настроения? Никаких, можно сказать, — Труханович вспомнил Антонова. — Одному ноги все резали, от гангрены… Другой, слепой, так тот все говорил, что когда снова начнет видеть, из большевиков выпишется, на хуторе дикарем жить станет, частоколом от всех отгородится…

— А ты не про таких, ты про других расскажи. Неужели только такие были?

— Может, были и другие. Мне не встречались.

Конечно, видят, уже поняли они, особенно Миканор, который лучше Трухановича знает, что издевается он над всеми, всерьез их не воспринимает. Миканору явно было неудобно, но Яков владеть собой умел, виду не подавал, что слушает сейчас такое, чего в этих местах на десятки верст вокруг не услышишь. Да и марку держать надо было — все же представитель власти он, а не какой-то контуженный калека без памяти.

— А ты подумай хорошо, — чуть ли не с угрозой посоветовал он. — Может, вспомнится. А не вспомнишь, так придумай. У тебя же голова на плечах.

— Да придумать дело нехитрое… И выступить можно, и большевиков похвалить… А вот если вдруг не вечная их власть? — нехотя начал втягиваться Труханович. — Кружки, общества, товарищества, коллективное хозяйствование… А вдруг спешим? Свои же потом не похвалят… Репрессии, чего доброго, начнутся — за перегиб… А то — не приведи Бог, конечно, — еще и сажать, и расстреливать возьмутся свои своих… Тогда что?

— Это я слышал, — сказал Яшка, — что ты, как тот цыган, ворожить научился. Скоро деньги этим зарабатывать будешь.

— Хорошо гадается, когда хорошее впереди. А если на беду поворачивается, то прорицатели и денег за такое не берут.

— Изменился ты, — произнес, вставая, Яшка, и Миканор с ним вместе. — Война, контузия, болезнь… Изменили тебя сильно!

Как ни был рад Труханович, что закончилась беседа и уходят они, все же не удержался, чтобы не ответить:

— Как и тебя, Яков, как и тебя, — сказал, не очень надеясь, что намек его будет понят.

Часть пятая

1

Один философ в редкие минуты отдыха от трудов умственных любил помечтать: вот если бы, например, заболеть неизлечимой болезнью и знать — с точностью до одного дня, что обязательно умрешь? Это ж можно делать все что пожелается, резать каждому правду-матку, да и, в конце концов, просто жить — так, как всегда хотелось, ничем себя не сковывая!

Другой философ, белорусского происхождения и современный, развивая эту же тему — знания даты преждевременной кончины и того, как лучше всего остатками жизни распорядиться, высказался в том смысле, что если уж все равно умирать, то в знак протеста неплохо было бы совершить публичный акт самосожжения…

КПД — во всем коэффициент полезного действия.

В последнюю перед больницей неделю Трухан написал очередное заявление на очередной «академический», сдал в библиотеку книги, рассчитался с кастеляншей, подштопал свои старые, расползшиеся по швам спортивные штаны, купил тапочки — не белые, а синего цвета, с толстыми подошвами. Здорово в таких было бы выбежать на зорьке, с полотенцем на плече, из какого-нибудь коктебельского коттеджа — под тень магнолий и аромат кипарисов, а потом неспешно и долго шагать берегом моря по мягкой, приятной под толстыми каучуковыми подошвами гальке…

Так, понемногу от этих хлопот избавляясь, из этой паутины, что связывала его с жизнью, выпутываясь, Трухан и проводил последние дни.

И чем меньше их оставалось, тем чаще, и подолгу, гостили у него старые надежные друзья: сны и одиночество. «Сны о том, как выйду, как повязки снимут, как мои бумаги отдадут, как меня все встретят, как меня обнимут и какие песни мне споют», — ловя себя на том, что капельку надежды все же оставляет.

Не сказать, чтобы он или мысли его так уж сильно изменились, не сказать, что эти последние дни так уж на них повлияли. Была даже иллюзия, что и вокруг все застыло, осталось таким же, ничуть не изменилось. Если бы не время. Если бы не эти листки календаря, что с такой неумолимой обязательностью отрываются, отлетают, приближают… На которых еще вчера была пятница, а сегодня уже — воскресенье.

Можно писать, есть, спать, можно биться головой о стену, можно фантазировать, как лучше собой, телом своим распорядиться: выйти на площадь и сжечь себя, или взять топор и зарубить какую-нибудь богатую бабульку из частного сектора. А время, ни на что не обращая внимания, тик-так да тик-так — и не изменишь его, не остановишь, не подгонишь… Время, к которому так идеально подходит определение «неумолимое», — не единственная ли объективная реальность, данная нам в ощущениях, нечто независимое, само в себе и само по себе, что-то такое, с чем стоит считаться, что нельзя не уважать, на что стоит обратить больше внимания.

Хоть ты стань на колени перед часами, как язычник перед идолом или верующий перед иконой.

Вместо того чтобы сжечь себя, или зарубить бабушку, или выкинуть какой-нибудь еще фокус, Трухан, подготовившись к больнице, помногу теперь читал и писал. Росла, толстела серая папка… Однажды постучали в дверь, и зашел Иван Павлович — «Выбритый», попросил, как он высказался, что-нибудь «новенькое».

— Когда вернуть? Я быстро читаю.

В ответ Трухан только рукой махнул. Все равно, хоть никогда не возвращайте — так это можно понимать было. Другое в связи со своим произведением его сейчас интересовало. Он видел, что по мере того, как приближается к развязке история Трухановича в том времени, а его, Трухана, в этом, две эти линии двигаются не к финалу, а к — началу. Да и линиями назвать их можно с большой натяжкой. Его герои никуда не шли, не ползли, не продирались и не греблись, а сидели на одном месте, тогда как события крутились вокруг них. События — круги на воде; вместо того чтобы увеличиваться, расходиться, они надумали вдруг уменьшаться, сужаться, пока не сошлись в конце концов в один «бульк» от минуту назад брошенного камня.

На первый взгляд, был же у него очень простой выход — съездить в деревню, пока время еще есть, да поискать закопанную когда-то гильзу с записками двойника Трухановича. Все станет ясно. А если не окажется ее там? Чем жить? Крушение фантазии, и тогда пустота полная… Это было страшнее, чем любопытство, чем жажда знания правды. Тем более что вскоре наступил последний день, лучше сказать, утро — потому что еще не рассвело, когда надо было ехать ложиться в больницу, и стало не до деревни, не до гильзы и не до Трухановича.

Игорь еще спал себе сладко. Трухан аккуратно, квадратиками, сложил одеяло, покрывало, простыни — все было живое, каждая мелочь обретала свою значимость. Пока ходил в уборную, затем мылся — одно благодарил, другое укорял, третьему — выговаривал, например, двери — за то, что палец когда-то прищемила… Кухню, на которую пришел чай греть, поблагодарил за тот давний разговор с Ведричем.

То же самое было и на улице, куда вышел с пакетом, в котором лежало все необходимое, больничное. И здесь все воспринималось им как рефрен какой-то мелодии расставания — с серым пасмурным утром, с киоском на углу, в котором покупал газеты и журналы, даже с нечистым запахом подземного перехода… С любой мелочью хоть что-то, хорошее или плохое, было связано. (На самом деле он прощался с самим собой нынешним.)

И когда ехал в трамвае, изучая сквозь мутное стекло город, дома, улицы, машины, людей, — на чем бы ни останавливался взгляд, все на себя переводилось: вот они — живут, они в этот город вписываются… А я в больницу ложиться еду.

Когда же, наконец, приехал, и в приемный покой зашел, и оказался среди десятков двух таких, как сам, — «своих», в этой атмосфере ожидания, уныния

и унылости, стало еще тяжелее, еще более горько. Здоровые люди были как минимум разные, каждый — индивидуальность, а эти — все одинаковые, все одним и тем же жили, об одном и том же думали, даже пакеты у многих были одинаковые, и, конечно, содержимое их — тоже.

Очень долго то сидели, то из угла в угол бродили, и ждали, как новобранцы на призывном пункте, пока не приходила и не забирала очередную партию из трех-четырех человек санитарка.

Пришли и за Труханом.

2

Началось то, чего он боялся, хотя и знал, что оно обязательно начнется. А именно: все прежние анализы его, те самые, которые в очередях высидев-выстояв, с такими нервами и проблемами столько раз сдавал в студенческой поликлинике, все рентгеновские снимки, заключения, кардиограммы и так далее — все, что наказывали ему беречь как зеницу ока, сейчас признавалось никуда не годным. На них даже не взглянули как следует. Все нужно было делать заново.

Что ж. Это же не электрочайник, а человеческий механизм — тут могли и устареть анализы… Да и куда ему было спешить?

Пришел доктор. Молодой, деловой, строгий.

— Как самочувствие?

— Доктор, скажите, операция… очень опасная? — несмело спросил Трухан о том, о чем до этого сотню раз спрашивал. В самом вопросе с детской хитростью заложена была подсказка: чтобы доктор зацепился за это «очень» и опровергать начал.

Но доктор не клюнул на наивную приманку.

— Сколько вам полных лет? Женаты? Кто у вас есть из родственников? Чем болели? Как переносите наркоз?

А Трухан расшифровывал: мы готовимся к самому худшему, и тебе и твоим родным то же советуем. И этот доктор был тютелька в тютельку такой же, как и поликлиничные. Везло же на таких Трухану. Или такая мода нынче у медиков — быть максимально жестокими к больным, не искушать их надеждой, чтобы не сглазить, или это новая какая-то порода их возникла за последнее время — перестраховочная порода, но ни один из тех, кто ему попадался, не считал нужным утешать его, как-то обнадеживать, слова доброго не сказал. И в прах разлетался стереотип рассеянного, с близорукими поверх очков добрыми глазами, с трубкой в нагрудном кармане халата профессора, который называет пациента «голубчик», который не жалеет фраз типа «все будет чудесно, главное, немножечко потерпеть…».

А может, он просто многого требует от советских докторов? Да нет, элементарного — человечности. Потому что своей излишней строгостью, грубостью, своим нагнетанием варианта только негативного, подготовкой только к худшему — вплоть до того, что «оставь надежду!», они перебарщивали уж слишком. Казалось бы, им проще, легче, выгодней, в конце концов, гуманнее было бы обмануть больного, наобещать ему золотые горы здоровья… Ан нет!

А раз они делают наоборот, грустно размышлял Трухан, то ищи причину в практичном: дать нужно «на лапу». Иначе, заплатить.

Он представлял себя тогда на месте доктора, и страшно ему становилось. Неужели можно к одному больному относиться иначе — добрее, ласковее, а к другому — как к подопытной собаке, — лишь потому, что заплатили или не заплатили? Неужели все зависит от взятки, протекции, блата? В любой другой сфере, где угодно такое можно допустить, только не в медицине.

Были бы эти размышления совсем мрачными, если б не контраргумент, не прекрасное доказательство, что это — неправда. Вот как раз медицина и есть та штука, где малый прок и от взятки, и от протекции, потому что болеют и умирают как любые богачи, так и сами медработники.

На докторов, как на жену Цезаря, не должно было падать подозрение. Зато как раздражал, злил, из себя выводил так называемый персонал младший и средний — санитарки и сестры. Эти ну никак не хотели понимать, какие глобальные вопросы стоят перед больным человеком, и постоянно лезли со своей мелкой, надоедливой глупостью. Будто единственной их задачей было — лишить его одиночества, не дать ему побыть одному. Они постоянно отрывали Трухана от мыслей о главном и отравляли ему и эти несколько лишних, подаренных судьбой дней, которые он хотел потратить на подведение итогов и на прощание…

Где там! Все время он кому-то нужен был, его дергали, звали, искали, спрашивали — причем, одна спрашивает слово в слово то же самое, что несколько минут назад — другая. Он терпеливо отвечал.

Сестра-хозяйка отругала, что не взял «из дому» свое полотенце, потому что казенных мало, а больные, которым выдают, выписываются и забирают на память.

«Я, ей-богу, не брал, я впервые в вашей больнице», — попытался отшутиться Трухан. Эти слова почему-то так расстроили женщину, что ее «на посту» отпаивали каплями. Все же принесла — как от души оторвала, стираную-перестираную, пожелтевшую от старости тряпку и под расписку выдала.

Потом: «забор (в смысле, забирание) крови». Отвратительная процедура! Причмокивание «груши», шум в ушах… То руку не так положил, то вену не найти, то палец плохой… Да все со вздохами, нервами, с демонстрацией того, что виноваты в том, что у нее такая нелюбимая, опротивевшая работа, не она, а вы — подсобный материал, такие вот бестолковые больные…

И в столовой без крика не обошлось: почему не взял, опять-таки «из дому», ложку с кружкой?! И тоже, поойкав, на должностное преступление пошли, выдав ему — под клятву возвратить — стакан с чайной ложечкой.

Где бы он ни появлялся, повсюду вызывал недовольство, оханье, айканье, все делал не так и не то. Процедурная сестра бурчала: где одноразовые шприцы? — я на вас не напасусь… Санитарка отругала, потому что из-за его тумбочки выгребла кучу грязи, корки и крошки, шелуху, хотя отлично знала, что он час назад как поступил и еще даже тумбочку открыть не успел. В рентгенкабинете встретили руганью — почему тапочки не снял у входа?!

И постепенно на него новая волна раздражения накатывала. Да чего вы так переживаете? Откуда я знал? Кто меня предупреждал? Неужели я специально, цель себе поставил неприятности вам доставлять?

Но даже не это обидно было. Что ему, привыкать — советскому больному в советской больнице? Хуже было то, что из всех этих придирок и претензий вытекало — если бы он, допустим, захватил собственное полотенце, и кружку с ложкой для столовой, и снял тапки у входа, то для него не вставал бы вопрос о Смерти; будто от всего этого зависело, будет он жить или умрет.

Либо такая накладка. В палату вкатила сестра капельницу: «Ложись».

Он лег покорно, в белый потолок глядя. Через пару минут другая сестра прилетела, иголку вырвала, аж кровь на простыню брызнула… «Чего ты молчишь, лежишь?!»

А у него никто и не спрашивал. Оказалось, в соседней палате есть больной по фамилии Труман, тоже недавно поступил, и их перепутали. И позже, конечно, постоянно путали. То укол, то капельница, то таблетки, предназначенные Труману, попадали в палату к Трухану. Но и Трухан уже был научен.

«Кому?» — спрашивал он. «Тебе, кому же еще!» — «Посмотрите хорошо». — «Ну, посмотрела — тебе, Труману!» — «Но я — Трухан».

Сосед по палате шутил: «Смотри, чтоб Трумана вместо тебя на операцию не забрали! Потому как у нас что угодно бывает. Такой укольчик впулят, что и операция не понадобится…»

Этот сосед был копией Антонова из той жизни (а может, и прямым его потомком); с такими же глупыми шутками, хамским обращением, и так много он говорил, что Трухан, иногда забывая, где находится, лез в тумбочку за сухарем, дать ему, чтобы заткнулся.

«…А то как-то больничный дали на халяву, — вяло, монотонно рассказывал этот «внук Антонова». — Три дня гулял на свадьбе. На работу идти, а как идти? Приходит знакомый. Говорит, давай в магазин, купи бутылку водки и бутылку шампанского. Я сбегал. Теперь — бинт и теплая вода. Мочит бинт, туго бинтует мне до колена ногу… Теперь — ставь ногу на табуреточку. Я поставил, он неожиданно как врежет по ноге бутылкой! Боль ужасная. Выпили водку, я разбинтовал — нога черная, распухшая, в ведро не влезает. И перелома нет — и месяц больничного!»

Слушая его, — а не слушать невозможно было, Трухан начинал понимать, почему так пугало его всегда «обычное, простое человеческое счастье», почему оно казалось ему хуже даже того, что он на данный момент имеет.

Остальные однопалатники, четверо их было, доставали Трухана более тонким способом — сравнивали его с каким-то Кваткевичем, который раньше здесь лежал. Как только обращали внимание на Трухана, так автоматически вспоминался Кваткевич.

Началось с диагноза, с того, что Трухану операцию будут делать.

«А вот Кваткевичу — здесь он лежал, на твоей кровати, никакой операции не делали!»

При Кваткевиче в палате был телевизор, «видак», магнитофон.

«А у тебя есть?» — «Нет».

А как умел Кваткевич травить анекдотики! А в карты как играл!

«А ты играешь?» — «Нет».

При Кваткевиче из палаты не вылезали посетители, гости, девки… Спиртное приносили, вкуснятину разную.

«А к тебе почему никто не приходит?»

И так далее, и тому подобное, и в каждом случае сравнения были не в пользу Трухана, — будто он стал каким-то другим полюсом, обратной стороной, негативным двойником того неизвестного Кваткевича.

3

…Если в первом акте *на стене висит ружье,*
то в последнем оно должно… дать осечку.

И вдруг — в субботу под вечер это случилось, неожиданно для себя и для однопалатников Трухан начал набирать баллы в заочном поединке с Кваткевичем.

Ни с того ни с сего переводят его в другую палату. Не просто лучшую, а «люксовую», на двух человек рассчитанную, а второго нет пока, только кровать, так что считай — одноместную. Телевизор, холодильник… Хоть и не нужны они Трухану. А самое интересное и подозрительное, что отношение докторов и медперсонала резко меняется — в сторону улучшения обслуживания и вежливости.

Значит, совсем дрянь дело, думал Трухан, раз так носиться начали со мной. И совсем бы упал духом, если б не посетители к нему. Терешков с Ведричем.

От них пахло морозом и здоровьем.

— Ну и скрытный же ты! — с порога начал Ведрич. — Ни слова, ни письма, ни записки! Я весь универмаг (так Ведрич называл университет) на уши поставил, пока узнал, где ты.

— Зачем?!

— Еще задается! Одной ногой в могиле, а все равно нос задирает. Стесняется еще. Стыд — это подохнуть раньше времени. Нелли была уже?

Вот только когда допер Трухан. Как он сразу не догадался? Ну конечно. От кого, как не от циника, хама Ведрича можно ждать добра на этом свете? Ну, естественно: все разведал, вспомнил, кто у Нелли папа… Договорился. И вот результат — эта палата, вежливость, уважение… Первый раз в жизни Трухан пожинал плоды блата.

Ведричу было стыдно за сделанное добро. Теперь он скрывал его под панцирем грубости и развязности.

«…Доктор-националист точит бруском скальпель, — рассказывал, развалившись на незанятой кровати, он (Терешков примостился в ногах). — Больной лежит на операционном столе и колотится. «Доктор, доктор, я умру?» — «А я-ак жа!»

Трухан засмеялся, но не сказать, чтобы весело.

— Умеете вы настроение поднять…

— А вот еще, — продолжал Терешков. — Заходит один в белом халате в палату, с метром, начинает больных обмерять. «А зачем это, доктор?» — «Я не доктор, я столяр…»

— Благодарю! Вас только в отведки посылать. И нашли же тему!

— Или такой еще анекдот… — разошелся Терешков.

— Ну, хватит, — прервал его Ведрич. — Потому что в самом деле… — И сразу же сам: — Сапер подорвался на мине, надо, чтобы кто-то тактично сообщил жене. Приходит командир взвода, начинает: «У каждого в жизни случаются ошибки…»

Трухан слушал, улыбался, и как ни странно, легче ему становилось, меньше мучал страх от этого черного, неуместного юмора.

Терешков с Ведричем были утром, а после обеда, в «тихий час», когда стемнело, снег за окном стал синим от фонарей и Трухан прилег отдохнуть, появился еще гость — Иван Павлович.

— Ну, как мы тут? — весело начал, по привычке потирая руки перед тем, как поздороваться. — Поговорим? Только лучше не в палате, — почему-то сразу предложил он.

Вышли в коридор. Устроились в «световом кармане» — там, где общий телевизор, вазоны, фикусы, кресла и журнальный столик. Если б и захотел, то лучшего места не найдешь. Никто не мешает. Тихо. На «посту» за освещенным столом сестра что-то пишет. Полутьма, уют…

Нечто похожее однажды Трухан себе уже представлял — на лекции, когда в мыслях будто бы разговаривал с Ведричем. И вот все на самом деле. Пусть с другим собеседником, пусть в других условиях… Но тут что интересно: ну, ничего же невозможно выдумать, чтобы не сбылось! Невольно подумаешь — да планирует ли человек свою судьбу сам? Не вымащивает ли он собственное свое будущее, раз за разом направляя луч фонарика в далекую тьму? Вот и получается — каждому по желаниям его, как спланировал, так и получи.

Между тем, Иван Павлович говорил уже. Трухан оторвался от своих мыслей и начал слушать.

— …Я читатель старомодный, — тихо говорил Иван Павлович. — Слежу больше за сюжетом... В художественном произведении мне всегда интересно, что будет дальше. А у вас, извините, еще до конца не дочитав, уже вижу, что закончится арестом и, скорее всего, расстрелом главного героя… Просто потому, что нельзя такого человека на свободе держать… Также нет объяснения, как он вообще в тех годах очутился? Читателю интересно это. Я бы на вашем месте что сделал? Пусть он умирает в нашем времени, скажем, на операционном столе (тьфу-тьфу-тьфу!)… Нет, не умирает, конечно, а — засыпает под наркозом, а просыпается в другой палате, в начале века, человеком с другой биографией…

Трухан слушал и не слушал одновременно. Неужели еще не так давно подобная чушь могла его интересовать? И как сейчас все это было далеко от него.

…Я на вашем месте что сделал бы… В будущее его перенес! Представляете? По-моему, было бы здорово. Три периода: прошлое — потом арест, расстрел — и в нашем времени просыпается. Уми… засыпает, я хотел сказать, под наркозом — и в будущее переносится. Материал, охват событий, простор! Впрочем, извините… Просто иногда немного обидно, что сам не пишу. Интересно услышать ваше мнение. Что вы скажете?

— Я? — спохватился Трухан. — Дело в том, что будущее меня никогда и нисколько не интересовало. И не интересует. Мне не хочется даже в мыслях, даже в творчестве туда переноситься. Не знаю, почему. Мне кажется, там все то же будет: рождение и старение, радости и муки, дружба и предательство… И так до конца света. Прошлое можно зафиксировать, его можно помнить, убегать в него, жить им, спасаться им… А в будущее как убежишь? Как его зафиксируешь? Оттуда, как с того света, не возвращаются. Можно и так сказать: будущее — то, чего нет, это небытие, это синоним смерти. Либо индивидуальной — от старости, болезни, несчастного случая, либо массовой, общей — от ядерного взрыва, очередного ледника, теплового эффекта, остывания земли — да все что угодно, и все это будущее, и все это смерть!

— Пессимистичное у вас настроение…

— Конечно, будет технический прогресс, разные бытовые удобства — все это будет. Но эти материальные «завоевания» видятся мне почему-то чем-то стыдным, напоминают школьные убогие сказки из моего детства, когда учителя объясняли нам, детям, что такое коммунизм: это когда каждому будет бесплатный трехколесный велосипед. Технические завоевания будущего — тот же велосипед!

— Сложно с вами согласиться, — кивая головой, говорил Иван Павлович.

— Есть притча, что раньше люди знали свое будущее, знали и дату смерти. И однажды Иисус пришел к такому всезнайке в гости — пришел и ужаснулся: грязь, вонь, запустение, крыша провалившаяся, хозяин лежит на кровати и плюет в потолок. «Что же ты делаешь, человек? Приберись хоть немного!» — «Зачем, если я в четверг умру?» С тех пор Бог и сделал то, что есть.

— Мышление у вас логическое, правильное, — похвалил ни с того ни с сего Иван Павлович, будто это Трухан, а не Бог, придумал, чтобы люди не знали будущего. — Но настроение, отношение к жизни… Между тем, вы утрируете. Я разговаривал с вашим доктором, все не так безнадежно, как нам временами рисуется… Да сменим тему. У вас же есть прекрасное лекарство — творчество, литература! Плюс стечение обстоятельств — если знаменитое «не могу не писать» так естественно вам подходит. Вы как человек на необитаемом острове, у которого, кроме бумаги и чернил, нет больше ничего, и которому ничего больше не остается, как творить. Да миллионы обычных людей, — толку им от их здоровья, если они не ценят его, если

жизнь их похожа на животное или растительное существование! Если у них нет времени остановиться и посмотреть на небо, на облака и звезды или себе под ноги — на траву, на муравья в ней… Вас должно сдерживать, как и до сих пор сдерживало, ощущение непохожести, избранности, гордости, что именно вы в числе тех немногих, кого вытащили из этой бесконечной людской цепи, по которой живые двигаются в мертвые…

— А мне какой прок от этой «избранности»?! Какая отдача? Что я на том свете из нынешней моей «избранной» жизни вспомню? Ни здоровья, ни денег, ни женщин, ни семьи, ни путешествий, ни дуэлей, ни геройства, ни подлости… Совсем ничего.

— Так это же, наоборот, очень хорошо для творческой личности! Сублимация. У вас нет ничего этого, но вы зато можете его придумать, и пережить его, и пользоваться им, как будто на самом деле…

«Пусть бы кому другому такое счастье», — вслух пробормотал Трухан — и проснулся.

4

Он проснулся в своей каморке от холода. За окном было темно. Окно запотело, по стеклу барабанил дождь.

И, лежа и прислушиваясь к этим наружным сонным звукам, Труханович понял, что скоро закончится все, что эта резкая перемена в погоде показывает на скорую перемену в его жизни. Не зря же писатели придумали такой ловкий прием: передавать настроение человека через погоду и явления природы. Хорошо и приятно было не делать ничего, заниматься пассивным, ленивым созерцанием, «святой ленью», когда и вокруг, в природе-погоде все было гармонично и умиротворенно. Тогда и на душе становилось спокойно. А когда нудный, осенний, тягучий дождь на улице? Слякоть, холод… Нога болит. Руку крутит, как будто зубной болью. А вставать надо. И никак не избавишься от уймы разных бытовых хлопот, которые пчелиным роем, разрешения не спрашивая, сами лезут в голову. Обмотки сырыми будут… Сапоги вот-вот расползутся… Гимнастерка потом воняет… и как же надоело все время мыться одной рукой! И как, и где вообще смыть эту грязь с себя? Пока тепло было, так речка под боком, хоть немного можно поплескаться — а сейчас? Это только начало, еще вся осень впереди. А зима? Что он зимой делать будет? Если в каморке грубки нет?

А тут, в придачу ко всему, еще вспомнилось, что сегодня ему в Скригалов на мельницу ехать. Сам напросился.

Дело в том, что Миканор с Отцом хоть и жили на одном подворье, но хозяйств у них считалось два — раздельные. Закончился обмолот, Миканор свою норму продзаготовки сдал всю, а отец пару мешков излишка припрятал, надеясь — в случае чего — прикрыться тем же Миканором… Как раз пошел слух, что в недалеком Скригалове заработала паровая мельница. Вот только надолго ли? Нужно было пользоваться моментом, везти и молоть, пока хоть какое-то затишье.

И тут Миканор проявил неожиданную твердость — никаких поездок! Одно дело — жито, и совсем другое — мука. Припрятать излишки можно мало ли на что, хоть бы и на семена, провинность в этом небольшая, а вот молоть… Молоть — это против закона, против советской власти. Он, Миканор, и без того на многое глаза закрывает, потакая Отцу, а на преступление идти не собирается.

Свое смолоть — преступление? — прикидывался невинной овечкой Отец. — Когда такое случилось, что оно так называться стало?

Труханович, который был невольным свидетелем этой сцены, вначале хотел тихонько выскользнуть из дома. Но что-то подсказало ему, что это, может, и есть тот случай, когда он хоть чем-то сможет быть полезен этим людям. Он остался.

— Ни сам не поеду, ни вы не поедете, — говорил Миканор. — Вас же каждая дырка в заборе в том Скригалове знает! И учетчик, и мельник… Не надо мне, чтоб потом пальцем показывали, что сын по домам ходит, последнее выгребает, а отец…

— Разве я тебя посылал на такую работу? Ты же сам ее нашел, — упирался Отец, но осторожно говорил, потому что грех было нарекать на Миканора, благодаря которому и так ему большие поблажки делались. — Вон Стахвей не прячется: свозил вчера и смолол, и вернулся…

— Бросьте это! Стахвею можно. А нам — нет!

— Другие смололи, — гнул свое Отец, — и ничего им. А у нас все не как у людей…

— Так и скажите! Не так вам то жито и та водка, как позавидовали, чтоб от людей не отстать. А на меня и без того косятся, что других агитирую, а отца родного не трогаю. А как вас затронешь, если у вас такая кулацкая натура?

— У тебя зато большевистская — вот и свозил бы, и никто тебе слова не сказал бы…

— Еще чего получше не могли придумать?! Мало вам, что я и так молчу о тех излишках? Или вы хотите, чтоб меня в Мозырь под конвоем повезли?!

— Да Бог с тобой, сынок, — испугался Отец. — Не хочешь, не надо, я же тебя не посылаю. Молчишь — и за это спасибо, — начал подхалимничать он, хорошо зная характер сына: позлится да все равно уступит. — Пропадет же жито… И как без водки? А оно же хуже и хуже с каждым днем…

И дальше, уже не к Миканору, а к «младшему» — Трухановичу, обращаясь:

— Упустим время, жалко же. Потом не будешь знать, что делать с этим житом… Вон задождило — скоро улицу не перейдешь, не то что в Скригалов… Да и мельница ждать не будет. Стахвей говорил вчера, что…

— Давайте я съезжу, — предложил Труханович — безразлично, как будто тем целыми днями и занимался, что по мельницам разъезжал. — Документы у меня в порядке, никто меня в том Скригалове не знает…

— А сможешь? — поспешно спросил Отец. Эта спешка его и выдала, показав, что такой вариант обдумывался им изначально как самый, может быть, для всех удобный.

— Да куда его отпускать? Еще дорогу забудет! — вырвалось у Миканора. Но не со злостью, не с насмешкой вырвалось, было видно, переживает он за брата. — Может, и правда мне с ним поехать?.. А перед Скригаловом пересидеть где в лесу, подождать, пока назад… Тьфу, черт знает что!

— Не дури головы, — стал успокаивать его враз повеселевший Отец. — Может, и правду говорит… Что там ехать? Дорога сама выведет… И там, в Скригалове, кто его знает? Трухановичей вся округа. А тут, свои — так дурак не увидит, а умный промолчит.

— Вот неймется вам с этим житом! Езжай. Пусть едет. Мне-то что? Смотрите сами. Но родня родней, а меня здесь не было, и не слышал, не видел ничего!

Все получилось так, как говорил Отец, а не Миканор. И съездил удачно, и вернулся живой-здоровый, и дорога сама вела, а умный конь сам вез, и даже с дождем как подгадали — никого знакомого не встретилось по пути. Всю дорогу туда Труханович просидел крюком под брезентовой накидкой, по которой барабанил дождик. Хорошо так было, тихо, даже думать не хотелось…

В Скригалове сразу нашел, ни у кого не спрашивая, двухэтажное кирпичное здание паровой мельницы. Около нее уже стояло цугом подвод пять. Труханович пристроился в конце. Пока медленно двигалась очередь, покормил коня с руки сеном, потом походил среди подвод… Быстро нашлись помощники — мешки на мельницу отнести и муку на телегу погрузить сами вызвались и даже бутылку самогонки, которых Отец две дал с собой, сперва брать не хотели: «Свой — браток-хронтовик, что же мы, нехристи разве?..» Сбыв с рук одну заботу, Труханович решил заглянуть на мельницу, чтобы хоть немного разобраться, что тут к чему, чтобы потом, когда его очередь подойдет, не выглядеть полным неучем.

Внутри, на первом этаже, было настоящее пекло. Все колотится, гремят камни, за белой пылью почти ничего не видно, в этом вихре суетятся, как черти, люди, выполняя какую-то непонятную работу… По деревянной, белой, будто обсыпанной мелом лестнице поднялся наверх. Здесь было немного спокойнее. Постоял, осмотрелся. Ну что ж, в основном механика понятна. Коловорот, которым снизу поднимают мешки, большущая корзина, куда высыпают жито. Жернова крутятся при помощи пара, и вниз по лотку в ящик ссыпается мука…

Спустился вниз, немного привыкшими уже глазами увидел, что и здесь, оказывается, совсем не хаос, а продуманные, понятные действия: люди выгребают совками муку из ящика и наполняют мешки. В углу у окна, где светлее и немного меньше пыли, сидел на одном ящике человек, другой ящик, повыше, служил, видимо, письменным столом, потому что на нем лежала раскрытая тетрадь. Труханович невольно потянуло туда — знакомое занятие, бумага, карандаш… А когда еще увидел, что у человека вместо ноги — деревянная клюка, совсем растаял душой: «коллега», такой же, как и он, изувеченный…

Он подошел и, сам не зная, зачем делает это, достал из кармана поддевки бутылку самогона и молча протянул человеку. Тот не столько обрадовался, сколько удивился, даже как будто испугался чего-то. Однако, оглянувшись, бутылку все-таки взял и спрятал под свой «стол»-ящик.

Затем смерил Трухановича долгим настороженным взглядом.

— Без очереди надо? — спросил наконец. — Организуем!

— Да нет. Спешить некуда.

Человек смягчился.

— А, ну тогда благодарю. Смелем! Мы тебе так смелем, что пироги из той муки печь можно будет!..

Хорошим своим зрением Труханович заметил на открытой и разграфленной странице: учет… мешки… пуды… мука — крупчатка… первый помол… второй сорт…

— Вы учетчик? — ляпнул он, делая вторую после дачи взятки ошибку. Человек снова насторожился. Ты приехал на мельницу и не знаешь, кто я? — будто хотел сказать он. Впрочем, приблизительно так и сказал:

— Я-то учетчик… А вот ты кто? Что-то не припомню. Не Труханович ли младший будешь?

— Нет… Труханович, но не младший… Не тот. Другой я, — почувствовав, что запутался, Труханович умолк на полуслове и, раздосадованный, повернулся и поковылял на улицу. Зачем ему понадобилось врать? И что за щедрость с этим самогоном?.. Как все же тяжело с людьми, как путаешься с ними, не знаешь, как вести себя!

И только когда, смолов и собравшись, выехал из Скригалова и очутился снова в лесу, один, с конем, — полегчало немного. Дождь перестал. Спину уютно грел теплый мешок муки. Только в одиночку и можно существовать. Гармония… «Лявон-Бушмаровщина»…

Но на этот раз мысли его взбунтовались. И досада, и злость неожиданно расходились в душе. Оттого, что все-таки он неуместен среди этих крестьян — с их вечными проблемами, с их вечной борьбой за выживание… Чужой, всему и всем чужой! И как же опротивело уже это свое «всезнание»! От которого ни ему самому, ни кому другому никакой пользы!

И он почувствовал, как устал от этой чуждости, от вечного своего актерства в этой слишком уж затянувшейся пьесе.

И, как и сегодня утром, только еще более остро, с еще большим чувством облегчения понял, что пора, что скоро закончится все, что он, сам того не осознавая, приближает развязку, по крайней мере, хотя бы вот этим эпизодом на мельнице… И ему хочется, чтобы эта развязка скорее наступила.

Почему им не интересуются?! Почему не арестовывают?! А может — уже? Вот подъедет он сейчас к дому, а там ждут… Чтобы «забрать».

До того он этой развязки хотел, до того был к ней подготовлен, что почти не сомневался — так оно и будет.

5

Но «взяли» его только через неделю.

За это время успел Труханович попрощаться и с любимой речкой, и с родным лесом, и с осенним солнцем, которое «щедро отдавало свое последнее тепло» пустым уже, но от того не менее притягательным для глаз и для души полям… Самое главное — бумаги его, воспоминания его о будущем были дописаны, в снарядную гильзу вложены, воском залиты и в надежном месте спрятаны. Это было единственное, что мог он послать через годы самому себе — будущему.

Больше ничего не связывало его с этим временем. Ареста он не боялся, не боялся даже смерти — по известной причине; будущий допрос не столько пугал его, сколько ожидался им. Ему казалось, это будет что-то похожее на философскую, интеллектуальную беседу за чашкой чая… Потому что какая вина на нем? Что ему можно «пришить»? Не примитивную же контру! Может, потому и не арестовали до сих пор, что сами не знают, за что? За беспамятство, за безобидные фантазии — так вроде бы даже большевики за такое не расстреливают…

В таких делах как ни гадай — не угадаешь, как ни ожидай — выйдет неожиданно. Приехали за ним днем, в самый разгар работы, когда он один был дома. А может, это Яков, который показывал чекистам дорогу, специально такое время выбрал? Все произошло быстро, буднично, без особенных сборов и слез-проводов. Даже обыска не было. В каморку вошли двое, один стоял в двери, другой окинул взглядом пустые углы, голые стены, поднял матрац, под кровать заглянул… Трухановичу ничего не объясняли, а он не спрашивал ничего. Однако поддевку на плечи набросить догадался.

Подвода стояла у ворот. Собаки лаяли как бешеные, — похоже, единственные существа, которые не только жалели своего хозяина, но и готовы были защищать его от чужаков. Когда подвода тронулась и Труханович оглянулся, показалось ему, что кто-то ходит по двору, может, Наста прибежала с огорода на собачий лай…

Конвоиры были молчуны. Оба сидели, повернувшись спинами к Трухановичу: один правил лошадьми, второй сидел сзади, свесив ноги чуть ли не до земли, и курил. Трухановичу предоставили полную свободу. Он смотрел на сороку, которая трещала и покачивала хвостом на березе. Когда въехали в березовый лес, глаза машинально начали шарить по земле, выискивая среди

желтых листьев грибную шляпку. А когда начались перелески, а потом вдоль дороги — поля, он стал смотреть на пустые загоны и находил, что они, голые, поделены только колючками на межах и склоненными подсолнухами, еще красивее, чем летом, когда все на них цвело и росло.

Город приближался. И чем меньше до него оставалось, тем больше Трухановичу хотелось растянуть дорогу — в прямом смысле, как резинку, чтобы дольше было ехать. Показались первые мозырьские дома — украинские мазанки, белые в зеленой вишневой и абрикосовой тени. В своем будущем далеком детстве он еще застанет их…

Вечер наступал с каждой минутой. Однако, несмотря на сумерки, и в городе Труханович узнавал кое-что. Знаменитые каналы и холмы, поросшие березами… «Я вам пакідаю на кручах высокіх ракіты, мазырскіх бяроз беластвольных тугі карагод, каб вы, дарагія, на прыпяцкіх хвалях блакітных, ка мне прыплылі і праз нейкую тысячу год!»

Спуск. Подъем. Центральная улица. Припять, которую хоть и не видно отсюда, но она ощущалась благодаря речной свежести. Площадь, еще без статуи с протянутой рукой. Здание, то самое, в одной из комнат которого, на втором этаже, когда-то будут принимать его в комсомол…

Подвода повернула в темный внутренний двор. Остановилась у еле заметной в стене двери. Труханович хотел встать, на него цыкнули, чтобы сидел и не двигался. Затем конвоиры куда-то исчезли, а возле подводы появились другие люди. Тюремщики? Передача из «рук в руки»? Наконец ему приказали слезать.

— Руки за спину. Не оглядываться. Слушать команды.

Один впереди, второй сзади. Начали спускаться в подвал. Труханович прыгал, как воробей. Почему-то представлялось ему, что его тюрьма будет без подвалов, просто какой-нибудь маленький барак, пусть и без окон, темный, но деревянный, с нагретыми за день бревенчатыми стенами. А здесь — стены кирпичные, холод, сырость, плесень… Света нет совсем.

— Налево, — командовал задний. — Опять налево… Стоять! Лицом к стене!

Хлопнула дверь. Потянуло сквозняком и одновременно — той своеобразной вонью, по которой можно было догадаться, что людей тут, как селедок в бочке. Труханович сделал шаг, дверь за ним закрылась. Темнота была полная. Хотя, кажется, в противоположном углу камеры светится прямоугольник окна. По нему ориентируясь, Труханович попытался было пройти туда. Но споткнулся о чье-то тело, как ему показалось, мертвое… Нет, лучше вернуться назад и устраиваться возле двери.

Так и сделал. Хоть и сквознячок снизу, зато легче будет дышать. Поддевку на пол… Ноги обе в рукав… Нос к сквозняку… Однако не успел он устроиться, как опять с грохотом открылась дверь.

— Кто на «хэ»?!

— Заворочались, закашляли, заскрипели, застонали…

— Хамцевич.

— Хомутовский!

— Хальченя, — начали отзываться из разных углов.

— Последний, на выход!

Труханович прижал к животу ноги, чтобы уступить дорогу. По окошку да по приблизительному расстоянию между местами, откуда слышались голоса, можно было определить размеры камеры — не меньше, чем на человек пятьдесят, это если все лежат на полу, вповалку, а если здесь еще и нары, то вдвое больше…

Как началось, так и пошло. Через определенные промежутки времени — шаги в коридоре (вскоре они начали заменять Трухановичу часы), хлопанье

двери — «кто на…!». И с каждым разом, слыша эти шаги за километр, даже, кажется, тогда, когда они еще и не начались, замирает все людьми заполненное помещение… Когда-то вот так же сидели и ждали, пока их бросят на съедение диким животным, первые христиане… Или пророки, оракулы, «колдуны» времен инквизиции перед последним своим костром… Как черно и глухо. Будто опустили на людей огромный квадратный ящик — три стены и потолок, и отрезали им, отсекли все лишнее, ненужное, неважное… Все осталось там, вне ящика, а здесь только две реальности: жизнь и смерть. Жизнь — этот хрупкий маленький стеклянный шарик, с редкими переливами обманчивого блеска, — шарик на наковальне, а над ним смерть — тяжелый, вездесущий, безжалостный железный молот…

— Кто на «тэ»?!

«Я! Я, товарищи, на «тэ», и я готов сотрудничать с вами! Вы только не спешите убивать меня, и я вам все объясню… Я — бесценный гражданин для любого государства. От меня пользы может быть больше, чем от целой армии, больше даже, чем от вас, армии чекистов… Нет, что вы, это совсем не значит, что вы останетесь без работы! Что вы говорите? Да, конечно, — вину свою признаю, готов подписать любой протокол. Виноват в том, что по слабости или по дурости думал отсидеться в каморке, в грибах, не хотел делиться своим даром с государством… Упустив из внимания, что дар этот не столько мой, даже совсем не мой, а — коллективная собственность, государственное оружие; мне же принадлежит только тленная оболочка, только мое искалеченное тело… Так что очень прошу оставить меня в живых, а взамен вы получите самые точные исторические предсказания, которые помогут вам за короткое время завладеть всем миром».

«Хорошо. Иного мы от вас и не ожидали. Никто, само собой, не верит, что вы жили в будущем, и тому подобной ерунде. Как коммунисты-материалисты мы не верим даже в дар как что-то индивидуальное, от рождения данное — это буржуазные химеры, люди будущего все будут гениальными и взаимозаменяемыми… Но пока мы вынуждены считаться с тем, что неравенство существует не только в экономическом, но и в духовном плане. Временно талант как примету исключительности мы признаем и верим в сверхвозможности человеческого мозга, в неоткрытые его резервы. Дар предвидения, предчувствия, интуиции — такой же дар, как и писать музыку, картины или создавать литературные произведения, пока не все это могут. Что касается вас, то, скорее всего, после ранения и контузии разум ваш дал сбой, и вы получили возможность приоткрыть занавес будущего, заглянуть туда… Такие люди нам нужны. Мы зачисляем вас в штат младшим сотрудником. Паек — мука, чай, сахар, как премия — велосипед… Дровами будете обеспечены. Но как только не сбудется хоть одно ваше пророчество…»

— Кто на «гэ»?!

— Галенка…

— Голуб!

— Гершвин…

— Последний — на выход!

Труханович в который раз сжался, пропуская несчастного Гершвина, который пробирался к выходу и громко плакал. Вот что он не учел. Вот на что стоило настраивать себя, вот чего нужно было, в конце концов, бояться: не ареста, не смерти — опускания молота на стеклянный шарик (в его положении, когда знаешь, что смерти нет, что опять родишься, это было бы глупостью), а всего сопутствующего. Периодичности шагов в коридоре, грохота засова, поджимания под себя ног, чтобы уступить кому-то дорогу, и дикого

облегчения, что не тебе ее уступают… Вони, мата, голосов, плача — всего животно-примитивного, средневеково-инквизиторского… Допроса, стука кулаком по столу… И как прочно засел в голове Плейшнер с его ядовитой ампулой в сигарете! Вот только не в сигарету, а в воротник пиджака или гимнастерки зашивать надо такие вещи…

Никто не вызывал его.

И постепенно, с приближением утра, вся его ирония насчет будто бы скорого допроса, которая должна была смениться расправленными плечами и гордым плевком в лицо палачу, на ничто сходила, таяла, исчезала, как и ощущение своей мнимой важности — хотя бы в сравнении с этими вот сокамерниками. Ясно было, что он такой же, как все здесь; никто не собирается его вербовать, что-то ему предлагать… Не он им в лицо, а им было наплевать — и на курицу, и на золотые яйца…

Неизвестно, сколько времени прошло. Как вдруг что-то изменилось в камере. Труханович не сразу понял что. Оказалось, посветлело окошко. Занималась заря. И не успел Труханович разлепить глаза как следует, не успел оглядеться — жуткая картина только-только начинала вырисовываться перед ним, как в коридоре послышались шаги, хлопнула дверь:

— Кто на «тэ»?! — над самым ухом.

— Товкач!

— Тарасевич!

— Труханович! — хрипло, собственный голос не узнавая, проговорил он, отрывая от пола затекшее, непослушное тело.

— Последний — на выход!

— Я? — переспросил он, хотя давно, еще вдалеке шаги услышав, уже знал, кто.

— Головка от …уя! С вещами на выход!

6

— Трухан, на укол! Ты не ел, я надеюсь?

С шести утра начиная, раз за разом звучало это милое предупреждение: только не вздумай есть перед операцией. Ему как раз до этого. Сейчас — сядет, разложится и начнет впихивать в себя сало с хлебом или больничную кашу с вареным синим яйцом.

— Что за укол?

— Чтобы успокоился. Ложись, не бойся…

— Не надо. Ничего я не боюсь. И абсолютно спокоен!

Однако послушался, прилег. Вскоре тело стало легче, поплыл отуманенный наркотиком мозг. Туман, речка, луг… Нелли, Наста… Ну, и что ему так уж особенно жалко будет оставлять в этом мире? Разве ту же речку… Рябину… Дивчину…

Грыбныя туманы,
Мурог каля хаты,
Ды пару з пахмелля
Нясконьчаных вершаў.

В девять тридцать санитарки вкатили в палату кровать-«носилки».

— Сам! — подхватываясь, сказал Трухан. — Ноги у меня еще ходят.

— А обратно? Герой такой.

— Я сказал — сам!

— Ладно, ладно, только успокойся…

— Я спокоен!

Лифт. Стеклянный, длинный-длинный коридор-переход. В белом инее деревья на больничном дворе. Пол под ногами делается то бетонным, то деревянным… В глазах круги плывут. Тебе же предлагали ехать на каталке…

— Руки за спину! Шевели ногами! — Труханович послушно заковылял быстрее. Темная лестница вела вверх, к свету, как в рай. Пять ступенек, шесть…

Перед операционной была большая пустая комната, страшная тем, что совсем без окон. У стены стояла кушетка.

— Раздевайся… Все снимай.

Правильно, зачем добру пропадать?.. Трико, пижама, гимнастерка… Сапоги вот только тяжело снимать одной рукой…

Операционная. Зеленые доктора с белыми повязками на лицах.

— Вот сюда. И не бойтесь…

— Сам! — Он отвел чужую руку, и голый, в чем мать родила, полез на операционный стол. Ну вот и все — «молния… нет — скальпель у виска мелькнул. Передайте потомку: пусть в народе своем через столетие зимы, в Праздник, мое лицо отыщет, и мы — глаза в глаза, счастливые — встретимся с ним!»

Яркий до ненатуральности, светлее софитов, луч сентябрьского солнца полоснул по глазам. Чтобы не словить после такой темноты «зайчика», как от электросварки, Труханович сильно зажмурился, а поверх еще и прикрыл ладонью глаза (самое удивительное, что конвоир разрешил). Затем медленно отнял от глаз руку.

Вместо глухого подвального склепа, где, как он думал, его должны были расстреливать, он оказался на залитом солнцем дворе. Первое, что тюкнуло в мозгу: видимо, по-другому и нельзя попасть в такой склеп, нужно пройти через этот двор — чтобы сделать последний глоток воздуха, поймать последний солнечный луч и навсегда запомнить, и с собой на тот свет забрать, последним взглядом ухватив, вон тот зеленый лоскуток травы у стены.

Прижмурившись, он стоял и ждал дальнейших команд. Или, может, уже пришли? Может, эта стена и есть место назначения?

Сзади на плечо ему легла рука. Думая, что это конвоир собирается подвести его «к стенке», он с отвращением дернулся, освобождаясь:

— Сам!

— Что сам? Жито возил?!

Он резко повернулся. И увидел вместо конвоиров… «брата» своего, Миканора. Небритый, невыспавшийся, помятый, уставший… Но глаза искрились неподдельной радостью.

— Я за тобой… Пойдем домой. Отпускают, — говорил Миканор и оглядывался. Труханович из-за его плеча тоже посмотрел туда. И увидел еще одного своего знакомого, из «консилиума» по госпиталю памятного — Картавого. Он стоял на крылечке у входа в подвал. Это ему принадлежала реплика про жито.

Он медленно спустился с крыльца и подошел к братьям.

— Ну что? — сказал, не здороваясь, строго-насмешливым тоном. — Вернул память? Обжился? Я смотрю, даже слишком. Скажи спасибо брату, если б не он…

Да не очередной ли сон все это? Труханович ничего не понимал. Кроме того, что он не нужен им, они отпускают его — даже без допроса. Неужели и забрали только из-за его поездки на мельницу? Вспомнилась кривая ухмылка учетчика… Этого не могло быть. Неужели два пуда жита были для них важнее, чем та бесценная информация, которую носит он в себе?! Похоже, что так. У них были более важные дела, их ожидали разборки с узниками, которым не ровня Труханович.

— Обоих предупреждаю: в следующий раз, когда излишки будут, чтобы не в Скригалов тарабанили, а в пункты ссыпки сдавали. Давайте отсюда быстрее, пока никто не видит.

— Пойдем, пойдем, — подталкивал застывшего Трухановича Миканор. — Конь там стоит, один, чтоб не отвязался…

И пока со двора выходили и по улице шли, все тараторил без остановки, таким образом — словами — от пережитого избавляясь. Рассказывал, какой поднялся переполох, когда «тебя забрали», и как он, Миканор, сначала не знал, что делать, а потом бросился к Якову Калашонку, и как долго умолял его, пока не сошлись на том, что Яков справит «встречную» бумагу, в которой откажется от доноса на Трухановича, а Миканор сейчас же, на ночь глядя, должен сдать всю до грамма проклятую ту муку… Что он, Миканор, и сделал. А затем сразу сюда, и где мольбой, где грозьбой, где взяткой, где самогонкой, где своим волревкомовским «дакументом», где Яшкиной бумагой — но таки задобрил, слава Богу!

Труханович слушал и думал, что вот сколько событий произошло, люди не спали, переживали за него, Миканор чуть не поседел, — и все это в то время, когда он, скрутившись калачиком на полу, обдумывал высокие материи, проблемы «спасения человечества»!..

Лошадь стояла в переулке, привязанная вожжами к забору. Увидев хозяев, заржала тихонько. Своя, знакомая лошадь… Своя, знакомая телега… На которой ему опять сейчас надо возвращаться к жизни: к людям, к домам, к лесу, полю и речке, к пожням-загонам, зорям-рассветам.

Здесь, около телеги, в безопасном месте Миканор сжал его в объятиях. Потом отвернулся. Хотел закурить, но пальцы не слушались, подрагивали, табак высыпался с бумажки.

— Холодно было ночью…

Так и не скрутив, плюнул, ссыпал остатки табака в кисет, и туда же — квадратик газеты.

— Просыпайся, — легонько толкнул Трухановича. — Давай помогу залезть… Да не спи ты!

И действительно. Нужно было просыпаться. И жить. Только не жизнью «избранного», не носителем какой-то «высокой» тайны в душе, а просто — существовать. Становиться как все.

Не так смерть — предчувствие ее, подготовка к ней, приближение ее пугало, как вот эта, внезапно свалившаяся на голову, жизнь. Столько уже было израсходовано сил, энергии, духовного запаса, что он сейчас просто не знал, где брать дополнительные резервы. Как эту дистанцию осилить?!

И все же был момент, воспоминание о котором согревало. С обеих сторон исписанные, в трубку свернутые и в гильзу «запаянные» листки лежали, надежно спрятанные, и, как та Степанидина бомба, «ожидали своего времени»…

Он понимал, конечно, что пользы от них, как и от той бомбы, немного.

Но это единственное, что у него было.

Перевод с белорусского автора и Алексея Чероты.

1987, 1992, 2003 гг.



МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ

Спиралью близкого родства

* * *

Полями бранными войны
Под небом дымным человек
Шел, будто лесом дровосек —
До сей поры следы видны.

Тоской сердечною полны,
Еще оплакивают свет
Колокола, и тень войны
За нами тянется след в след.

И вдруг подумаешь: земля
Телами павших «обжита»
За сонмы войн, и для меня,
Я знаю, пуля отлита.

* * *

Дичась, согнувшись, в лавку плелся он,
Не открывая хмурого лица.
Его завидя, начинали гон
Мальчишки и кричали: «По-ли-цай!»

За ним бежали, как за дичью, вслед,
Но подходить боялись и вдали
От магазина видели, как дед
Буханки брал и вынимал рубли.

И продавщица молча, как не раз,
Давала сдачу — россыпь медяков.
Он исчезал за дверью, и тотчас
Сменялась тишь на всплески голосов:

— И носит же земля!
— Да, гусь хорош...
В Сибири лихоманка не взяла!
— Вернулся вот, пугает молодежь!
— Еще и хлеба, Сохва, ты дала!

— Глаза-то, что у волка в клетке, злы!
— А дверью-то как лязгнул, лиходей!
— Ему не хлеба — черной бы смолы!
Одно лишь имя только от людей!

Был суд навскидку, и никто вины
Его не мог и не хотел прощать.
Качалась на весах мораль войны,
Той, жертв которой не пересчитать.

Уголок детства

Картинка детства... Кореневка...
Хмызняк болотный, нитка хат...
Сияет солнце, будто девка,
С которой шутки шутит сват.

И он, босой, дитя по сути,
Бьет кнутиком из удальства...
Людей закрученные судьбы —
Спиралью близкого родства.

В работе небо — с каравайчик
Над прелью терпкою болот.
То ворошит укос свой Зайчик,
Василь горячий вытер пот.

Так жизнь идет — бледна, румяна —
В сельце меж разных лет и зим.
Плывет к колодцу павой Ганна,
Чуб крутит перед ней Евхим.

Минует время, и подпасок
Одарит словом белый свет,
Из судеб и полесских красок
Он соберет живой букет.

* * *

Когда в болоте из воды
Аир щетинился усами,
Тогда с утра на все лады
Цвело болото голосами.

И мы, завидуя, глядели,
Как наши мамы, молодея,
Повыше юбки подоткнув,
Ногами белыми блеснув,

Входили в воду дружным цугом!
Потом они вставали кругом
И стебли резали, да так,
Что в этом был и труд и смак,

Веселье, род особой блажи...
— Анюта — ох!
— Алёна — эй!
Как походили на детей
Полесские мадонны наши!

Мы их задор не понимали,
О, мы тогда еще не знали,
Что в мертвенно-голодный год
Лишь сечка мамина спасет,
Что радость женская в аире —
Минуты счастья в страшном мире.

* * *

Неужто я стою средь этих стен
В оставленной и умершей избе,
Где всё уже давно распад и тлен,
И все — живая память о тебе?
Вот след от зеркала — к нему, вскочив
С постели теплой, маленький свой лиф
Ты, сонная, застегивала, и,
Уже проснувшись, пальчики твои
Справлялись с пуговками кофты; чай
Уже вскипел — не обожгись! — глоток,
И ты выпархивала за порог
С портфелем синим в синий месяц май,
Летела птичкой, а я лип к окну,
Пока юбчонка узкая твоя
Не исчезала, снова промелькнув
У Дубаковой груши. Тотчас я
Из дома мчал к воротцам как шальной,
Чтоб первым поздороваться с тобой,
Моя любовь...

Теперь вот, как злодей,
Притих в сырой я комнате твоей.
Все, что глазами жадными тех лет
Здесь в пустоте пытаюсь воскресить,
Из памяти не выселено, нет!
И звук из-за разбитого стекла,
Дыханье заставляя затаить,
Бросает в дрожь: вдруг это ты вошла!

* * *

Оглохший лес. Как страшен ты теперь
Враждебною и темной глубиной!
Уж не лепечешь весело листвой —
Дрожишь, как загнанный стрелками зверь.

Повсюду одичания покров.
И спрятанных дозиметров щелчки
Похрустывают сухо, как сучки.
Тропою взрытой диких кабанов

Иду к грибным нетронутым местам.
Но обхожу их, учащая шаг,
И чую, выбираясь на большак:
Грибы идут за мною по пятам.

Асфальт почти расплавлен — не ступить,
И слышу я всем существом своим:
Грибы бегут за мной, и ртом сухим
Так жалобно, так скорбно просят: «Пи-ить».

* * *

Осень выстудит пожни, и бледный
День проснется на жесткой стерне.
Может, это и будет последний
День, судьбою отпущенный мне.

С журавлиной отлетной трубою,
Иль с березовым клейким листком...
Позовет, словно мама, с собою,
Будет млечным поить молоком.

Как у всех, в той, что Богом дается, —
В самой быстрой из очередей,
В небо вышнее дух соберется
И уйдет сквозь завесы дождей.

Заберет себе смерть что хотела,
Не помилует, как ни моли.
Но получит лишь грешное тело
В саркофаге безмолвном земли.

Будут звезды ночами слезиться
По-над бездной земного ковша.
Где, когда еще могут так слиться
В свет единый слеза и душа?

Адарка

Грудь не надышится весной.
Куда ни глянь — свежо и ярко!
Таясь, тропинкою лесной
Идет с кошелкою Адарка.

Бор полусонный — Шохов Мох —
Пугающе роняет звуки,
И ползают у самых ног,
И вьются кольцами гадюки.

Но вот, склонившись над одной
И замерев, рукою голой
Вдруг со змеиной быстротой
Хватает, не боясь, за горло.

Адарка счастлива! И в жбан
Пустив блестящую поимку,
Идет по сон-траве полян
Искать открытую тропинку.

Село чурается ее.
Бросают в спину ей: — Ведьмарка!
При свечке ночью достает,
Стараясь не шуметь, Адарка

С притихшею змеею жбан,
Снимает с горлышка тряпицу,
И шепчет... Эта ворожба
У женщин — притча во языцех.

Не от ее ли темных слов,
Пропитанных змеиным духом,
В деревне стало больше вдов?
Ее клянут, поверив слухам.

Катясь гурьбою из кино,
Мальчишки, пуганы гадюкой,
Так и стараются в окно
Адарки бросить каменюкой.

Но, не ответив словом злым,
Фанерой щель замаскирует.
Так в хороводе лет и зим
Она отшельницей векует.

И помнят лишь один иль два
Из стариков, и те едва ли,
То, как в войну у края рва
В нее, девчоночку, стреляли.

* * *

И вздыбится море, и страшной волной
По скалам, повитым глухой немотой,
Ударит. И высечет черный гранит
Сноп молний. Стихия не знает границ!
И море, и небо — двух красок сукно —
И гулом и цветом сольются в одно.

Но есть между ними — вглядись! — материк,
И чайки — прислушайся! — сдавленный крик.
Там в грунт монолитный корнями вросло
Отважное дерево бурям назло,
Там борется с жутью стихии шальной,
Трепещет во тьме огонечек живой.

Там люльку тихонько качает рука,
От думы тревожной зарделась щека
У женщины, в слух обратившейся и
Тревоги укачивающей свои.
Качаются с люлькой и хаос и тьма.
Покорно стихает стихия сама.

Перевод с белорусского Юрия Сапожкова.



АНАТОЛИЙ КОЗЛОВ

Примириться с ветром

Повесть

Тишина. Пустота в душе. Никакой карманный китайский фонарик, купленный на рынке в Ждановичах, не способен разогнать темень в глубине моей души. Там беспросветная, тяжелая, глухая ночь, хоть стальным ножом режь — не останется ни бороздки-следа, ни даже царапины…

Да вроде все как обычно. День за днем. Утренний эспрессо в чашке, сигарета зажата в пальцах. Чистота и порядок на кухонном столе. Белая пепельница с логотипом «Fabuš», наполненная окурками-фильтрами… И тишина, безразличие, тоска… Сердце в груди не стучит надрывно. Наоборот, затаилось где-то между ребрами, словно виновато в чем-то. Ждет. Чего? Что же ты, мое хорошее, онемело? Протестуй, толкайся, гони по венам кровь так, чтобы в ушах гул стоял, пульсируй в висках, чтобы глаза застило. Не молчи, мое верное сердце. Не бойся меня, господина, хотя — кто из нас Господин?.. Не волнуйся, мое израненное, истерзанное сердце. Переживем и это. Научились. Никто не заметит неладного. Нашей боли. Темная ночь светлее чужой души… И я вымученно, криво улыбаюсь сам себе, в никуда, в застеколье окна — в неизвестность. А сердце молчит. Не реагирует ни на крепкий кофе, ни на десяток выкуренных сигарет. Оно затаилось-схоронилось, словно напроказивший ребенок от отца. Ребенок, рассыпавший соль, целый пакет, на только вчера постеленный в зале новый ковер. Горка соли на шикарном ковре. Неизбежность наказания. Для ребенка — возможно. Только какое я имею право тебя корить, а? Ты единственный свидетель моих побед и поражений, скорбных и счастливых мгновений, обманов (нас тобой обманывали) и унижений. Ты же меня учило доброте и терпению. Ты. И кажется, кое-чему я научился. Ведь если что-то болит, значит, еще есть чему болеть. У меня все тело заполнено тишиной и пустотой. Я равен безграничной пустыне. Моисеевой пустыне, которую и в сорок лет не преодолеть. Моя пустыня неподвластна времени. Во что или в кого верить? В людей вообще? В конкретного человека? Нет. Я не живу иллюзиями. В себя? Сколько можно! А главное — во имя чего? Остается Всевышний. Но у Него столько хлопот, к Нему обращено столько просьб, молитв, что Ему тяжело рассмотреть среди мириад душ мою пульсирующую точку.

«Познай себя, и ты познаешь Вселенную»… Слышишь, сердечко мое? Ага, возражаешь, что это не так. Молодчина. Отозвалось. Выходи из убежища. Так как же правильно. «Познай Вселенную и познаешь себя. Так учили в школе». Но ведь, мое хорошее, каждому свое. Что же постигли мы с тобой? Ну, отозвалось, так не молчи. Дошли до банального: каждый рождается со своим одиночеством, проживает с ним жизнь, с ним уходит к праотцам, захватив главное жертвоприношение — свое непостижимое одиночество. А как быть с семьей, детьми, любимыми, друзьями, как?..

«Это всего только хищнические, хоть и неумелые, обреченные на провал устремления. Разноцветные воздушные шарики. Всего лишь. Взгляни на себя. На свое прошлое. Где твои семья, дети, любимые, друзья? Где? Видишь,

розовый воздушный шарик лопнул, и ты остался один на один с самим собой. Нет, со мной, своим изверившимся сердцем. Тебя предали? Да, предали. Но ведь это произошло не в первый и не в последний раз? Люди не могут не предавать. Не возражай! Предают родителей, детей, любимых, но прежде всего самих себя. Это простенькая формула выживания. Выживание муравьев. Погоня за счастьем, побег от одиночества. От одиночества вдвоем или в большой толпе. Среди множества людей твое одиночество ощущается наиболее остро и мучительно. Вот так, мой дорогой. И не жди звонка в дверь, не смотри в окно. Там те же и то же. Каждый сам в себе и сам по себе. Прошло время жертвоприношений в честь N. И сам не готов пожертвовать собой (имею в виду знаменитое время) ради нее. Прости, свежие раны растравлять не будем. И все же пожертвуй своим самолюбием, возьми мобильный и позвони первым. Не говори о прощении, понимании, а просто поговори, о чем угодно, но поговори. Вот видишь, от одной мысли об этом твое лицо перекосило, словно после съеденного целиком лимона».

Предательства, измены я никому не прощу, мой уважаемый советчик!

«А ты уверен в измене? Может, стоит хоть немного доверять тем, кто рядом… Доверять! Стоит ли других мерить по себе?»

Зябко, неуютно…

«Успокойся. Не забывай, что я — это ты. У нас общая боль, и радость — общая… Хочешь сбежать от самого себя — беги. Но в завязанном мешке не много места».

Ненавижу, когда мне лгут. Предательство и ложь выжигал бы каленым железом! Простить не могу!

«Крайности никого не красят».

Сбавь ход, сердечко мое. Ведь знаешь, оправдать можно что угодно. Ты лучше покажи, дай понять, где в каждом из нас спрятана частица Божественного, а где находится то, что мы получаем от дьявола. И в каких долях они соотносятся? Ну?!

«За окном начался дождь. Прислушайся к его беседе с подоконником-отливом. Вот неспешная игра капель, а вот непрерывный, отчаянно-призывный стук. Ты слышишь?»

И все же поговорим о соотношении Божественного и дьявольского в человеке. Нет-нет, речь только обо мне. Ты же у меня в груди, мой главный жизненно важный орган. Говори же, открой тайну…

«Не смеши. Ты сам видишь в себе и щедрый Божий дар, и глыбу, взваленную на тебя властителем тьмы. Видишь и чувствуешь. Правда, если сам этого хочешь. Если желаешь ежедневного избавления от вины, вины перед муравьем, гадюкой, братом, сестрой, пассажиром троллейбуса. Промолчать в ответ на оскорбление, улыбнуться обидчику. Слаб человек, и мелочны его устремления. Какой же долгий, бесконечно долгий сегодня день. Не правда ли?»

Сегодняшний день, мое хорошее, не дольше жизни. Когда-нибудь он наступает, этот день. Неожиданно. Когда ты абсолютно (!) счастлив и доволен собой. И ты уже свыкся с беззаботностью, с тихим своим счастьем. Оно кажется могучей скалой, возвышающейся над берегом людского моря. Ты не хочешь звездной славы, всеобщего восхищения, фантастических счетов в банке. Не манят тебя и шикарные виллы на океанических островах. Тебе нужно тихое, *твое* счастье. Всего лишь. И оно у тебя есть — месяц, год, десять лет, но приходит день — и твоя жизнь переворачивается с ног на голову, словно цирковой клоун…

«Не спеши. Послушай стаккато дождя. Божья слеза-водица омоет, очистит, приглушит твою боль. Дарует просветление, душевное равновесие. Не спеши

с выводами. Не будь категоричен. Поспешное слово, мысль могут стать петлей на шее. Чьей угодно. Молчи. Слушай стаккато дождя. Вечное и бесхитростное. Слушай. Оно о многом может рассказать тем, кто умеет и хочет слушать. В этой мелодии ответ на твой вопрос о Божественном и дьявольском в человеке. В тебе. Мелодия дождя рождается из семи нот. Погружайся в себя и слушай…»

Со слухом у меня проблемы. Не говори загадками. Ибо все гениальное — просто.

«Если бы так. Не переполняла бы тебя глухая тишина. Боль не взрывала бы тебе жилы. Предательство не разъедало бы твое нутро, словно серная кислота. Даже запах его ощущаю».

Справедливо подмечено. Мы (и я в том числе) хотим всего и сразу. Вечной верности. Лебединой… Туфта. Доказано, что и лебеди меняют партнеров.

«Вот-вот, хоть что-то позитивное мелькнуло в твоей затюканной голове. А почему бы и нет? Жизнь — это одновременно и трагедия, и комедия. Не все можно объяснить даже тогда, когда обладаешь опытом. Немалым опытом, хотя мы все беспомощны перед многочисленными вопросами. Глупость берет верх над разумом. Трагедия превращается в комедию, в фарс, и наоборот. Зависит от того, кто смотрит на сцену.

Ты погляди: его предали, ему изменили, так и цивилизации конец! Соль смешалась с сахаром, лимфа — с желчью. Да ведь ничего не изменилось! Взгляни с балкона: народ живет, действует по плану; люди смеются и плачут, любят и расстаются, чтобы снова сойтись. Знаешь ведь, конец — начало нового. Испокон веку так было, есть и будет. Утри сопли и улыбнись. Выше голову. Расправь широкие плечи и с песней, с огнем в глазах бросайся в мир, хватай жизнь обеими руками. Становись хозяином положения! Слышишь?»

Ого, разговорилось, затрепетало сердечко мое. Неужто в тебе болью не отдается то, что я раздавлен, уничтожен? Ты же у меня чуткое и чувствительное. Нет, ты каменное. Бог мой! У меня в груди каменное сердце.

«Чудак! Бог всегда был нерационален. Поэтому не заслоняйся от жизни его огромным и всеобъемлющим именем. Бери реванш. Ты можешь. Должен!»

Никому я ничего не должен.

«Ага, еще немного, и ты на правильном пути, устланном розами без шипов. В жизни все уравновешено, извини за тривиальную истину. Что-то или кого-то потерял — не голоси, а нашел или встретил — не пускайся в пляс сломя голову. А вообще, любовь анархична по природе своей, страсть же всегда умирает. Кстати, не твой ли это конкретный случай…»

Негоже бить лежачего. Зачем ногтем ковырять свежую рану. Все равно что в тебе же ковыряться, дорогое мое, горячее. Говорят, поруганная любовь разбивает сердце. А ты лезешь на рожон. Хоть бы немножко сочувствия. Но ты же у меня каменное, рациональное и… пугливое.

«Все неправда. Сплошная ложь, наговор. Я тебе скажу очередную банальность. Неважно, понравится тебе это или нет. Любовь, как ни крути, не помещается в прокрустово ложе брака. Бр-р, какое гадкое слово. Напоминает земляную жабу с пупырышками-бородавками по всему туловищу. Почему не соглашался на свадьбу после …надцати лет совместной жизни, а? Вот и был бы счастлив в браке. Знаешь поэта Томаса Элиота? Он когда-то сказал, что жизнь — рождение, спаривание и смерть. Три в одном. Жил бы ты со Своей Хавроньей (не гримасничай — другого имени она не заслужила) в любви и согласии. Тайком изменяли бы друг другу. Приглашали бы к себе в гости такие же респектабельные и дружные пары. Пили бы винишко, забивали бы легкий косячок за компанию и лезли из кожи вон, демонстрируя гостям, как сильно вы любите друг друга. Не райская ли жизнь, мой дорогой страдалец?

А глазки бы бегали, бегали бы по сторонам, выискивая самую очаровательную, самую сексуальную, а главное — новую жертву для утех. И пряталась бы греховная страсть за невинные и искренние улыбки. Почти каждые выходные начинались бы с выпивок «разгрузки» ради, после это переросло бы в алкоголизм и похмелье одновременно. Твое или ее — неважно. И не стояли бы уже в керамической вазочке полевые цветы. Письменный стол щетинился бы бутылками из-под водки и коньяка, а пол был бы заставлен жестяными банками из-под пива и джина. И самое чудовищное, что твое и ее падение прикрывалось бы **Любовью**…»

Не стоит так мрачно, вещун ты мой. Слишком сгущаешь краски, добавь светлых, солнечных оттенков.

«Солнце было бы. Между отходняками, когда белый свет не мил, когда жить не хочется, а рука невольно тянется к недопитым бутылкам. А я бы колотилось в ребрах, вырывалось бы наружу, замирало бы и снова лезло в твое горло. Просило бы сто граммов. Требовало бы, скулило…»

Картинка из фильма ужасов. Почему же ты меня так недооцениваешь?

«Думаешь, это все? И не надейся. В пьяной одури вы бы начали меняться партнерами. Появились бы новые друзья, любители «клубнички». И странно, ни о какой измене даже мысли не было бы ни у тебя, ни у твоей Хавроньи. Было бы все прилично, все по правилам, так сказать, законно. Вот видишь, измена и ложь имеют не один, не два и даже не десять оттенков. У каждого эти понятия свои. Частные».

Ты меня разозлить хочешь. Почему перспектива видится тебе именно такой? Неужто я не способен на большее? У меня сильный характер. Я делаю только то, что хочу и считаю нужным. Разве не так?

«Так-то оно так. Но, поверь, знаю я твою Хавронью. Я столько раз слушало ее сердце. И в минуты вашей любви, и во время объятий на кухне, а внимательнее всего тогда, когда приходили ваши друзья. Как же хищно, похотливо трепетало сердце у Хавроньи, когда высматривала она подходящего бычка…»

Ты хоть что-то хорошее видело в ней?

«Ясное дело: бедра, икры да причинное место. А еще — б…во в глазах, в обоях. Столько лет прожил со шлюхой бок о бок, чего теперь рыдать-то!?»

Так почему же ты столько лет молчало, мое прозорливое каменное сердце?

«А ты ко мне прислушивался? Вот то-то, разумом твоим управлял «детородный орган». Помнишь, еще похвалился дружкам в застолье, что не знаешь, с какой стороны у тебя сердце. Мол, у всех слева, а у тебя, возможно, справа. Или еще оригинальнее: при рождении забыли вложить в тело. Помнишь?»

Было. Чего душой кривить. Только ведь я ее любил, люблю… оттого и тяжело.

«Целый день сегодня говорю тебе одни банальности. Время — лечит. Клин клином вышибают. Не сиди крюком, не стенай над разбитым горшочком своего призрачного счастья, а действуй…»

Нет желания куда-то идти, говорить с кем бы то ни было. Хочется одиночества.

«Странно, ты и так один. Не считая птицы счастья — магнита на дверце холодильника. Видишь, для счастья необходима крепкая опора (холодильник) и основа (магнит). У тебя же не было ни первого, ни второго. Кстати, ты сегодня еще и крошки хлеба не проглотил, вчера тоже не ел. Седьмую чашку кофе допиваешь, четвертую пачку сигарет выкуриваешь. Не мало ли?»

Не ерничай, сердечко.

«Выпей абсента или кирша. Граммов тридцать-пятьдесят, и в глазах посветлеет. Я знаю. Почувствуешь аромат полевых цветов, окунешься в раз-

долье лугового разнотравья. Поставь легкую музыку, включи компьютер. Там есть интересные сайты, то, что тебе сейчас нужно. Начни со «Знакомств», можешь просмотреть и «Разбитые сердца», «Счастливые пары». Надеюсь, во всемирной паутине выловишь очередную мышку для забавы, поплачешься таким же, как сам, или за других порадуешься. Не разучился еще радоваться? Делай то, что ты хочешь. Вот что сейчас главное…»

* * *

Делать что хочется… А чего мне хочется? Небольшая квартирка без Нее кажется такой немой и огромной, что углов не видно. Стены раздвинулись, и вот я парю, словно в вакууме. Все на своих привычных местах. Вещи сами выбирают себе места. И когда сдвигаешь с места вазочку, перемещаешь на другую точку стола, она начинает плакать. Вы слышали, как плачет ваза или гипсовая статуэтка? Конечно, слышали, но не придавали этому значения. Не обращали внимания… Наши вещи не плачут. Пока. Они затаились, притихли, выжидают. Что же будет? Каков финал, развязка? Наши вещи помнят тепло ее рук, заботливые прикосновения. Во всем, куда ни взгляни, на чем ни останови взгляд, присутствует Она… сучка-предательница!

Ожил компьютер. Прикосновение пальцев к мышке. Выход в Интернет. И вот перед тобой на столе сытым котом разлегся весь мир. Хочешь, атакуй Америку или Германию, Японию, Нидерланды, Китай… Ты соединен с миллиардами людей. Виртуаль, мой дорогой. Главное, чтобы знал, чего или кого хочешь. Я хочу забыться. Переключиться с Нее на что угодно или на кого угодно. А моя тахта пуста. Полагаю, пока пуста. Просто мы боимся самих себя, своих поступков, желаний. Сегодня мне нечего бояться. Пусть боится Она. Клин — клином… Каждый хочет счастья. Минутного. На один раз… А счастье ли это? Дурь. Так, выбираю сайт «Знакомства». Создаю свою анкету.

Имя:

«Максим».

Возраст:

«35».

Кого ищете?

«Женщину от 25 до 40 лет».

Расскажите о себе:

«Мужчина в расцвете сил. Одинокий. По жизни — романтик, но не лишен реального восприятия жизни. Люблю дождливую погоду и середину осени. По вечерам выгуливаю ворон в своем микрорайоне. Болит сердце, когда вижу нищенствующих старушек и выброшенных хозяевами собак. Имею квартиру. Был женат. Детей нет…»

Что-то я слишком расписался.

Цель знакомства.

Ого, какой список. И придумывать ничего не придется. Щелкнул мышкой в нужной графе, и готово. Так, отмечаем:

«Дружба, любовь, отношения». Переписку пробрасываем. Пустая трата времени, можно поговорить и по телефону.

Что там у нас дальше? *«Регулярный секс вдвоем, секс на один-два раза без обязательств; групповой секс».*

Буду хитрее, отмечу *«регулярный секс вдвоем».*

А там посмотрим.

Типаж:

«Рост 183».

«Вес 79».

Напоминает торговлю молодыми бычками на мясокомбинате. Живой товар. А вот и строка «**Телосложение**»:

«*Полное, спортивное, худощавое*».

«Худощавое».

Животика пока не нагулял. Подбородок на грудь не свисает. Худощавый, но не худой как палка.

Волосы на голове:

Мышкой щелкну по *«темным»*. Она любила проводить пальцами по моим густым волосам. Говорила, что моей шевелюре должны завидовать все мужчины, особенно лысеющие. Может, и завидовали, я не спрашивал.

Интересы:

Фу ты, ну ты! Сколько их здесь. Что выберем? *«Побуду в одиночестве»*. А с кем я сейчас? Конечно, один. Пусто мне, тоскливо, и все же… уютно одному. Пока. Останавливаемся на *одиночестве*. *«Останусь читать дома»*. Подходит. *«Пойду прогуляюсь»*. А почему бы и нет? *«Посижу в Интернете»*. Нет, не для моего возраста. Пусть сидят 18—20-летние, а я человек серьезный. Надо полагать. Пропускаем. Следующее: *«Пойду в ресторан»*. Можно. Ставим птичку. Пожалуй, достаточно.

Мои увлечения:

«Кулинария, мода, стиль» — пролетают фанерой. *«Путешествия»*. Класс. Вот это по мне. Выбрали. *«Психология»*. Подходит. *«Литература, кино»* — пусть будет.

Ориентация:

Без вариантов *«гетеро»*.

Отношение к курению, алкоголю, наркотикам:

«Курю», «Изредка выпиваю в компании», «Категорически против наркотиков».

Как часто хотел бы заниматься сексом:

«Несколько раз в день». Ага, прошли времена гиперсексуальности с ночными поллюциями.

«Каждый день».

Это мне еще по силам.

«Несколько раз в неделю».

Вот то, что надо, если говорить о, так сказать, голом сексе, физиологии. А душа, чувства? Кому они нужны? Так я думаю сейчас. После ее измены. Сучка! На минуту забудешь о ней, так она нахрапом лезет в мозг, вихрем врывается. Проклятая женщина. Лахудра. Нет, так нельзя. Дыши глубже. Что там дальше?

Размер члена:

Господи, помилуй! Чем не ярмарка живого товара?! Никаких секретов. Пиши правду или наври с три короба. В данном случае мы скромно промолчим. Должна же хоть в чем-то оставаться интрига, загадка. А то возьми и все выложи. Оставлю вопрос без ответа. Пусть фантазия работает. У женщин она причудливая, фонтанирующая. Оставлю потенциальным подружкам пространство для воображения…

Добавить фотографию. Последняя графа. И старт в мир знакомств. Путь к душевному и физическому выздоровлению.

На диске хранятся десятка два фото. Сейчас сброшу в комп, а может, стоит поискать среди тех, что уже есть? Кажется, была пара стоящих. Или, как говорила одна моя девочка, «ничего, броских».

Ищем среди закачанных фотографий. Да хоть бы вот эта, сделана у Эйфелевой башни. Правда, давнишняя и претенциозная, но пусть будет. Мол, и мы парижи видывали, и по монмартрам таскались, и в Сену плевали. А сейчас,

для равновесия, добавлю фотку с деревенским антуражем: я у маминого коттеджа под зрелыми, словно кровью налитыми гроздьями калины. Достаточно двух фотографий?.. Пожалуй, и третья не помешает. Наживка, образно говоря. Пляжное фото. Из Египта. Здесь я уже изрядно загорелый. На руках просматриваются бицепсы и трицепсы; квадратики и треугольники пресса — на животе. И соответствующим образом натянутые плавки. Чем не соблазнитель? Ага, соблазнишь сороковок. Может, довольных жизнью и сексуально голодных. Опомнись, парень. Еще немного — и сбрендишь, с катушек слетишь. Разговариваешь с компьютером. А впрочем, почему бы не поговорить с гениальной машиной. Вот-вот, не больше и не меньше — гениальной. Обалдуй. Да не тормози ты, не зацикливайся, сейчас не до самокопания. В тебе же из уголька разгорелось пламя мести. Мести за измену! Почувствуй сладкий вкус Ее Величества Мести. Нет, не безоглядной и бездумной, а выверенной, взвешенной. Да остановись, какая взвешенность? Броситься в глубокий омут знакомств и удовольствий с головой. Потешить свое самолюбие по полной программе.

Влюбленные овечки, чужие ошибки (сознательные или вызванные из-за временного помутнения сознания) — не имеет значения… Она меня предала, как только подвернулся удобный случай, изменила, и не однажды… Так думаю, знаю, верю… Так получай, я действую. Эй, вы, грустные овечки, я к вашим услугам, пользуйтесь!

Последний щелчок мышкой по слову «**Регистрация**» — и полетела моя виртуальная личность, моя рукотворная жизнь в тысячи квартир стольного града Минска, в страну Беларусь, по близкому и дальнему зарубежью. К одиноким студенткам, грезящим о принцах, к домохозяйкам, бизнес-леди, к библиотечным тихоням, мечтающим о холеном мужчине за рулем авто, а они (она) на пешеходном переходе. Мужчина задумался, бампер автомобиля легонько задел ее юбку. Она пошатнулась, мужчина выскочил… и прорвало Везувий. Словно цунами, любовь поглотила их (обоих).

А почему я не могу быть тем мужчиной? Пусть даже без пешеходного перехода…

Так, я и к вашим услугам, замужние дамы. Пусть ваши домашние раскормленные мужья-коты ездят в командировки или на дачи, в деревню к родителям или к теще. Я к вашим услугам! Осуществите свои тайные мечты, которые вы прячете глубоко в душе не один год, а может, и не одно десятилетие. Представился случай. Воспользуемся. Так сделала моя Единственная. Вы же не лучше ее? Как мне кажется… Если обидел кого-нибудь, не обессудьте. Всякое в жизни бывает. Возможно, существуют еще на этой земле патологически верные жены. Но это уже диагноз. Им — в другую дверь. Я понял: верность в наше время — патология. Или я перегибаю палку? Возможно, это обида во мне кричит? Скулит, словно побитый щенок, моя верность ей. Единственной. Прежняя верность! Та, невозвратная верность, которая владела мной безраздельно. Потому что был однолюбом. А был ли? Им и остался. Дудки. А как себя переделать? Постепенно, шаг за шагом. Почин сделан…

«Регистрация прошла успешно», — сообщил модератор. Благодарю, любезный.

Взглянем на анкеты дамочек, которые ищут счастья в Сети. Невероятно. Всего на сайте зарегистрировано… -надцать миллионов. Сколько же вас, красивых, ухоженных, успешных и… одиноких. И каждая надеется найти свое, только свое счастье. Ау-у, где ты, наше, мое, ее Счастье (имеется в виду любовь). Но почему сразу любовь? Вот анкета Катюши. Возраст — 29, Беларусь, Минск. Ищет парня 21—40 лет или пару М+Ж для нечастых встреч на их территории. Всего-то?.. С фотографии смотрит миловидная молодая

женщина. Глаза пустые. Может, фото неудачное? Русоволосая. Как и моя Единственная. Нет, мне сейчас по душе брюнетки. Жгучие. Ты, Катюша, пролетаешь. Да и я в данный момент не часть М+Ж, а всего лишь М…

Ага, что-то есть. Рядом со строкой «Мои сообщения» пульсирует желтый конвертик. И сразу же единица сменяется четверкой.

Не успел оглянуться, как получил четыре виртуальных письма. Просмотрю послания не спеша, по очереди. Первая — Natali, 24 года.

— Привет. Я — Наталья. Давайте знакомиться. Вы не против?

Чудачка. Я же ради этого и зарегистрировался на сайте. Жаль, фото у девушки одно, паспортного формата. Кроме кукольного личика — ничегошеньки. Зато в ее анкете указаны все параметры: рост — 172, вес — 60. Грудь — среднего размера. Цель встречи — на один-два раза. А это значит — без проектирования воздушных замков, бессмысленных, пустых встреч в кафе, разговоров Ни О Чем. Без умильно-похотливых взглядов. Без пауз, которых требует неизвестно кем придуманный этикет отношений между мужчиной и женщиной. Не надо цеплять маску доверия, искренности, чистоты намерений. В данном случае каждый знает, чего хочет от клиента. Клиент… Отличное слово. Хватит, по горло сыт вздохами-охами с моей Единственной. Мерзость… Как она могла?..

«Ну-ну, снова понесло тебя в дебри воспоминаний. Все просто: нашла лучшего самца. Успокойся, сосчитай до десяти. Вот так: один, два, три четыре… девять, десять. Чувствуешь, легче стало, страдалец ты мой. И не жалей сам себя. Никогда. Помни: жалеть себя — удел слабаков и неудачников. А ты сильный мужчина! Все при тебе: от макушки до кончиков пальцев на ногах. Ты самодостаточен! Не забывай об этой, так сказать, «мелочи». Энто, паренек, основа, стержень человека».

Все, все, не спорю и с тобой, мой рациональный мозг. Всегда здравый, бескомпромиссный и… дубовый. Когда же ты начнешь ладить с сердцем? Когда?

(Человек разговаривает сам с собой из-за внезапного одиночества, растерянности, неизвестности…)

Однако, Natali ждет.

— Привет. Рад знакомству. Я, как и указано на моей страничке, Максим.

Отсылаю. Пошло.

Вот так, Единственная моя, я лелею свою Обиду, взращиваю, балую. Естественные, от природы свойственные мне достоинство и верность — отброшены. И мир не перевернулся, солнце не померкло. Все вокруг обычное — как каждый день. Хотя чувствую на своем лбу кровавую метку, тавро… Есть еще время остановиться, выйти из Интернета и продолжить стенать по поводу измены. Нет, фигушки. Если ступил на широкую дорогу, обратной дороги нет. К самому себе… Пусть и к самому себе. Ибо я, сегодняшний, не тот, кем был вчера. Хочу почувствовать себя циником, хотя всю жизнь всем своим нутром их ненавидел. Стерпится — слюбится. Так когда-то говорили, так оно и есть… Я гордился тобой, моя Единственная, Светлая, Родная, Искренняя, Сердечная… Бывшая! Ты, Единственная моя, мутировала. Стала для меня мутантом… Катись, горошинка, по наклонной. Рано или поздно попадешь кому-нибудь под подошву, которая тебя и раздавит. Но я этого не увижу, да и не хочу видеть. Потому что ненавижу кровь вне тела… Как хотел бы я всего, что знаю, — не знать. Никогда… Только ведь придется говорить правду самому себе, о себе, о Ней, моей Единственной. Говорить Честно… только до чего же это больно! Прежде никогда не думал, что чья-то судьба, жизнь так тесно, плотно срастается с твоей. Образуется одна кровеносная система, как у сиамских близнецов. А мозг выталкивает все на поверхность,

на обозрение. Возможно, это и есть своеобразная самооборона. Что-то сдвигается в голове. И та, что была частью сдвоенного живого сосуда-спарыша, отрывается от твоей плоти. Рана истекает кровью (не переношу крови!), ты бледный, обессиленный, чуть живой. В чем только душа держится? Одному Богу известно. А перед внутренним взором мелькают картинки: вот чужой усатый рот ласкает, целует то, что всегда (а всегда ли?) принадлежало тебе. Чьи-то руки перебирают волосы на голове Единственной, чужие пальцы пробегают по груди, бедрам, влажные от пота ладони оглаживают ее колени… Бежать, бежать от самого себя, от позорного киносеанса в голове. Кто и зачем снял все это на цифровую камеру? Не жить эмоциями? А как жить, подскажите, умницы-всезнайки? По-свински? Не любовью, а только случкой? Что ж, к этому я и иду. Не моя вина, что Вера, Надежда, Любовь утратили свое первоначальное значение. Превратились в пустой звук. Стали даже не звуком, а иллюзией, призраками… «Истина всегда рядом», — пророческие слова. Просто, все просто. Никогда никого не люби — и проживешь спокойно, в гармонии с собой и миром. Пусть будет больно другим, а не тебе. Чужая рана не болит. *(На наших черных флагах, реющих над хатами и многоэтажками, деревнями и городами, красной краской выведено: Душа никому не нужна. Сегодня время хищников, предателей и подонков. Прячьтесь, честные! А если вас донимает, грызет она (совесть), то выбейте ей зубы, и пусть она (совесть) вас нежно обсасывает. Просто и доходчиво…)*

Не спи! Следующая?

Юленька, 26 лет.

— Привет. Познакомимся? Люблю отвязный секс…

Согласно анкете — замужем. Отлично. Есть кому рога наставлять. Не одному же мне ходить, как северному оленю, цепляясь за провода для троллейбусов, расчесывая тучи на небе. О, еще выскочила строка: «Мне очень одиноко…»

Ей одиноко. Что ты знаешь об одиночестве, белка с облезлым хвостом? Чтобы не чувствовать себя одинокой, надо научиться любить. Я любил…

— Так как? Знакомимся? Не люблю виртуалить… — новый текст от Юленьки.

И я не люблю. Пишу примитивно доходчиво. Потому что чувствую, как горят у тебя, Юленька, коленки, как похотливое желание заполняет теплом низ живота.

— Буду рад знакомству. Я — Максим. Свободен. Место для встречи есть? — текст поглотили недра компьютера, даже модем запищал удивленно. Хотя, с чего бы ему удивляться. Я же теперь другой. Могу оказывать эскорт-услуги, придет время — займусь интимом за деньги. Бр-р-р! Нет, до такого ты не докатишься. Всегда есть грань, переступив которую, человек безвозвратно себя теряет…

Так, новое сообщение:

— Место для встречи есть. Можем встретиться сегодня?

Отвечаю:

— Давай. Ты на какой улице живешь?

Через мгновение на мониторе Юленькин ответ:

— На Козлобродской. А ты?

— На Рукомойной. Оставь номер своего телефона, позвоню, договоримся о встрече.

— 876-66-66. Звони, жду.

Пальцы пробегают по кнопкам мобильного. Виртуозно, словно у пианиста мирового уровня. Первый, второй гудок — и нежно-усталый голос:

— Алло. Слушаю.

— Привет. Это Максим. Мы только что переписывались в нете. Как настроение, встречаться не передумала?

Говорю, как мне кажется, уверенно-игриво. Не нагло-настойчиво, а доверительно, вкрадчиво. Может, это только мне так кажется?

— Нет, не передумала, — Юленька хихикнула о чем-то своем, женском. — От твоей улицы до моей можно доехать на маршрутке. Если не ошибаюсь — 35-й маршрут.

— Ты хорошо знаешь мой район?

— Тетка там живет. Иногда бываю на Рукомойной.

— Возможно, и мимо моего дома проходила?

— Какой номер?

— 152.

— Ха, тетка живет напротив, в 154-м. Вот тебе и раз.

— Не удивляйся, Минск, как говорил мой знакомый, — большая деревня. Минут через двадцать-тридцать буду. Выезжаю.

— Давай. Жду. Дом номер 12, квартира 74. Код на входной двери соответствует номеру квартиры. Кажется, все сказала. Нет, погоди, выходи на остановке «Школа». Это в полсотне метров от моего дома. Выйдешь из маршрутки — перезвони.

— Договорились.

Вот так, ничего сложного нет в знакомствах через Интернет. Столько прожил, а не знал, что, потратив пятнадцать-двадцать минут, можно легко договориться о значительно большем, чем просто встреча.

«Животным становишься, животным. Тело тебе подавай, а как же душа?»

Не доставай! Думал, хоть ты оставишь меня в покое, мой правильный мозг. А ты все лезешь, как и усталое сердце, куда не просят. Хватит заниматься самоедством. Мы, казалось, во всем разобрались. Расставили акценты, пришли к согласию. Не я начал войну, не мной втоптаны в грязь любовь, верность, уважение и преданность. Так чего вы хотите, чего добиваетесь? В прошлое не вернешься, да я и не хочу. Что сделано — то сделано. Однажды и навсегда. Не помирать же мне теперь, а? И не обвиняйте меня в скотстве. Не я животное, а она, моя Единственная. Бывшая моя Единственная, а ныне — общедоступная.

«Любой человек имеет право на ошибку, не так ли?»

Ого, как заговорили. Спелись и спились сердце с мозгом. Ура! Тогда ответьте, почему я никогда не допускал даже мысли об измене? А поводов и случаев была тьма-тьмущая. Одно мое желание, кивок головой, слово — и готово. Не забывайте: я мужчина, которым управляете не только вы, мой правильно-дубовый мозг и изболевшееся сердце, а еще один известный орган. Только прежде я искушениям не поддавался, умел себя контролировать. Безошибочно делал выбор между дозволенным (верностью) и недозволенным (изменой, распущенностью). Значит, договорились: живем в согласии. В конце концов, я — хозяин своего тела.

«Не забудь просмотреть остальные сообщения», — примирительно подсказал мозг.

Спасибо. Сейчас быстро пролистаю. Аннушка, 24.

— Познакомимся?

— Не против. Я — Максим, — пошло. Вернусь и напишу что-нибудь более интригующее.

Следующее от Виолетты, 32.

— Давай познакомимся. Есть предложение, от которого сложно отказаться.

— Буду рад знакомству. Сейчас тороплюсь, напишу позже.

Так, появились еще два послания. Нет времени, выхожу из Интернета. Отвечу, когда вернусь. Не жизнь, а малина. А я голову пеплом посыпал. Правду говорят — свято место пусто не бывает. Вот так, моя Единственная.

Погас красный глазок на системном блоке. Монитор ослеп, вентилятор захлебнулся. Теперь в душ минут на пять — и на остановку маршрутных такси. Ничего, успею. Главное: сладить с самим собой, а это то же самое, что с яростно-грозовым ветром…

Горячая вода расслабляет. Вспененный на голове шампунь ручейками сбегает по груди, спине, пробирается под прикрытые веки, щекочет кончик носа… Как мало человеку надо для счастья, иногда достаточно минутного наслаждения для тела, предчувствия душевной гармонии. Жаль только, слишком тонкая оболочка у нашего счастья. Она похожа на вот этот мыльный пузырь. Неосторожная капелька попала на него — и вместо разноцветной красоты, мгновение назад радовавшей взгляд, — мыльно-серая жидкость. Ни тебе напиться, ни помыться. Я в межвременье — внутреннем и внешнем. Не знаю, да и не хочу знать, как это состояние понять и объяснить. Хотя бы себе самому. Дни связались, соединились в плотную цепь — без начала и конца. Нет-нет, начало я помню. Да еще как: до звона в ушах, до хруста в суставах, до пелены перед глазами. Это был шок. Переворот в душе. Наверное, смена политических формаций в государствах проходила более спокойно, бескровно. Впрочем, крови не было и у меня. Она шуганула на мгновение к глазам, застила красным полотном зрачки — и отхлынула. Словно испарилась из тела, не оставив и следа. Я чувствовал себя пушинкой в воронке торнадо. Все, на чем прежде стоял, чем жил — мои фундамент и основа за время одного-единственного вздоха и такого же короткого выдоха превратились в пыль — зловонную, омерзительно-удушливую. Только сейчас, стоя под струями горячей воды, понимаю: нельзя безоглядно доверять кому бы то ни было! Как бубонной чумы, надо бояться любви, бежать от нее, отбиваться и ни при каких условиях, ни за какие коврижки не позволять проникнуть ей (проклятой любви) в сердце. А если, Боже упаси, зернышко ее попало в кровообращение и донеслось до предсердия, пустило корешок, то не задумываясь топчи кирзовым сапогом этот росток, выжигай его серной или азотной кислотой. Без сомнений. Ибо в жизни достаточно других радостей и искушений, ради которых стоит утром просыпаться, а вечером удовлетворенно смыкать веки. Уж очень простая и понятная истина вырисовывается: если нет любовницы, или любви, то никто тебя не предаст, не опрокинет твой мир, не разрушит фундамент, на котором строилась, возводилась совместная жизнь. Жизнь на двоих. Все просто, ничего сложного. Держи сердце на замке и сможешь избежать ненужных волнений, невыносимой боли, которая иссушает тело и превращает душу в выжженную пустыню, где даже перекати-полю зацепиться не за что. Я это наконец-то понял. Правда, довольно поздно, но понял. Потому и есть у меня пока силы, чтобы жить дальше.

Насколько же проста жизненная философия. Извечная, но забытая, или, точнее говоря, — не вложенная тебе в голову старшими, родственниками. Впрочем, лгу сам себе, бессовестно лгу. Почему же не помнил слов своей святой, да-да, святой бабушки Акулины. Она еще в детстве твердила мне: *«Не заводи друзей, не будет и врагов»*. Выстраданные целой жизнью слова. Ее, бабушкина, жизненная правда. Правда, которой она поделилась с внуком. Со мной. Мог же я продолжить логическую цепочку. Уже, слава Богу, не сопливый мальчишка, а мужчина, который многое повидал и кое-что понимает. Так почему же не дошел своим умом: *не люби, и никто не плюнет (некому будет) тебе в душу*. Можно и иначе повернуть: живи, как большинство живет, — изменяй

потихоньку, лги, белое называй черным, красное — голубым. Главное, чтобы не догадались ни о чем те, с кем ты сидишь за одним столом, делишь постель. Но ведь так не бывает! Жизнь все расставляет по своим местам. Ложь, предательство, обман рано или поздно вылезают наружу, причем, в самый неподходящий для тебя (нее, него) момент. И уже ничего нельзя сделать, как говорится, нельзя переиграть, ибо шахматная партия окончена, королева повержена, а пешки в ужасе разбежались… Возможно, именно поэтому и не стоит уподобляться большинству. Иди своей дорогой, живи своим умом, не отрекайся от своего бога, даже если он паршивенький, плешивый, со сбившейся бороденкой. Не предавай!.. Легко говорить, а попробуй не споткнуться… Впрочем, не так уж сложно верить в себя и себе. Я так жил. До сегодняшнего дня…

Здорово стоять под струями горячей воды, но, чтобы взбодриться перед важной (как кажется) встречей, включу на полную мощность холодную воду. Чередование горячей и холодной, холодной и горячей воды не только бодрит, но и просветляет мозги. Упоение собственными страданиями пусть вместе с мыльной водой сбегает в канализацию. Там ему самое место. Меня ждет Юленька. Новое тело… Вероятно, есть в этом что-то интригующее, загадочное, напоминающее надкусывание плода случайно найденной в лесу дикой груши.

Прикидываешь-гадаешь: сладкой мякотью наполнится рот или сведет челюсти от горьковатой кислятины? А пока Юленька — загадка, ребус…

Махровое полотенце вобрало в себя воду с кожи до последней капельки. Теперь надеть синюю полосатую рубашку, запрыгнуть в джинсы, на ноги натянуть легкие белые туфли в заклепках, пробежаться расческой по волосам, немного туалетной воды и — готов. Щелчок дверного замка, вызов лифта. Он — какая удача — на моем этаже. Не теряю ни минуты. Улица встречает прогретым воздухом, разросшиеся вдоль дома клены прячут меня в тени своей листвы. Бодрым шагом приближаюсь к остановке маршрутных такси. Людно, но не слишком. Человек десять, но и маршрутов здесь не меньше. Две машины отъехали. Не мои. Из-за поворота появляется 35-й номер. Салон полупустой. Успею добраться вовремя. Пообещал быть через тридцать-сорок минут, придется держать слово. Первая встреча — определяющая. Никаких опозданий. Хотя на Юленькиной интернет-страничке и помечено: «свидания на один-два раза». А мне, в принципе, больше и не надо. От подобных рассуждений несет цинизмом. Но ведь в запасе всегда имеется оправдание: не я плохой — жизнь такая. Все на жизнь списываем, сами же остаемся в стороне. Словно не мы эту жизнь таковой сделали…

Маршрутка выскочила на одну из центральных улиц и сразу же попала в пробку. Безнадежную. Длинная цепь машин, насколько можно взглядом охватить, намертво прикипела к асфальтовой глади дороги. В обоих направлениях. Еще каких-нибудь пять-семь лет назад такую картину с трудом можно было представить, а тем более увидеть в Минске. Богатеем! Наши города заполонили бэушные автомобили из Западной Европы. Скажем ей и за это спасибо. Теперь у нас свое авто имеют и жук и жаба. Вот только я привык к общественному транспорту, а еще любимое занятие — ходить пешком. Повсюду. Никакой четырехколесный зверь меня не увлекает, не заставляет замереть, затаив дыхание. Ну, не люблю я железо, хотя отец и работал шофером. Я искренне равнодушен к любой марке машин. Удивляюсь другому: когда друг, знакомый, коллега самозабвенно хвалится приобретенным авто, а в его голосе звучит такая гордость, которая и не снилась английской королеве. Вот в такие минуты я просто теряюсь. Не знаю, что сказать. Молчать неловко, а хвалить, ахать-охать — совесть не позволяет. Поэтому отводишь глаза, бормочешь под нос что-то невнятное.

Ага, ушлый водитель. Дождавшись удобного момента, наше маршрутное такси, нарушая все возможные и невозможные правила дорожного движения, юркнуло на тротуар и, проехав сотню метров мимо равнодушных прохожих, свернуло на полупустую боковую улочку. Пробка осталась за спиной. Даже и не заметил, как машина притормозила на нужной остановке, рядом с цветочными лотками.

Так, — мелькнула мысль, — а как же идти к Юленьке с пустыми руками. Может, букетик купить? Нет, не то… я же фактически иду не на свидание с любимой, а на обычное, банальное совокупление-спаривание. Перепихон, говоря языком молодых людей, у которых только-только стали пробиваться усики над верхней губой. Цветы отпадают. Уместной будет обычная бутылка вина, а может, бутилированное пиво. Любимый напиток подрастающего поколения. Значит: бутылка красного вина (потому что и сам его люблю), и пара бутылочек, нет, лучше банок, немецкого пивка, с горчинкой. Вот это набор для знакомства по Интернету. Ага, неподалеку супермаркет. Их теперь в городе хватает. Некоторые гастрономы достроили, и все необходимое имеем в одном месте: от носков и туалетной бумаги до колбасы и живой рыбы. Прошелся по залу, задержался на полминуты у кассы — и пакет с покупками в руках.

Присев на скамейку в скверике у памятника герою последней войны, набрал номер Юленькиного мобильного. Почти сразу услышал голос девушки.

— Приветствую еще раз. Это я, Максим.

— Привет. Ты уже добрался?

— Да. Нахожусь на твоей остановке.

— Заходи. За супермаркетом третий дом. Рядом с высокими липами. Номер квартиры помнишь?

— Да.

— Жду.

Вдруг почувствовал непонятный мандраж. Не то чтобы волнение, а какую-то внутреннюю дрожь, похожую на ту, которую чувствуешь, продрогнув поздней осенью.

Стоило раньше начать знакомиться подобным образом, — это я сам себе, чтобы успокоиться, — а то привязался после двадцати пяти к одной юбке, и все. Однолюб ударенный. Смелее. Никакого заднего хода. Сам же себя убеждал, что все когда-то бывает в первый раз. Поднимай задницу со скамейки и двигай прямиком на встречу с легкой любовью. Не будь тюфяком! Отведай сладкого вкуса Мести. Заполни душевную пустоту новыми ощущениями… Словом, не бойся. А чего или кого мне бояться? Если только самого себя… Мне, вероятно, не хочется уподобляться ей, Единственной. Не жуй сопли…

Вот и дом, лифт, квартира. Палец на клавише дверного звонка. Нажимаю один раз, другой. Коротко, отрывисто. Там, в глубине квартиры не слышно ни звука. Но спустя секунду щелкает замок и на пороге появляется привлекательная, среднего роста девушка. Прямые волосы до плеч, в голубых глазах прячется еле уловимая улыбка, сквозь шелковый халатик проступают кулачки грудей.

— Максим? — улыбка обнажает ровнехонькие белые зубки.

— Да. А вы Юленька? — по-еврейски вопросом на вопрос.

— Ага. Проходи…те.

Оказываюсь в довольно темном тамбуре на две квартиры. Вхожу вслед за Юленькой в приоткрытую дверь слева. Прихожая просторная и свободная.

— Раздевайтесь, — девушка щелкнула выключателем.

— Как, сразу и совсем? — пытаюсь плоско пошутить.

— Можно и совсем. Зачем время тянуть. Делай, как тебе удобно, — подчеркнуто вежливо проговорила девушка, необратимо отбрасывая в прошлое

(совсем недавнее) «выканье». — Что будешь пить? Могу приготовить кофе, есть водка.

— Я принес неплохое вино… и пиво, — приподнимаю руку с пакетом.

— Значит, полный набор, — Юленька игриво встряхнула головой, блестящие волосы всколыхнулись волной и накрыли тоненькую правую бровь. — Идем за стол.

Чистая уютная комната. На полу однотонный ворсистый ковер, два кресла у журнального столика, небольшой диван. У противоположной стены горка со встроенными телевизором, музыкальным центром, видеосистемой и DVD (зачем и то, и другое?).

На столике — легкие закуски; из глубины колонок льется ненавязчивая инструментальная музыка.

— Чувствуй себя как дома. Чтобы расслабиться, давай вина пригубим. Штопор вмонтирован в вилку. Лежит возле тарелки с сыром, — говорит хозяйка, сбрасывая с плеч халатик.

Я в кресле в одних плавках. Юленька присаживается рядом, ее гладкая, бархатная на ощупь рука дотрагивается до моего живота. По всему моему телу пробегает электрический разряд дрожи.

— За встречу, — едва уловимое столкновение бокалов. Неровное дыхание Юленьки над моим ухом. Ее волосы щекочут мне шею. Чувствую, что я уже в форме. Готов к бою. Молодая женщина видит это и шепчет:

— Не спеши, — наши губы сливаются в поцелуе.

Юленька, не отрывая губ, оседлала мои колени. Наконец откинула голову, руками держится за мои плечи.

— Вот, самое главное сделано, — хитро подмигивает, — я стеснительная только до первого поцелуя, а после не остановишь…

Вышел я от Юленьки в сумерках. В каждой клеточке тела — сладко-легкая усталость; слабость в коленях. Такое ощущение, словно разгрузил вагон или преодолел марафонскую финишную черту. Нет, сравнения бездарные. Просто был отличный секс. Не рабоче-крестьянский, а со своеобразной изюминкой. Безоглядный, как перед концом света или в последний день жизни. Вот так тебе, моя Единственная! Тем же концом по другому месту.

В душе разрасталась еще не совсем понятная злая радость. Радость от измены, от расставания с верностью. От осознания того, что незнакомые девушки и женщины хотят твоего тепла, внимания, наконец (а возможно, и главное), жаждут твоего тела…

Накрапывал дождь. Капли перешептывались с листьями деревьев, вытянувшихся вдоль тротуара. Зажглись придорожные фонари — и мрак вокруг тротуара сгустился, набряк тяжелой теменью. Еще раньше, в юности, заметил такую странность: если попадаешь в новый район города, на улицы, по которым прежде не ходил, чувствуешь, будто находишься не в том городе, в котором живешь бессчетное количество лет, а оказался в незнакомом месте, заселенном людьми, настолько отличающимися от тех, которые живут в твоем районе и с которыми едва ли не каждый день встречаешься в троллейбусах, автобусах, трамваях, — что теряешься и диковато озираешься, ищешь хоть какие-то ориентиры, привязки к местности… только бы убедить себя: нет, ты не спишь, никуда не уехал, а находишься в своем стольном Минске. И люди не чужаки, а твои родные белорусы с характерными только для них чертами лица, фигурами и поведением.

Шел без зонта, в промокшей рубашке, мимо домов с освещенными окнами, а нос повсюду ловил запах Юленькиного тела. Это было настолько странно, что поначалу я все время вертел головой по сторонам в поисках молодой

женщины, от которой только что ушел. Даже закралась бредовая идея: а вдруг Юленька тайком идет за мной? Вот только чего ради? Нет, парень, по тебе сумасшедший дом плачет. Дошел до ручки. Психика раздрызганная. Надо спокойнее воспринимать все, что в жизни происходит. Падения и поражения, удачи и везение, разочарования и невероятные события. Потому что жизнь нельзя спланировать, выстроить так, чтобы на ее протяжении не встречались ни кочки, ни ухабы, ни балки, о которые обязательно разобьешь макушку. Важно, чтобы жизнь не поставила тебя раком и не использовала по полной программе. Значит, в любых обстоятельствах необходимо удержаться на ногах. Выстоять! Как бы невыносимо тяжело это ни было.

А Юленькин запах, скорее всего, исходит от моей влажной кожи. Какие у нее стойкие духи.

По улице снуют машины. И это при том, что общественный транспорт здесь вообще не ходит, а вот частников и маршрутных такси удивительно много проскакивает в обоих направлениях: наверное, обладатели собственных автомобилей ищут место, чтобы припарковаться на ночь. Вдоль дороги между припаркованными машинами не мог бы влезть даже мотороллер.

А для меня главное сейчас: добраться до дома, принять душ — и в чистую постель. Одному. Может, полчаса посмотреть телевизор и уснуть. Душевно успокоенным и физически насытившимся.

* * *

В ту ночь разгулялась такая страшная гроза, что пальмы, оливы и кипарисы ломались, словно спички, гул разгневанного моря доносился даже сюда, в дальний номер отеля. Стонали платаны и смоковницы в маленьком саду под окнами двухэтажного здания. Ливень стеной закрывал недалекую крутую гору. Оттуда доносился непонятный, прерывисто-отчаянный рокот. Он то нарастал, то опадал. Скорее всего, это были потоки воды, с которыми едва справлялись узкие стоки. На них я обратил внимание сразу же по приезде в страну своей мечты — Грецию. Древнюю землю, воспетую и прославленную гениями. И вот я в уютном номере отеля, а за окном бушует стихия, как сотню, как тысячу лет назад. Ей нет никакого дела до моего восхищения греческой природой, искренностью и добродушием местного населения: своеобразной красотой женщин и рассудительностью мужчин. Прежде (я судил по кинофильмам) мне казалось, что народ этот безудержный, как горные ручьи, взрывной и говорливый, как морской прибой. И вот мои представления о жителях древней земли кардинально изменились. Разбились вдребезги. Вчера, гуляя по улочкам городка, случайно набрел на причал-пристань для небольших лодок и баркасов. Здесь местные рыбаки выгружали утренний улов. В пластмассовых ящиках, плетеных корзинах переливались в лучах солнца тушки неизвестных мне рыб. От разноцветной чешуи рябило в глазах. Пожилые мужчины и молодые ребята неторопливо, молча выгружали добычу на берег. Неожиданно один из ящиков выскользнул из рук юноши лет семнадцати. Ящик ему передал усатый отец. Пожалуй, отец — для дедушки он слишком молод. Так вот, ящик с рыбой выскользнул из рук парня и плюхнулся мимо причала, в воду. И… ни единого окрика из уст старшего рыбака, ни один мускул на лице не дрогнул. Словно ничего и не произошло. Они продолжали работать дальше. Мертвую рыбу волны относили все дальше и дальше от лодки. Честно говоря, я удивился выдержке рыбаков. Ведь добыча, на которую они потратили не один час, уплывала в море, поглощалась им. Или они, местные, живут по тому же принципу, что и мы, белорусы: кто дал — тот и взял… Потому что жизнь требует жертвоприношений. Мы в ежедневной суете часто об этом забываем. Рационалисты и прагматики, считаем все, что доста-

лось нам от предков, суевериями, раз и навсегда утратившими актуальность. Ан нет, дорогие мои: что не нами осмыслено, не нам и отвергать. Как же легко мы забываем об этом. Может, потому и приходится частенько локти кусать, если не свои, то чужие.

А на улице бушевала чудовищная гроза. Она наводила ужас даже здесь, в чистеньком уютном номере. Но, устроившись в постели, заснул. А на следующий день вышел из отеля — и был ослеплен солнцем. О грозе мало что напоминало. Мои знакомые французы, которые не первый год отдыхают на Миконосе, утверждали: для этой поры года вчерашняя гроза — явная нелепица. Абсолютное исключение! Мол, такого просто не могло быть, потому что быть не могло! Шутили, что природа Греции так отметила мой приезд на райский остров. И действительно, после нашей белорусской серо-неустойчивой погоды здесь, на Миконосе, с первых же шагов утопаешь от пяток до макушки в солнце, умиротворении и каком-то ленивом изнеможении. Одно то, что можно каждый день выбирать новый пляж, чтобы позагорать, переполняло предчувствием чего-то волнующего, которое вот-вот должно с тобой случиться. Если не сейчас, то через час или обязательно в вечерних сумерках, а если нет, то в утренней дымке грядущего дня.

Миконос — остров развлечений, пляжей (их двадцать) и неисчислимого множества баров, которые работают всю ночь. Он усыпан белыми изящными домиками, одни — побольше, другие — поменьше, одни — с плоскими, другие — с усеченными крышами. А чего стоят горы, усеянные сотнями небольших часовен и ветряных мельниц. Эту красоту нельзя описать, ее надо видеть. Хотя бы раз в жизни окинуть взглядом… И оливковые деревья в садах и садиках, на свободных лоскутках земли среди каменных глыб…

Если честно, на Миконос я приехал неслучайно. Очень хотелось побывать на острове Дилосе (местные называю его Дэлосом) — месте рождения греческой мифологии. Он находится недалеко от Миконоса. Сегодня, сразу после завтрака купил билет и, примостившись на узкой скамейке небольшого, но чистенького светло-голубого суденышка (цветом напоминающего местное небо), приближаюсь к своей мечте: небольшому голубому Дилосу, родине Аполлона. Еще издали почудилось, что остров утопает в свете. Казалось, все солнечные лучи сконцентрировались здесь, на Дилосе. Пусть не видно высоких гор и зелени деревьев, но сколько света, синевы неба и смарагдовой воды. Недаром прародители этих просторов назвали остров Дилосом — «ясным». Согласно мифологии, остров поднялся из морских вод, чтобы дать возможность Лете родить Аполлона и Артемиду. Гонимую Герой Лету только Дилос принял и защитил…

Спускаешься на берег и не веришь, что наконец-то стоишь на той земле, где когда-то жили египтяне, сирийцы, италийцы… Дилос, как утверждают, был заселен еще с III тысячелетия до нашей эры. Вечное и сегодняшнее здесь тесно переплетено, связано в тугой узел. На минуту все мы, туристы, умолкаем: ни разговоров, ни смеха. Раздается голос экскурсовода: «Господа, это зона Святой Гавани. Здесь находится Агора Компеталистов. Портик Филиппа V Македонского и Дилосская Агора, а также зона святилища Аполлона. Кстати, оно возведено в VI веке до нашей эры. В святилище находится статуя бога и сокровищница Дилосского союза. Потом мы пройдем к храму Артемиды, Агоре Феофраста и Колонному залу. Затем посетим Археологический музей, зону Дороги львов и, наконец, отправимся к Агоре италийцев — самому крупному памятнику на Дилосе. Приблизительно такая у нас программа».

На острове было не слишком многолюдно. Кроме нашей туристической группы я заметил еще три, слева от себя. Если учесть размеры Дилоса (всего пять квадратных километров), места не так и много для сотни любопытных

из всех уголков мира, но и мешать друг другу здесь никто не будет. Главное, чтобы экскурсовод толково спланировал маршрут. Наш гид, было видно, — опытный.

С самого Миконоса я обратил внимание на молодую привлекательную девушку; она, по моим наблюдениям, была одна. Держалась отчужденно-независимо, особняком, не лезла в толпу туристов. Худощавая, в легкой маечке и шортах, на ногах удобные и стильные парусиновые босоножки. Русые волосы распущены, доходят до плеч, и глаза синие-синие. Мне показалось, что я знаю ее целую вечность. Возможно, знал еще до своего рождения. Посмеетесь над этим? Напрасно. Бывает и так.

Посматриваю на знакомую незнакомку Одиночницу-Печальницу (так ее для себя назвал) краем глаза, а слух ловит голос экскурсовода.

«На священном острове Дилос было запрещено и рожать, и умирать. Тех, кто должен был стать матерью, перевозили рожать на соседнюю Рению. Там же хоронили умерших. Поэтому на острове Мегалос-Ревматарис, который находится между Дилосом и Ренией, поклонялись богине загробного мира Гекате. Во времена афинского владычества славились празднества Делии в честь Аполлона, Артемиды и Леты. А вот конец афинскому владычеству положили македонцы в 315 году до нашей эры. С приходом же на остров римлян расцвели торговля и культура. Город Дилос стал крупнейшим торговым центром, жители которого, собранные здесь из разных уголков мира, возвели на острове свои храмы. Золотое было время для Дилоса. Но упадок произошел неожиданно. В 88 году до нашей эры в связи с Митридатовой войной город был сожжен, храмы и дома разрушены, а двадцать тысяч жителей или перебиты, или проданы в рабство. Последний, так сказать, удар нанесли по Дилосу пираты. Вот с тех времен остров остался фактически незаселенным. Время от времени сюда наведывались лишь корсары или любители древностей, за добычей. Только в конце XIX века французские археологи начали проводить здесь раскопки, чтобы вернуть на свет Божий то, что осталось от прежних времен…»

Группа туристов медленно поднимается по дорожке со ступеньками на святую гору Кинф. Там, на вершине, сохранилась доисторическая пещера, культовое место, связанное с Гераклом.

Моя знакомая незнакомка Одиночница-Печальница замедляет шаг. Не спешу и я. Хочется заговорить с ней, познакомиться. Почему-то я уверен, что девушка не англичанка и не француженка, не могла она быть ни итальянкой, ни немкой… Я чувствовал, что нас связывает некая родственная, почти кровная связь. Так бывает. Вразумительно объяснить это довольно сложно, а часто и невозможно. Невидимые глазу, но мощные канаты-тросы, или лучше сказать, магниты притягивают нас. Как ни противься этому, сделать с собой ничего не можешь, потому что уже знаешь: с этим человеком пройдешь определенный отрезок своего жизненного пути. А вот насколько он длинный или короткий, счастливый или слезно-горький — не знаешь пока ни ты, ни тот, другой человек…

Наконец, я и Печальница (так проще, да и теперь она не одинока, я рядом с ней) оказались позади нашей туристической группы. Все гуськом тянутся за экскурсоводом, а мы вдвоем, не сговариваясь, незаметно отстаем, потихоньку замедляя шаг. Я чувствую, что нам хорошо друг с другом, уютно, комфортно. Мы на Дороге львов, среди многочисленных руин истории. Пять мраморных львов, некогда охранявших святое озеро, смотрят, как и прежде, в далекие золоченоседые времена, на восток. Первым заговариваю я. Тихо, полушепотом, чтобы не нарушать согласия наших душ. В ответ на мой несовершенный английский Печальница улыбнулась и, опередив меня на полшага, повернулась.

— Говорите по-нашему, я понимаю.

От удивления у меня перехватило дыхание. Не верилось или, скорее, казалось фантастичным, что на этом лоскутке земли, далеком острове Дилос услышал родное слово, белорусское слово, которое не так часто и в Минске доводилось слышать. А здесь, здесь… из уст Печальницы оно прозвучало божественным гимном нашей земле: ее величественной святости, нерушимости и вечности. Святое родное слово прозвучало на святой доисторической земле Дилоса. В этом был глубокий смысл. Так мне казалось в те минуты.

— Так что вы хотели сказать? — голос у знакомой незнакомки мягкий, глубоко-грудной, с легкой, едва уловимой надтреснутостью.

— Здесь когда-то возвышались десять мраморных львов. Наксосцы в седьмом веке до нашей эры поставили их для охраны, ясное дело, символической, святого озера. Но до нас, как видим, дошло только пять экземпляров. Правда, впечатляют?

— Да. Очень.

Даже не заметили, как повернули от Дороги львов к большому Дому посейдонистов. Мы беседовали непринужденно, неспешно. Я уже знал, что девушка, как и я, из Минска. Что тоже любит Грецию, что еще со школьных времен надеялась попасть на Дилос, посмотреть на мифический остров, почувствовать дыхание дохристианской истории. Печальница училась на юридическом факультете и мечтала, что когда-нибудь сможет ежегодно приезжать на землю красавцев-эллинов, чтобы припадать к источнику, из которого брала начало полноводная река европейской, в том числе и белорусской, культуры. Ибо здесь каждый камень, каждая песчинка дышат историей. На этой земле любой имеет возможность совершить путешествие длиной в тысячелетие, и не в одно.

— Здесь родились философия, театр, наконец — Олимпийские игры. — Я слушал и молча любовался Печальницей. — Жаль, ах, как жаль, что нельзя переночевать на Дилосе, — девушка опечаленно вздыхает. — Никуда не спрячешься от запретов. Неужели я могу украсть статую льва у святого озера? — она едва уловимо усмехнулась. — А может, нам спрятаться у Памятника быкам или за Галереей Антигоны, а? — У будущего юриста заблестели глаза, во взгляде теплилась загадочная мечтательность, больше свойственная студенткам-филологам. — Переночуем на сказочно-загадочном острове. Это же в памяти останется на всю жизнь. А послушайте, как здесь говорит ветер в руинах, как он шепчется с расколами в колоннах, как ласкает портики, вертится волчком у горы Кинф. Я уверена, что только здесь можно примириться с ветром, понять его… — она умоляюще смотрит мне в глаза. Как дошкольница, которая просит отца позволить ей прокатиться на опасном для детей аттракционе.

— Нас поймают и депортируют, — то ли шутя, то ли всерьез говорю я. — А поладить с ветром можно. Главное, самим не стать ветреными. — Не выдерживаю напускной рассудительности и от души смеюсь. Вижу, что Печальница меня не понимает.

На Миконос возвращались вместе со всеми. Печальница была немного обижена, что я не согласился остаться на ночь на Дилосе. Но я был уверен, что ее обида — всего лишь часть игры в прятки.

Смотрел с борта суденышка на остров, который приближался с каждой минутой, и дух перехватывало: безбрежная лазурь глубокого моря пугала и притягивала, будила в душе непонятные и тайные желания, а многочисленные, с гребешками из белой пены волны, бежавшие нескончаемой чередой вдоль бортиков судна и дальше, сколько мог охватить взгляд, до самого Миконоса, вызывали дрожь во всем теле. Нет, это был не испуг и не страх перед величием манящей стихии, а предчувствие, что вот сейчас, в эти минуты, со мной происходит что-то необратимое. Пока не осознал: теряю что-то важное

или приобретаю нечто бесценное?.. То, к чему шел все предыдущие годы. И чтобы избавиться от непонятной и трепетной неизвестности, я закрыл глаза… Исчезли рыбацкая гавань с разноцветными суденышками, белоснежный город, поднимавшийся от берега к горе, провалились в темень кубы и кубики домов, среди которых, как васильки во ржи, выделялись купола и кресты многочисленных церквей, не видел больше и сказочных мельниц с надутыми белоснежными парусами на вершине горы. Я прислушивался к себе, к тому непостижимому, дразнящему волнению, которое водопадом накрыло мое «я». Тайное, укрытое от чужого глаза, «я», которым до сих пор никогда и ни с кем не делился. Оно вдруг разволновалось, зашевелилось, как нерожденное дитя во чреве матери, которая решила избавиться от плода под покровом ночи. Мое «я» лишалось привычного уюта одиночества. «Я» чувствовало, что вот-вот должно вылущиться из душевного тайника или во всяком случае потесниться, чтобы впустить, а может, и уступить место чему-то другому. Хотя бы — любви. Бр-р, какое затасканное слово, похожее на шалаву, которую кто хочет, тот и имеет. Бесплатно, даром, просто так.

Поужинав недалеко от отеля, мы с Печальницей гуляли по городку, по его узким улочкам, вымощенным плитами. Каждая улочка была неповторима, за каждым поворотом-углом поджидало настоящее открытие. Мы в основном молчали. Внимательно всматривались в жизнь вокруг и молчали. Нам было хорошо вместе без слов. Добрели до морского порта и стали удивленно рассматривать домики, подступавшие к самой воде. Белоснежная пена волн с шуршанием-шепотом оседала на стенах чуть ниже разноцветных окон — зеленых, красных, коричневых, синих… Казалось, будто захмелевшая радуга расщедрилась и выплеснула свое богатство на домики. В глазах рябило от контрастов: белые стены, голубое небо, цветные окна.

— Здесь, наверное, очень хорошо в начале весны или в конце осени… — нарушила молчание Печальница. — Немноголюдно, можно сосредоточиться, да и дешевле. Как ты думаешь?

Равнодушно передернув плечами, ответил, что и теперь на Миконосе неплохо.

— А ты знаешь, что на территории Греции когда-то жили славянские племена?

— Не-ет. Впервые слышу.

— Да-да, я не вру. Правили здесь в давние времена велеситы. Возможно, и наши предки. Вот. Поэтому неслучайно нас с тобой сюда так тянуло. Голоса далеких предков звали. И не смейся!

— Милая моя девочка, — нарочито вздыхаю, — вижу, учила историю Греции, но хорошо ли знаем свою историю?

— Вроде неплохо. О чем рассказать? О Ягайле, Витовте, о Великом княжестве Литовском…

— Нет, солнышко мое. Хочу почувствовать вкус твоих губ, — полушутливая правда. Или, если быть точным, — правда, замаскированная под шутку.

— Вот так сразу? — Печальница даже не покраснела. — Что за проблема, целуй. — В голосе сквозит безразличие, но я замечаю ее волнение по дрожанию ресниц.

— Ты сказочная девушка из неземной страны, — перевожу дыхание. Мне не хватает воздуха под вечерним небом Миконоса.

— А то, — Печальница едва уловимо улыбается. — И неземная страна зовется Беларусью. Слышал о такой? — в ее голосе тоска и беззащитность.

Поддавшись минутному порыву, я осторожно обнял девушку за плечи и слегка прикоснулся губами к ее шее ниже мочки уха. Печальница наклонила

свою голову к моей и притихла. Вокруг термитами шныряли люди. Никто ни на кого не обращал внимания. Мы стояли под немолодой смоковницей с причудливо изогнутым стволом. Через дорожку находился бар, вывеской которому служил неоновый бокал для мартини. Искусственный свет — розовый, с зеленоватым отливом — создавал иллюзию наполненности бокала, а из длинной стеклянной соломинки по капле стекал призрачный напиток, напоминавший слезы отчаяния… Но мне эта картинка нравилась. Хотя я зацепился за нее всего на сотую долю секунды. Боковым зрением.

— Идем в какой-нибудь бар, утолим жажду, — шепчу на ушко землячке.

— Не хочется в суету. Народу — не протолкнуться. Давай лучше пройдемся по берегу. Не люблю стадности и массового мышления. Сразу становлюсь в таких ситуациях стервозной. Может, нервы сдают.

— Льстим себе, моя хорошая. Кто мог потрепать вам нервы в вашем-то возрасте? — делаю серьезное выражение лица, как на экзамене по научному коммунизму (читали такую дисциплину в вузах).

Печальница щелкает ногтем по моему носу. Мол, не выпендривайся. Ведь не от количества прожитых лет зависит внутреннее равновесие и душевный покой.

— Я тоже не люблю толпы. Правда, — спешу убедить собеседницу. — Я не понимаю людей, которые говорят, что устают от одиночества. Я его все время ищу. К нашему, так сказать, дуэту это не относится.

— Ничего странного. Это последствия городской жизни…

Справа от нас — ленивое, усталое перешептывание морской воды с берегом. В ночном (да, ночном, потому что вечера здесь практически не бывает) небе слышится далекий надрывный гул самолета.

— Грузовой, — говорю в ласковый порыв ветра.

— Кто грузовой? — поворачивает ко мне голову.

— Самолет грузовой.

— Да, — соглашается Печальница. — Хочу, чтобы самолет был почтовым, с хорошими вестями для людей.

— Ты же не любишь толпы, ст*а*да… — хмурюсь я.

— Но это не значит, что я не люблю людей. По отдельности. Да и любовь с нелюбовью рядом ходят, — девушка смотрит себе под ноги, на носки босоножек. — А вдруг этот самолет доставляет родным гроб с молодым, красивым, но мертвым телом. Представляешь, добротный, под орех гроб, а там, внутри, на белоснежном атласе — окоченевший труп девушки или парня, наших ровесников. — Печальница говорит отчужденно-равнодушно. Есть такое определение — никак. Словно о невидимой мошке, которую только что раздавила в ладони.

— Оптимистично, — говорю с подчеркнутым безразличием и я.

— Я люблю ходить на похороны. В выходные дни специально езжу в крематорий, что у Западного кладбища, и наблюдаю за процессиями. Мне интересны не сами покойники, а люди, которые провожают своих близких в последний путь. Боже мой, сколько там чувств и эмоций взбито-перемешано! Все: от жалости, отчаяния и тоски, страданий — до животного ужаса, — можно найти в глазах и взглядах людей. Там, в крематории, я постигаю человека и жизнь. В крематории острее, чем где бы то ни было, ощущаешь ценность существования.

— Не стоит так безнадежно-серьезно, золотце мое, — пытаюсь снять напряженность. — Философ ты мой маленький. Давай поцелуем отгоню тучки от твоих глазок, тогда они загорятся огоньками в ночи, маячками на морском берегу, которые будут видны даже пяти львам на Дилосе.

— Ага, не хватало еще превратиться в вампиршу. Все вы, мужчины, такие, не любите, когда женщина поднимает вечные вопросы.

— Живой должен думать о живом: любви, рождении детей, хлебе насущном…

— И смерти, — перебивает Печальница.

— Особенно здесь, на Миконосе.

— Странно, ты первый человек, я имею в виду мужчин, который меня не раздражает и с которым я могу говорить обо всем, не чувствуя неловкости. Что в тебе такого особенного — не могу разобраться…

— Все очень просто: я чувствую тебя, твою внутреннюю, прости, вывернутость. Ты подсознательно почувствовала то же во мне.

— Хочешь сказать, мы с тобой извращенцы? — Печальница нахмурила лоб, и в приглушенном свете фонаря морщины показались глубокими бороздками над переносицей.

— Вовсе нет, уважаемая. Каждый человек живет со своими сомнениями и тараканами в голове. Часто не признаваясь в этом даже самому себе. Не обращая внимания на тараканов, он ерничает и выкобенивается, отстраняется от своих тараканов и не замечает, как они плодятся и размножаются, пока, наконец, образно говоря, не пожирают его. Человек с зародышем садиста превращается в маньяка. Потому что парочка тараканов, которых он поленился выгнать, прятал от себя и других, размножились и удушили сущность, изменили его личность.

— Какой же ты зануда. Одно слово — мужчина. Тараканы, личность, сущность… Взгляни на небо. Вот где вечность и… смерть.

— Хочешь, я тебе расскажу о прошлогоднем отдыхе? — обняв Печальницу за гибкую соблазнительную талию, предложил я.

— А женщины в этой истории будут? Если да — не надо рассказывать, если нет — рассказывай. — Печальница засунула свою тоненькую ручку в задний карман моих джинсов.

— Не волнуйся. Там, где должны будут появиться женщины, я буду говорить ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Хорошо?

— Давай, слушаю… — Печальница еще теснее прижалась к моему плечу.

— Итак. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Отдыхал я прошлым летом в Крыму. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это был Судак с его знаменитой Генуэзской крепостью. Снимал летний домик недалеко от моря с ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба…

— Прекрати, остановись, Максим. Я начинаю нервничать от твоих «ба-ба». Да и некрасиво, не-га-лант-но в моем присутствии говорить о прошлогодних ба-ба-б.

— Уяснил. Ба-ба-б — пробрасываем. Так как, продолжать?

— Продолжай.

— И вот однажды, лежа на мягкой постели в летнем домике после утреннего плескания в теплом море, болтаясь в сладкой полудреме, вдруг услышал басовитый голос священника. Он доносился из близлежащего двухэтажного дома, построенного из ракушника. Кого-то отпевали. Уравнивались жизнь и смерть. Мой отдых и чье-то вечное отдохновение тесно переплелись. Голос то усиливался, то утихал. Слов я не мог разобрать, ухо ловило только интонации речитатива. Удушливая жара, настоявшийся аромат кипарисов, пронзительно-однообразное стрекотание цикад и голос священника. По близлежащей дороге пронеслась на большой скорости легковая машина, из динамиков которой гремело техно, — и снова духота, цикады, басовитый голос, острое осознание того, что в каждом мгновении соединены бесконечность жизни и обязательность, неизбежность вечного покоя. Вот так. Прошел год, а в подсознании отпечатался, наверное, навсегда, тот день. И не могу понять, почему. Помню, как я поднялся с постели, выглянул в дверной проем, бросил взгляд на гору, которая вздымалась неподалеку и напоминала помятый вывернутый тулуп… В ту минуту мне так захотелось

жить, жить во всю мощь. Несмотря ни на какие проблемы и волнения. Просто ходить, дышать, смотреть вокруг и радоваться всему и всем. Хотя знал, что со вчерашнего вечера в небе царит полная луна. А я ненавижу полнолуние. Оно меня угнетает. Но тем вечером я пошел на дискотеку и танцевал до самого утра. Словно последний раз в жизни. Я всех любил, и все любили меня. Образно говоря. Возможно, в тот день, в тот вечер я примирился с самим собой, так же, как ветер поладил с одиноким белоголово-пушистым одуванчиком на крутой скале.

— А ты, оказывается, романтик. Когда я впервые тебя увидела, подумала, что кроме санскритских мантр или трактатов персидских мудрецов, в лучшем случае, финского эпоса «Калевала» или опытов преподобного Гаснера по изгнанию духов ты ничего не читал и не читаешь. Ты мне показался очень противоречивым, что, собственно, твой рассказ и подтвердил. Люблю я противоречивых мужчин.

— Не устала от болтовни? Давай выпьем по коктейлю или по стакану свежевыжатого сока. Знатоки утверждают, что он очень полезен во время отдыха на солнце. Лучше всего пить морковный, в крайнем случае — апельсиновый.

— Ыгы, ничего не скажешь. Представления о здоровом и полезном у тебя имеются. Видишь под смоковницей островерхое здание? Левее смотри, за лысой дамой, видишь?

— Вижу.

— Вот там я вчера неплохой коктейль попробовала. С привкусом авокадо. Безопасный для жизни, — Печальница кокетливо подмигнула, растянув пухлые губки в улыбке. — Или тебя манят напитки с бо́льшим градусом, позволяющие рассудительность загнать в самый дальний угол подсознания? Я не против бокала хорошего вина. Хотя мой предыдущий кавалер любил смаковать мартини. Пытался и меня приучить. Не вышло. Не мой напиток, не мой. Кстати, то же могу сказать и о пиве.

— Сравнение — супер: мартини и пиво…

В эту минуту Печальница напоминала мне Наташу Ростову накануне первого бала. Столько в ней было искренней непосредственности, внутренней растерянности и сдержанной несдержанности, что я не удержался и, легонько повернув девушку за плечи к себе, жадно припал к ее пересохшим губам. На мгновение почувствовал, как она напряженно встрепенулась — и обмякла. Наши дыхания смешались, словно ветры с востока и запада или два подводных океанских течения. В моей голове мелькнуло молнией: из этого должно что-то родиться. Именно «что-то», а не «кто-то». Прошу не путать.

— Ты словно многоугольник, весь состоишь из угловатых неожиданностей, — поправляя волосы, сказала Печальница. Она избегала смотреть мне в глаза. И куда подевалась ее недавняя уверенность? Безразличное «что за проблема, целуй». Сейчас девушка напоминала перепуганную птичку, попавшую в силок. Даже гибкие изящные руки были похожи на обессилевшие крылья со слегка помятыми перышками.

— Знаешь, когда тебя увидел, сразу дал тебе прозвище Одиночница-Печальница. Не обижаешься? — Мое признание давало девушке возможность прийти в себя, избавиться от непонятной мне растерянности.

— Довольно точно схватил суть характера. Да, я одинокая и печальная. Хотя часто внешность бывает обманчивой. Я это знаю.

Взяв в баре по коктейлю, мы вышли на небольшую террасу монолитного каменного козырька-выступа. Надежного, прочного, нерушимого. Десяток пластмассовых столиков со стульями (во всех странах на всех континентах они одинаковы) были заняты расслабленной, устало-безразличной публикой. Ночь была наполнена разноязычным говором. Словно после падения Вавилонской

башни. Мы подошли к голубым перилам, увитым виноградной лозой, которая росла в довольно большой кадке-бочке и была закреплена с обратной стороны террасы. Медленно потягивая коктейль, я всматривался в открытое всему миру лицо Печальницы. Щеки у нее порозовели, а на переносице залегла маленькая складочка. Моя девочка сосредоточенно о чем-то или о ком-то думала, словно на госэкзамене в университете.

— Не умею я борщи варить, и супы тоже не умею. Зато могу сыграть на пианино «Детские сцены» Шумана. Вот так! — объявила неожиданно.

— Ага. К жизни относишься адекватно. Не все еще потеряно. Сразу признаюсь: люблю борщи и супы, восторгаюсь Шуманом. Придется, моя маленькая, учиться готовить, овладевать секретами приготовления первых блюд. Ничего, найдем курсы поварского искусства. Не переживай.

— Я и не переживаю. Это тебе стоит поразмыслить: на ту ли запал?

— Понял, к чему клонишь, не дурак…

Мы допили коктейли, преодолели пять ступенек от бара до тротуарной дорожки и, лавируя между группками туристов и парочками, свернули в менее людный переулок. Здесь многоцветие витрин не было таким буйным, казалось приглушенным. Меньше кафешек и баров, на глаза попались пару бистро и пиццерий.

— А ты знаешь, что все европейцы, в том числе и мы с тобой, потомки семи женщин. Всего семи.

— Откуда такая осведомленность? — меня удивила причудливость, непоследовательность мыслей Одиночницы-Печальницы.

— Интересуюсь не только юриспруденцией. Так вот, это открытие стало возможным благодаря новейшим достижениям генетики. Слышал о такой науке? Слышал, — ответила на свой же вопрос девушка. — Исследования определенной, не помню, какой конкретно, молекулы ДНК у разных людей позволили определить, кем были наши древние прародительницы и в какое время они жили. А жили они в доисторическом Средиземноморье. Возможно, где-то поблизости. Видишь, сколько неслучайных случайностей переплелось на этой земле. Огромная, доисторическая паутина сплетена под этим небом невидимыми и неведомыми силами. Впрочем, двигаемся дальше. Один английский генетик дал этим женщинам условные имена. Я их запомнила. Возможно, когда-нибудь, выйдя замуж, — прижмурившись, словно кошка, Печальница ухмыльнулась, — назову своих детей этими именами.

— Мечтаешь родить семь дочерей? — я едва не споткнулся на ровном месте.

— Почему бы и нет? Послушай, какие красивые имена: Урсула, Ксения, Елена, Велда, Тара, Катрин и Жасмина. Правда, красиво?

— Ничего необычного. Распространенные имена. Неужели Елена — редкое имя? У нас в Минске половина женщин и девушек бегают с таким *редким* именем.

— Ну и язва же ты, Максим. Лушче произнеси вслух: Ур-су-ла, Кат-рин, Жас-ми-на. Звуки переливаются, словно родниковая вода из глиняного кувшинчика в фарфоровую чашечку. Так вот, из трех рас, напоминаю специально для тебя — негроидной, европеоидной и монголоидной, — европейцы оказались самыми жизнестойкими и разнесли свой генофонд по всему миру. Все другие праматери — дочери Евы — в генетическом смысле изничтожились в Европе, не оставив и следа в нас теперешних.

— И чья же ты дочь, солнышко мое?

— А ты знаешь, чьим сыном являешься?

— Своей матери, — ответил без промедления.

— Хутор. Провожу ликбез. Существует два вида ДНК. Одна из них — ДНК отцовской линии, которая передается от отца к сыну и так далее всем потомкам

мужского пола. Другой вид — материнская ДНК. Только женщины передают ее потомкам. Мужчины и женщины получают эту ДНК от своих матерей, а те — от своих женских предков, и эта очередь потомков растягивается на сотни тысяч лет. В нашем с тобой случае речь идет о европейцах, если верить данным того английского генетика. Не то Спайкса, не то Сайкса, забыла. Бывает с нами, женщинами. Поэтому, вероятнее всего, мы произошли от…

— От Урсулы, — шучу, пытаясь помочь Одиночнице-Печальнице.

— Мимо. Старшая из семи праматерей Урсула жила, если не ошибаюсь, 45 тысяч лет назад в нынешней Греции! Да-да, Урсула — родоначальница греков. Она отличалась стойкостью и грациозностью. А Ксения разводила костры и нянчила детей на южных берегах Черного моря, недалеко от лесов, в которых обитали волки и медведи. И было это 25 тысяч лет назад.

— Завидую твоей памяти, — поддел я землячку.

— Учись, пока время есть, — парировала девушка, гордо выставив подбородок. — Могем, помним еще кое-что. Скажи, тебе неинтересно? — в ее взгляде мелькнуло разочарование.

— Очень интересно. Прости мне мою несдержанность. Просто ты становишься очень серьезной, когда рассказываешь о чем-нибудь древнем и мне не известном. Хотел тебя немного развеселить. Прости, девочка моя. Тебя я готов слушать бесконечно. Хоть об Арктике, хоть об Антарктике. А хочешь, Библию пересказывай. Только не молчи. Простишь наглеца?

Я шел неуверенным шагом, пятясь, лицом к ней, не сводя глаз с капризного личика моей спутницы.

— Не грузись, — наконец прыснула смехом Печальница. — Посмотрел бы ты на себя сейчас. Не иначе школьник-проказник перед строгой математичкой. Легко мне с тобой, школьник-проказник. Уютно и надежно, я уже говорила об этом. Чувствую себя, словно у Бога за пазухой, в крайнем случае — в резиденции патриарха русской православной церкви.

— Почему же русской, а не греческой? Она в данный момент ближе.

— Ты все шутишь. Не буду больше признаваться в сокровенном.

— И я не скажу, о чем мечтаю.

— Ну, здесь не надо быть Вангой, чтобы раскрыть, пан Максим, ваши мечты-желания, — Печальница склонила голову к плечу. — Отель, номер, постель и мы, голенькие и вспотевшие.

— Ого, снайпер. В десятку, — смущенно бормочу себе под нос. Не ожидал хода конем от Печальницы. Никак не удается ее просчитать.

— Не спеши. Никуда оно от нас не денется. Расслабься. А то застыл столбом.

Только в этот момент замечаю, что стою на месте как вкопанный. Ошеломила меня красавица своей открытостью.

— Идем, не мешай людям гулять, — Печальница взяла меня под руку. — Дальше рассказывать о прародительницах? Или желание слушать пропало?

— Нет-нет, — поспешил я уверить историка-любителя. — С удовольствием послушаю. Возможно, когда-нибудь щегольну своей осведомленностью. Продолжай, мое солнышко.

— Запоминай. За Ксенией следует Тара, которая жила 17 тысяч лет назад. Она олицетворяла собой твердость и нерушимость. Родина Тары в нынешней Тоскане, главный город которой — Флоренция. Ты не был во Флоренции?.. Я тоже не была. Значит, у нас есть к чему стремиться. Но речь не об этом. Там еще до римлян жили таинственные этруски. Впрочем, свое начало этот исчезнувший народ берет не от Тары, потому что его корни — не индоевропейские. Потомки Тары двинулись на север — в будущие германские земли. К слову,

я очень люблю немцев и мечтаю выйти замуж за одного из них, — Одиночница-Печальница пытается поймать мой взгляд. Ей интересна моя реакция. Я же, словно соляной столп, стараюсь не показывать никаких эмоций. В душе начинаю ненавидеть абстрактного немца.

— На север, в нынешнюю Францию, двинулись с Пиренейского полуострова многочисленные потомки Вельды. Жасмина родом из современной Сирии, — говорит Печальница ровным голосом. Кажется, будто текст она заучила. Возможно, это своеобразная фишка студенточки. Чтобы придать себе лоска и блеска в глазах туповатых (а почему туповатых? я себя таковым не считаю, хотя никогда не слышал о семерке прародительниц) юношей и мужчин в самом расцвете сил (ну и штамп — каких сил? — физических, психических, интеллектуальных…).

— Катрин выделялась искренностью и открытостью. Как я. Хотя и жила у северного побережья Адриатического моря, недалеко от сегодняшних Венеции и Триеста. Было это 10 тысяч лет назад. Хочешь — верь, а хочешь — нет, но больше всего среди нас потомков Елены. В ее характере доминировали веселость, ясность; ей была свойственна простота в общении. Вот так. Елена родом с Пиренейских предгорий, из охотничьих племен. Все наши прародительницы жили, сам понимаешь, в очень тяжелых условиях и нам передали наиболее сильные свои гены. Всех перечислила или нет?

— Сложно сказать. Я же доверчивый слушатель, пальцы не загибал после каждого имени.

— Неважно. И так я весь вечер щебечу, для меня это нехарактерно.

— Я благодарный слушатель, дорогая девочка. Пользуйся этим.

— Действительно, поговорить мы все мастера, а вот слушать — не умеем и не хотим. А если о чем-то или о ком-то начинаем говорить, тут же переводим все на себя, любимых. Такова человеческая природа.

— Не зря науки постигаешь.

— На каждом шагу, в любом поступке присутствуют социология, философия, юриспруденция, пан Максим. Стоит только присмотреться и задуматься.

— Так чьи же мы, белорусы, дети, в конце-то концов?

— Божьи! — чересчур серьезно изрекла Печальница. — Только единственной любовью спасется человек.

— Ты имеешь в виду конкретного человека?

— Нет, человечество вообще.

— Тогда зачем рассказывала мне о праматерях, в чем глубинный смысл твоей истории?

— Это то же самое, что спросить о смысле жизни. Или попросить описать идеальных мужчину, женщину. Не ищи глубины там, где ее быть не должно. Ибо начало всему, точка отсчета — пустота. Абсолютная.

— Неужели? А как тогда быть с диалектикой?

— Коту под хвост твою диалектику.

— Договорились и в самом деле до пустоты, до нулевой отметки. Начнем сначала, прошу прощения за тавтологию. Я — Максим. Ты мне очень нравишься.

— Одиночница-Печальница. И ты мне небезразличен. Ха-ха-ха, теперь понимаешь, в чем польза философии, пан Максим, — девушка обхватила меня за шею легкими руками, сцепила ладони в замок на уровне лопаток и поцеловала. В ее губах чувствовались нетерпение, страстность, изголодавшаяся настойчивость. Так целуются после долгой разлуки. Ее мелкие зубки легко покусывали мою нижнюю губу. Впрочем, это было даже не покусывание, скорее умелое массирование. Опыт есть, — отметил я мысленно и в ту

же секунду забыл обо всем, потому что ее верткий язычок прорвался к моему. Томительное наслаждение половодьем разлилось по всему телу, а внутренний слух выхватил откуда-то переливчатую, многоколенную соловьиную трель. Душу мою затопила весна. Всепоглощающая, сумасшедшая, яростная весна посреди лета Греции. На острове Миконос я за один год встретил две весны, одну за другой. Скажете: так не бывает. И будете неправы на все сто процентов. Потому что, вероятнее всего, вы не любили. Миновала вас стрела Купидона. А вот меня в ту минуту она смертельно ранила. Купидон пробил одной тугой острой стрелой мое и ее, Печальницы, сердца. Не отрываясь от губ своего солнышка, я уже знал, что наконец-то нашел свою судьбу, отыскал свою половинку. Не смейтесь над этакой банальщиной. Все мы — влюбленные — слепы и глухи, словно тетерева на токовище.

Ту ночь мы провели вместе, и превратилась Печальница в мою Единственную.

* * *

Как я сейчас понимаю, это было началом конца…

* * *

Проснулся я на розовом облаке. Из-за пронизывавших его солнечных лучей оно казалось еще более невесомым и прозрачным, чем было на самом деле. Поднял тяжелые, как после пьянки или недельной бессонницы, отекшие веки — пришел в себя. Мысль билась в голове, словно измученный мышонок в когтях у котяры. Надо мной безграничный аквамариновый простор, даже глазу не за что зацепиться. Впервые в жизни почувствовал, что значит опустошающее одиночество. Хоть кричи, раздирая легкие и горло, голоса своего все равно не услышишь. Такое получаешь за грехи свои тяжкие или за святость, человече. А я ведь помню, что всегда жаждал независимости и свободы, от всего и ото всех. Так вот она, хлебай сколько влезет, захлебывайся пустотой. Что, не такой свободы, воли вольной хотел? Дозировка не та? А разве бывает она для свободы и вольницы? Уверен, что бывает? Нет, мой хороший. Спроси у духа индейца из прерий. У того независимого духа, который не столкнулся еще с бледнолицыми. Где я, и что делать? Как выбраться из облака, из пустоты, из ненужной мне одному воли, свободы? Да и жив ли я вообще? Да, кажется, жив. Мне страшно, часто бьется сердце, а глаза влажные от слез, и хочется помочиться. Все это не может волновать покойника. Ему, полагаю, было бы все равно, что с ним и как. Так в какой же пылесос меня, несчастного, засосало? По чьему желанию я оказался на ирреальном облаке во вневременье? Да, во вневременье, потому что не могу понять: день или ночь сейчас, лето или зима. И что, если надо мной солнце? Оно никакое: ни холодное, ни теплое. Бельмо бельмом. А облако под телом неподвижное, словно из пенопласта, штампованного, но не ломкого. Чувствую это затылком, плечами, задницей. Надо повернуться и встать на колени. Ага, вот так все и начинается — на колени, затем — на четвереньки — и полетели свобода, воля в безграничную и бесконечную Вселенную, к далеким планетам и звездам. Туда, где они никому не нужны и где даже не знают о существовании понятий «свобода», «воля»… А как же братство? Не играй сам с собою. Такие забавы не для съеденных зубов не то живого, не то мертвого человечка… Неплохо, что могу еще подтрунивать над собой. Не все, значит, потеряно. Только ведь надо, необходимо (!) как-то выбираться из розового облака. Ползти на коленях, на четвереньках, боком, хоть клубком катиться, но выбираться… Куда? Правильный, своевременный вопрос. Куда и зачем, чего ради?

Неужто так быстро насытился свободой и волей? Без косых, завистливых, осуждающих взглядов близких твоих, скептически-критических замечаний начальников, остервенелого рыка пассажиров в переполненном метро… Я же свободен ото всех. Пойми, оцени это, наконец!.. Нет-нет, такая воля-свобода зачем? Ее безудержно хочется в толпе, массе, в бесконечной толкотне таких же двуногих, как сам. Не стоит полоскать мозги, потому что от подобной банальщины несет убожеством. Только кому здесь важен разум? Безграничная пустота самодостаточна уже потому, что существует вне времени и независимо от тебя (меня, ее, его…), она — вечность данного. И сюда я встрял по желанию (шутейному!) неведомых мне сил. Ибо к чему стремишься, то тебе и дается. Всегда! Вот-вот, разберись, наконец, со своей противоречивостью, определись, куда и к чему (кому) идешь? Надо тебе это или нет? Господь всевышний, сколько же вопросов гуськом, вразнобой, без очереди лезут, ползут, вбиваются в мою бедную-несчастную голову. А безошибочно, толково, как это требуется, ответить — не могу. Не знаю правильных ответов. Может, их изначально не существует?.. Новый вопрос.

Все же набрался смелости, подполз к краю облака, глянул вниз. Топкое болото с пузырями по всей поверхности и огромных, похожих на стога сена, жаб. Они заметили меня, потому что поверхность болота словно вскипела от их безудержного копошения. Четырехлапые всползали на гангренозно-пупырчатые спины друг друга, образуя подвижный неровный столп. Не так ли строились египетские пирамиды? Я отпрянул, словно меня током ударило, передвинулся на середину облака. Сердце сжалось в груди, онемело, а кровь в венах и артериях превратилась в деготь. И ни звука не доносилось снизу, и абсолютное молчание сверху, от солнца-бельма. Я понял, что это тупик. Если сказать, что меня охватил страх скотины на бойне, это будет скромно-кокетливым молчанием. Вот тебе и свобода, воля на розовом облаке; расплата приближается неумолимо — в виде чудовищных жаб. Я с детства до умопомрачения боялся этих мерзких созданий. Ни за какие посулы, обещания, деньги и золото не взял бы и теперь их в руки. Только вот они, рядом, карабкаются друг на друга, подбираются ко мне. А может, я оживил, материализовал свои детские страхи? Эта спасительная мысль заставила меня снова выглянуть за край облака, и я едва не столкнулся нос к носу с аршинной жабьей мордой. Не успел отскочить, ее лапа прижала мою ладонь, а из открытой пасти выкатился скрипучий голос:

— Не бойся, погладь меня.

Дернулся раз, другой — понял, что не вырваться. Обессиленно обмяк. С безысходностью сражаться сложнее, чем с ветряными мельницами.

— Дотронься до меня, — просила жаба с ледяным глазом. Именно с одним глазом. Второго я не видел. Может, она была одноглазой или искалеченной… Не знаю. Но вдруг меня охватила такая жалость к этой несчастной жабе, что я протянул свободную руку и сперва кончиками пальцев, а потом и всей ладонью провел по шершавой, словно выщербленный асфальт, и холодной, как глыба льда, коже.

— Вот видишь, ничего сверхъестественного не произошло. И овцы целы, и волки сыты. Ты жив, я довольна, — рокотала кувшинным голосом жаба.

(*Не хватало ей, как в сказке, превратиться в царевну. Был бы полный комплект шизы.*)

— Пришло время не бояться самого себя, делать выбор, а сделав его — не изменять и не болтаться, словно дерьмо в проруби, между двух берегов.

— Ага, научи меня родину любить, — вырвалось из моего онемевшего горла. — Ты, жаба, лучше подскажи, как можно жить и не ошибаться, различать припудренное добром зло, не обижать тех, кто не заслуживает благодар-

ности. Где набраться смелости, чтобы в лицо сказать подлецам и подонкам, кто они есть на самом деле. Научи любить ближнего своего не на словах, а поступками. И не бояться! Не бояться! Научи, мудрая жаба?!

— Ты ведь преодолел страх передо мной, превозмог патологическую боязнь? Теперь шаг за шагом, метр за метром, двигайся вперед. Не обращай внимания на шишки и ожоги, кривые усмешки, оскорбительные слова. Ты иди с гордо поднятой головой, под ноги не смотри, только прямо перед собой. Не склоняй головы перед теми, кто этого не достоин. Угодничество, лесть, согбенные плечи, вкрадчивый голос — забудь об этом.

— А как же тогда выжить? — прервал я поучения жабы. — Здесь, на розовом облаке, еще может такой идиот существовать, даже жить. Среди людей — исключено!

— Хорошо же ты думаешь о себе подобных, — я уловил усмешку на жабьей морде. Клянусь духом индейца из прерий. Она улыбалась беззубым ртом. — Ради общей цели, мы, жабы, смогли объединиться, чтобы очистить тебя от страха. Для нас не так уж важно, кто останется внизу, под грузом остальных, а кто протянет тебе лапу и скажет слова, которые смогут проникнуть в твою заскорузлую, покрытую паршой страха душе.

— Будь по-твоему. Хочу спросить еще об одном, для нас, людей, условном понятии.

— Спрашивай, я здесь для этого, — согласилась странно улыбчивая жаба.

— Как научиться отличать ложь, обман от правды?

— Всего-то? — жаба наконец сняла лапу с моей руки. — Думала, спросишь о любви, преданности и верности, а он о лжи беспокоится. В твои годы (еще не старость, но уже не юность) необходимо любить! Безоглядно, бездумно, сломя голову, не жалея потраченных дней и ночей, не обращая внимания на раны и синяки, ложь и обман, измены и неверность, даже подлость, любить, любить на износ. И вот почему. Когда станешь старше, лет этак через пять, начнешь все анализировать, взвешивать, соотносить, сравнивать и черстветь, словно булка ржаного хлеба. Синичка-любовь своим слабым клювиком уже не сможет отщипнуть вкусного, сладкого мякиша. Все будут чужими, хоть и милыми. Понял, о чем речь?

— Не дурак, как говорила моя знакомая. Она употребляла эти слова к месту и невпопад. Но я упрямый баран и хочу все же узнать о лжи. С любовью как-нибудь сам разберусь.

— Не переоценивай свои силы. Поверь мне, жабе-тортилле. Кажется, так ты меня обозвал. Так вот, не ложь тебя погубит, а любовь. Та любовь, с которой ты собираешься разобраться сам. Ее губительное зелье отравит белый свет в глазах, порвет сухожилия, взбаламутит твой рациональный ум. Я уже видела такое. И не раз. Случится это в самый неподходящий момент, когда ты, как раскормленный боров, оплывешь и будешь не готов воспринять поражение как необратимую данность. Насчет лжи — все просто. У вашей, человечьей лжи — свой запах. Его ни с чем не спутаешь. Никакая парфюмерия, никакие духи не могут замаскировать, приглушить запах лжи.

— Неужели ложь так воняет? — искренне удивился я.

— Отведаешь не один раз, побудешь в ее объятиях, но чаще — под ней, и ее запах, запах лжи поселится в носоглотке, под небом, впечатается, словно железное тавро, въестся в подкорку мозга. Ложь — это как наждачкой по деликатному месту.

— Запутала ты меня, жаба. Так и не понял, что сильнее и опаснее: любовь или все-таки ложь?

— Сильнее всего — страх.

— Мне надоело бояться!

— Правда? — Жаба половиной туловища всползла на мое розовое облако. На шершавых бородавках ее кожи кое-где проступили густые молочные капли. Поерзав, я отодвинулся подальше от незваной гостьи.

— Ты преодолел страх? Любой страх? Стал от этого сильнее? Чувствуешь силу бесстрашия?

— Чувствую.

— Лгун. Видишь, я мгновенно почувствовала запах лжи.

— Чего ты от меня, в конце концов, хочешь? — мои нервы не выдерживают. Я готов броситься на жабу и столкнуть ее назад в болото. К сестрам клонированным, которые подпирают мое облако пирамидальным столпом. Пусть они катятся к черту, в тартарары, а я хочу послушать «Рамштайн». Только их и в эту минуту. Только сейчас и здесь! Несмотря на безграничную пустоту вверху и болото внизу. Снова не поверите, но так бывает. Что в сравнении с этим желанием любовь, ложь, страх… Я хочу! Вот главное качество каждого из нас. И никакая мудрая жаба не сможет помешать моему (нашему: его, ее, их) желанию. Для этого у меня (у нас) есть все необходимое: память, воспоминания, воображение… Невидимый MP-3 плеер в мозгах. Он не нуждается в подзарядке. Закрыл глаза — и зазвучала бас-гитара, к ней присоединяются ударные. Но что такое, ресницы не смыкаются. Словно между веками спички вставлены…

— А помнишь ящерицу? — жаба уже всем телом вскарабкалась на облако. Мое розовое пристанище желеобразной медузой колышется под ее тяжестью. А мне больше некуда двигаться. Я на самом краю.

— Какую ящерицу? — Мне уже безразлично, что будет дальше, чем закончится поединок (а может, игра, забава) между человеком (мной) и жабой, мерзкой жабой. — О какой ящерице ты говоришь? — переспрашиваю.

— О той, которую проткнул сухой веточкой пижмы насквозь, через щелочки-уши.

— Откуда ты знаешь? Никто ведь не видел. Я был один. Я и ящерица. — Мне и в самом деле интересно: откуда знает жаба об искалеченной и уничтоженной ящерице из давних пионерско-лагерных времен. Из затянутых туманом забытья времен детства. — Сдохла ящерица.

— Знаю, что сдохла, — буднично констатирует жаба.

— Тогда зачем спрашиваешь? — В моей душе зарождается и крепнет злость на четырехлапую тварь, которая оккупировала мое, только мое розовое облако.

— Успокойся, — советует она. — Нам часто бывает стыдно за детские поступки.

— Ага, уже нам. Кого конкретно имеешь в виду?

— Ты еще не понял, кто я? — жаба снова улыбнулась во всю ширь своего беззубого рта.

— Ну, ограниченный я, тупой, недалекий, глупый…

— Люблю самокритику. Она словно «негриппин» для простуды…

— Так кто же ты? — выдыхаю в морду твари.

— Я твоя жаба. Та, что живет в каждом человеке. Не все, правда, хотят ее видеть.

— Тьфу ты, погань, — я смачно плюнул в единственный глаз мерзкого создания.

— Нельзя плевать в самого себя.

Неожиданно по небу полоснула молния. Без громовых раскатов. На меня обрушился ливень. Словно из брандспойта окатило ледяной водой. Машинально прикрыл глаза. Реакция организма на опасность. Только бы не смыло

с облака, — мелькнуло в голове, и ладонями посильнее уперся в розовую поверхность. А то, не дай Бог, свалюсь в болото, и ненасытные, жадные жабы чужих людей бросятся на меня, как доберманы, придушат — и фамилии не спросят. Мне становится не по себе от одной этой мысли. Через силу открываю глаза, чтобы посмотреть на жабу. Что она делает под таким ливнем? Но на облаке остался я один. Тело мое налилось чугунной тяжестью. Будто позанимался в тренажерном зале с гантелями, штангу потаскал. Почувствовал, как легкие в груди сжимаются от недостатка воздуха, а может, бронхи забиты слизью от чрезмерного курения. Только вот здесь, на облаке, не выкурил ни одной сигареты. Их у меня просто нет, как и зажигалки. Немая гроза не утихала. Я промок до последней нитки. Нечто похожее со мной уже происходило в Косовском замке. Тем вечером мы с Настенькой гуляли у озера, берега которого густо заросли осокой, камышом и лопушистым чертополохом. Мы приехали к сестре Настеньки, нервной молодой стерве, у которой были молчаливый муж и крикливый сын-карапуз. Успели посидеть за роскошным столом (сестра держала несколько продуктовых киосков в Косово), опустошили три-четыре бутылки марочного вина и пошли прогуляться. Мне всегда хотелось посмотреть на знаменитый местный замок. Сравнить с Несвижским или Мирским, которые мне очень нравились своей простотой и в то же время величественностью. Вот мы и выбрались на прогулку. Миновали озеро, приближались к лоскутку леса, за которым, как уверяла Настенька, и стоит замок. Августовское небо (да, кажется, был август) щедро баловало нас ненавязчивым теплом уставшего за день солнца. На небе не было ни единого облачка. Мы о чем-то непринужденно говорили, чувствуя себя сытыми, немного хмельными и беззаботными. И вдруг как из ведра хлынул дождь (как и откуда нанесло тучи — не успели заметить, впрочем, нам было не до неба). Пока пробежали сотню-полторы метров до стен замка, стали похожи на крыс из канализации. Странно, но мы не услышали ни одного раската грома, даже его далекого ворчания… Эх, Настенька, где ты сейчас и с кем? Я успел забыть о тебе, и вот теперь мне стыдно. Как бывает стыдно старухе, которая топила когда-то в реке слепых котят. Мне кажется, будто пустая и безграничная Вселенная умерла. На розовом облаке остался только я. Даже противная жаба, моя жаба, юркнула внутрь меня, спряталась в моем же теле. Конечно, ей там уютно, тепло. Я же один на один с пустой, немой и мертвой Вселенной. Наедине с собой. До чего же невыносимо тяжело бывает заглядывать в себя, находить и рассматривать, словно ведьмы вуду птичьи внутренности, свои подлые поступки… Как альпинист, лезу, ползу я от своего подножия (начала) к вершине-сознанию; кем же я вообще для себя являюсь: другом или врагом… Вот бы сжечь воспоминания! Облить из бездонной канистры бензином и чиркнуть спичкой. Смотреть и радоваться, что прошлое, не нужное тебе сегодняшнему прошлое пожирается ненасытным огнем и превращается в дым. Не так уж страшно, что дым смрадный. Можно задержать дыхание, пока ветер не договорится с дымом воспоминаний и не развеет их по околицам. Да, ветер умеет ладить с любым природным явлением, со всеми и всем. В этом я уверен. А как примириться с собой? Думаю о тех, кто, как и я, в эту минуту не спит. О своих товарищах по несчастью думаю. Сидя на розовом облаке, под немым ливнем в безграничной пустоте, я думаю о них, лишенных сна, о тех, кто заглядывает в самих себя и переполняется ужасом от увиденного. Срывается с места и бежит, бежит, бежит… оставаясь на месте. Как я на облаке. Кто откроет дверь? Дверь, ведущую из розового облака в реальность. Хочу сломать замок, а нечем. Ключи потеряны, отмычки никогда не носил, вышибить дверь плечом — нет сил… даже пулю в лоб пустить некому. И все же одиночество лучше пистолета…

* * *

Что страшнее и опаснее: просыпаться или засыпать?..

* * *

Юленька позвонила на следующий день, после полудня. В комнате приглушенно, для фона работал телевизор, круглосуточный музыкальный канал развлекал зрителей суперсовременными клипами. На нашем, отечественном музыкальном канале с самого утра не прозвучало ни одной песни на белорусском языке. Не знаю, кого как, а меня это огорчало. Английские, французские, испанские, немецкие, само собой, русские, даже китайские речитативы, «поп», «хеви метал», хард-рок, словно разноцветные стеклышки в трубке калейдоскопа, перемешивались, складывались в мозаичные узоры, ублажая требовательного и не слишком потребителя…

Я сидел на своей любимой тахте и перебирал фотографии из Греции. Пейзажи, исторические памятники, ветряные мельницы, апельсиновые сады и оливковые рощицы, виноградники, очертания обрывистых скал и покато-выпуклых гор, лица местных жителей. Я специально фотографировал только греков, стараясь, чтобы туристы в объектив не попадали. И всюду она, моя Единственная. Примерно на третий день после знакомства с Одиночницей-Печальницей, моей Единственной, купил недорогой цифровой фотоаппарат. И снимал, фотографировал ее без остановки. Гора снимков. За столько лет так и не приведенная в порядок, сваленная в широкий ящик стола. Ущемленное самолюбие стонало во мне. Как она могла? Чем не угодил? Что же ее подтолкнуло к измене? Секс у нас был почти каждый день. Безудержно-бесшабашный, экстремально-экспериментальный. Мы все время искали и находили оригинальные решения. Не было уголка в квартире, который бы не помнил запаха наших разгоряченных тел, каждый сантиметр был полит п*о*том секса. «П*о*том секса…» — мне словно булавой по голове треснули. А была ли в нашем сексе — любовь?.. Мы сексуально утвердились, и все… Души же наши остались пустыми, иссушенными ветром животного, без чувств секса. Неправда, я любил Единственную. Любил… и, возможно, еще люблю, несмотря на ее предательство. Если бы не было такого глубокого чувства, неужели бы так болело мое сердце? А может, это не сердце болит, а все то же растоптанное самолюбие, которое без устали тешил не только ты сам, но и она, Единственная. «Лучшего мужчины не было и не будет в мире!» — шептала на ухо после каждой близости. И ты, словно сытый опытный слон, подставлял уши под лапшу, которую Единственная тебе вешала. Конечно, ты лучше, чем миллионы других мужчин. Ты бог, даже больше, чем бог! И вот развенчан культ той, которая создала этого бога. Как же не болеть сердцу? Нестерпимая мука выворачивает нутро наизнанку. О, сколько же в мире мужчин лучше, чем ты. Единственная это подтвердила.

«Будь предельно искренним в признаниях, и со временем полегчает», — уж не мозг ли с сердцем снова лезут со своими советами?

Нет, вам я права голоса больше не дам! Довольно!

В эту минуту и раздался спасительный звонок Юленьки.

— Привет, Максим? Говорить можешь?

— Я. Привет. Конечно, могу. С тобой — хоть до конца света.

— Хорошо вчера добрался? А то я волновалась. Мог бы и позвонить, любовничек.

— Не хотел надоедать.

— Уже неплохо. Значит — серьезный партнер. А может, обычное перекати-поле? — Юленька ждет моего ответа.

— Не знаю. Опыта отношений маловато.

— Ха-ха, — так и сказала «ха-ха», — судя по вчерашней встрече, не сказала бы, что ты теленок неопытный. Скорее, поднаторевший Казанова.

— Спасибо за комплимент.

— Может, я невовремя? — заволновалась Юленька. — Какой-то ты сонный, вялый. Безразличный.

— Ночью плохо спал. Боролся с жабой на розовом облаке.

— Ого, и кто кого? — в голосе нотки недоверия.

— Мы помирились и слились в единое целое.

— А так бывает — жаба и человек вместе?

— Бывает. Поверь.

— Хотела спросить: ты сегодня после пяти свободен?

— Пока ничего не планировал.

— Тогда, может, встретились бы снова у меня? А?

— Надо подумать… — Меня вдруг охватило абсолютное безразличие к Юленьке. Перед глазами промелькнуло синюшного цвета, с неровными краями и пучком рыжеватых волосков родимое пятно на ее ягодице. Отвернуло. Сразу. Вчера было безразлично, а сегодня, сейчас — противно. В памяти всплыла жабья кожа и Юленькина родинка. Они совместились в одной картинке.

— Почему молчишь? Если в пять не получается, давай встретимся на пару часов позже. Или укатали сивку крутые горки?

— Знаешь, совсем забыл… — Как отказать и не обидеть? Мысль вертится в голове волчком, сбиваясь-срываясь на банальные отговорки, в которые даже дошкольники не поверят. — Сегодня какой день? — уловка, чтобы выиграть время.

— С утра пятница на календаре, — в голосе разочарование. Женщину не обманешь, она на расстоянии чувствует: что-то не так. Действие разворачивается не по сценарию. И сцена есть, и публика в зале заняла все места, не хватает мелочи — актера, исполняющего главную роль. Он спасовал.

— Так как, договариваемся? — капризно-кокетливо спрашивает Юленька. Она сменила тактику: от обид перешла к обольщению, многозначительным обещаниям. Мол, не пожалеешь, правильный выбор сделал. — У меня для тебя есть особый подарок. Уверена, никто такого еще не делал.

Какая же ты предсказуемая, Юленька. В годы тинейджерства и ранней молодости прошел я и эту школу. Ничего нового предложить мне не сможешь. Простая ты баба. Зачем придумывать изящную отговорку? Понимай мой отказ как хочешь.

— Сегодня банный день. Иду с друзьями в баню.

— Ты променяешь нашу встречу на какую-то зачуханную баню? — удивлению Юленьки нет границ. — Впервые такого мужчину встречаю.

— Все когда-нибудь бывает впервые, деточка…

— Что?

— Говорю, никого и ни на кого я не меняю. Помнишь фильм: каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню. В моем случае каждую пятницу я с друзьями хожу в баню, с незапамятных времен. И эту традицию нарушать не собираюсь.

— Хамло!

Абонент отключился. Все кончено. С Юленькой, ясное дело. Теперь и с ней, после первой же встречи. Вот так, моя Единственная. Я все еще в твоей власти. Независимо от моего желания. Хочу тебя забыть! Отомстить и забыть! Как же убежать от тебя, от себя убежать? От нашей общей памяти? Бежать, бежать,

убег-г-гать… потому что рядом с тобой другой. Устал, устал, как марафонец, от мыслей о тебе и о другом рядом с тобой.

Память неустанно переключается с канала на канал, с эпизода на эпизод. Невидимая рука нажимает на кнопки пульта. Повсюду мы рядом, вместе… Кто не любил, тот не поймет. Посмеется, прикурит сигарету, процедит сквозь зубы: «Идиот, не всех придурков машины посбивали!» Поверьте, для меня это похвала…

«Тебя ждет компьютер. Подбери слюни — и к монитору».

Снова мозг с сердцем донимают. Никак не успокоятся, спасают от самоедства.

«Мы-мы, дорогой наш Хозяин. Напрасно ты так бесцеремонно обошелся с Юленькой. Тактичность и сдержанность — лучшие твои спутники сейчас. Не забывай. Впрочем, невелика беда. Включай адскую машину. Тебя ждет приятная неожиданность…»

— Увяньте! Не хочу слышать! С ума схожу! — кричу на всю комнату и пугаюсь своего же голоса. В нем — безумие. Мой голос глухо отскакивает от стен и возвращается ко мне упругим мячиком. Кажется — попадает в темечко. Обхватываю голову руками и послушно (как советовали мозг с сердцем) нажимаю кнопку на системном блоке. Монитор, радостно подмигнув, ожил. Подключаюсь к Интернету, набираю электронный адрес своей странички, там висят тридцать шесть сообщений. Пульсирующий желтый конвертик готов лопнуть от перегрузки.

— Что ж, начнем, — говорю сам себе, — посмотрим, кому захотелось постучаться в мою виртуальную дверь...

* * *

Предавая близкого человека, ты предаешь себя. Только себя!

* * *

Следующие три недели пролетели, словно в сюрреалистическом сне. Квартиры, номера отелей, сауны и душевые кабинки, задние сидения автомобилей, темные скамейки в скверах и парках сменялись дачами под Минском, лесными полянами, туристическими палатками… В голове смешались в густой коктейль имена девушек, молодых женщин, дам бальзаковского возраста. Ни одно из них я не запомнил. Как и лиц. Они, по сути, превратились в одно необъятное, огромное, неохватное лицо, с неразличимыми губами, носами, цветом глаз… Не впустую догулял отпуск, прихватил и несколько трудовых будней. Справедливости ради хочу заметить, что ни одну любовницу я не привел в свою квартиру, на нашу с ней, Единственной, тахту. Ни одну из этих женщин не мог представить на нашей тахте. Мы выбирали ее на Западном рынке, испытывали на прочность и устойчивость. Главное, чтобы не скрипела. Единственная не переносила стонов нашей старой кровати.

«Своим голосом-скрежетанием кровать мешает мне забыть о реальности, — каждую ночь жаловалось мое солнышко. — Давай купим нормальную, как у людей, тахту. Ты бы посмотрел, как соседка и сосед с нижнего этажа смотрят на меня в лифте. Я чувствую себя воровкой, укравшей у них кусок их счастья…»

— А меня скрип подбадривает. В нем я чувствую особый ритм. Скрип, словно метроном, помогает сверять правильность моих движений, — донимал я Единственную глупой защитой старой кровати, которая и меня достала, словно зубная боль.

— Максимка, давай купим тахту?! Широкую, как ипподром, надежную, как скала, — все чаще и чаще умоляла меня моя девочка.

И мы купили вот эту тахту, которая теперь, без Единственной, кажется лишней в квартире. Но я все равно не могу привести и положить на нее женщину с улицы, любовницу из Интернета. Кажется, что если это произойдет, то рухнет потолок, сдвинутся стены и мой дом запечатает меня и ни в чем не повинную любовницу, словно сосиски в вакуумную упаковку. Так проходят дни и ночи осиротевшей, остывшей тахты. Она равнодушно-холодно вечером принимает мое тело, а утром выталкивает, чтобы с облегчением выдохнуть поролоном. Мол, отбыла повинность. Беги на чужие, мягкие или жесткие, мне, тахте, неинтересно.

Кстати, я уверен: Единственная изменяла мне на ней. И тахта не вздыбилась, не сбросила с себя блудницу. Союзница! Потому что тахта и женщина — одного рода. Грешница прикрывает грешницу. Только так они могут выжить. Наша тахта (нет, теперь только моя) светло-оранжевая, теплого, домашнего цвета. Но я на ней чувствую себя синим китом в холодных водах океана. Сейчас, когда остался один на один с собой, без моей Единственной…

Мне, как и друзам, народу, который живет в Израиле, хочется верить в инкарнацию. Только поэтому не пишу имени Единственной на белоснежном ватмане и не пристегиваю его к стене над тахтой. Какой смысл овеществлять то, что возродится снова, пусть и в новом облике. Друзы хоронят своих покойников лишь бы как, без могил и крестов, без надгробий. Не видят проклятого смысла там, где, по их мнению, его быть не может… Кто бы сказал, какой смысл мне лелеять образ Единственной, прикармливать его слезами, солью переживаний, посыпать сахаром надежды, вдыхать в мертвое, образно говоря, тело воздух из своих легких. Весь смысл в абсолютной бессмысленности. А в моей душе осень с беспокойным листовеем…

Помню, как когда-то, едва ли не в первый год совместной жизни, Единственная, не то шутя, не то всерьез, заметила: женщине иногда легче и проще отдаться мужчине, чем объяснить, почему она этого не хочет, не желает. Мы наблюдали в тот момент за собачьей свадьбой недалеко от дома, у лесопосадок. Мы любили там прогуливаться по вечерам. Измученная сучка стояла в стае разгоряченных животной страстью собак и, безучастно опустив голову к земле, принимала каждого, от замызганной таксы до какого-то крючковатого немецкого овчара. Тогда Единственная и произнесла эту фразу, после чего, отвернувшись, поспешно пошла прочь от собачьего счастья. Я пропустил ее слова мимо ушей, а сегодня чувствую в них глубокий смысл. Так могла сказать женщина, которая знала об «отдаться» не с чужих слов, но из собственного опыта. Сладкого или горького — уже не узнать. Насколько важна наблюдательность! Мне всегда было тебя мало, Единственная. Неужели я, словно Эдгар Кейси, видел наперед, лучше сказать — чувствовал: любое счастье (и собачье, и людское) недолговечно. Не дольше взмаха ресниц, вдоха и выдоха, не дольше удара сердца. Ненасытное время молотилкой поглощает-пожирает то, что казалось бесконечным, вечным. А на поверку это всего лишь мгновение. Крошечное, как маковое зернышко.

Я помню все дни, прожитые вместе. Вчера не пошел на работу. Сказал начальнику — заболел. Чахоткой. Шучу. Меня и в самом деле в последнее время мучает головная боль. Возможно, давление. Не проверялся и не собираюсь. Скорее всего, как и мама, буду гипертоником. Ну и что? Кто-то живет с сифилисом, а я стану жить с гипертонией. Все-таки не один… Так вот, вчера во второй половине дня ходил к нашему озеру за кольцевой. Теперь для меня все те места «наши», где мы гуляли вместе. Мне кажется, что на земле, траве, асфальте остались отпечатки твоих подошв. Их не затереть тысячам ног других женщин. Я не могу молчаливо отпустить тебя… Пока не могу сказать «прощай». Чем дальше

отодвигается расставание, тем пронзительнее пустота, заполнившая мое тело… Как и раньше (это было нынешней весной!), я шел через ржаное поле к озеру. Тогда, помнишь, рожь начинала колоситься. Ты еще нарвала пучок колосьев. Высохший, с неспелыми зернышками в колосках, букет и сегодня стоит в глиняной вазочке на журнальном столике. Вчера рожь встретила меня равнодушно (а когда мы с тобой приходили, она с шепотом колыхалась под трепетным крылом ветра), желтой созревшей стеной. Над стеблями торчала только моя голова, похожая на одну из труб гнетущей, пугающей ТЭЦ, разместившейся неподалеку. Рожь, озеро, я и ТЭЦ. Вот таков теперь мой маленький мир. Кажется, он может поместиться на ладони. Твоей ладони. И ему будет довольно просторно. Но я не о том. Не смог больше пяти минут оставаться на берегу озера с тягучей водой, в которой на песчаной отмели мельтешили мальки. Беззаботные. Счастливые в своей беззаботности. За час до этого казалось, что здесь, у озера, смогу развеяться, окунуться в сладкое воспоминание о нашей беззаботности и нашей повседневности, обыденности, которая меня (теперь понимаю) никогда не угнетала. Но меня со всех сторон окружила животная, собачья растерянность. Наверное, только брошенные хозяевами собаки чувствуют такую безысходность. В ней можно захлебнуться, утонуть на половине вздоха… Чтобы расколоть, разбить ее, я запел. Ты же знаешь, мать и отец не наградили меня голосом, но я что-то бубнил под нос. Не осознавал слов, не узнавал мелодии, — только неразборчивые звуки вырывались из гортани. Я онемел и оглох без тебя, Единственная. Похотливая шлюха, неверная сучка… Что говорю, зачем? И ради чего? Чтобы легче стало… Нет, не ты Одиночница-Печальница, а я. Это я изгнанный из прайда, старый, обессилевший и израненный лев. Когда-то — твой лев. Проведи изящной ладонью по моей гриве. Спутай волосы, чтобы сломались пластмассовые зубчики расчески… Рядом, за кольцевой, — многомиллионный город с бесконечностью людских судеб, и ты вплелась в них, связала нить своей жизни с нитью другого, умело, тугим узлом. У меня пока не получается. Целый месяц бросался на легкое, доступное, податливое… И что в итоге? Опустошенность. Бездорожье. Может, это не мой путь? Не знаю, пока не знаю. Чувствую, что сам себе становлюсь противоположностью. Выщербленная шестеренка в слаженном механизме. Хоть в пропасть с головой. А еще утверждают, что мы, мужчины, не СТРАДАЕМ. Да гори оно все огнем. Ясным синим пламенем! Знаю, что физиология и душа — разные понятия. Там, где бал правит животное начало, душе делать нечего. Аксиома. Попробуйте оспорить. Нет, не надо говорить о гармоничном сочетании одного с другим. Миф. Красивый. Своя боль самая сильная. Снова аксиома… Озеро я покидал почти бегом. Убегал от глухой, как февральская ночь, тоски. Убегал от мысли, что при всех своих недостатках, извращенности, подлости… — ты, моя Единственная, самая совершенная и идеальная из всех женщин, которые жили, живут и еще будут жить… Ничего не поделаешь, вот такой я недалекий, самолюбивый, бездарный. Ты же — само совершенство. По крайней мере, для меня…

Кто-нибудь видел, как утром, едва начинает всходить солнце, темное небо с краев постепенно проваливается в свет? Нет? Жаль. Не поленитесь, проснитесь июльским утром в четыре утра, поднимитесь на крышу дома и уловите момент восхода солнца. Тот момент, когда ночь поглощается светом… И я не хочу пропустить той минуты, когда моя безысходная тоска, словно ночь, начнет светлеть, наполняясь розовеющей синевой… Единственная исчезнет из сердца, сознания, памяти… Верю, что так будет. Другое дело — пока этого не хочу.

Вы ошиблись, если подумали, что я упиваюсь своими страданиями, любуюсь ими, раздуваю угасшие угольки ушедшего благополучия, надежно-

сти, покоя. Я взрослый. Понимаю, что все когда-нибудь кончается. Неважно, плохое или хорошее, все имеет логическое (но логичное ли?) завершение. Ибо каждое предложение требует точки… Я успокоюсь. Возможно, когда-нибудь даже усмехнусь по поводу себя теперешнего, а образ Единственной легким туманом растечется по лицам и фигурам других женщин и девушек. Не ищите алогизмов в моих рассуждениях. Вы их найдете при желании. И довольно много. Суть в другом: мы любим свои страдания и часто выставляем их напоказ. Достойной нас публике, дабы показаться лучше, чем мы есть, приблизиться к святости. Вот только к чьей и какой святости? Об этом не задумываемся.

Через страдания мы, наверное, избавляемся от своей серости, муравьиной обыкновенности. Приобретаем ореол. Но зачем он нам в наших буднях? Будет мешать, натирать, давить. Наконец, ослеплять ближних, раздражать их. Тех, у кого пока нет призрачного ореола…

* * *

Мысли мои были чистыми и светлыми, как личико младенца…

* * *

На сайте «Знакомства» девушки и женщины часто предлагали оставить номер мобильного телефона. Скольким отправил по электронной почте номера своих телефонов — не помнил. Да это и неважно. Правда, тем, у кого не было фотографии, я корректно отказывал. Ссылался на «принципы»: вы мое лицо видите, я ваше — нет. Мол, неловко общаться с невидимкой. Звонков было много, в основном — на мобильный. Договаривались о встрече, о месте и времени. С некоторыми списывался по электронной почте. Но ничего удобнее мобильного светлые головы пока не придумали. Человек с мобильным — мобилен. Не принял я слова «далькажик», так это удобное электронное средство общения предлагал называть один наш утонченный литератор. Слишком искусственно звучит. Да и не в дальности сказанного дело. Но это так, между прочим. Главное, найти друг друга. Связаться: тебе — с ней, а ей — с тобой. Я даже привык носить телефон в кармане, что раньше мне было не свойственно. Это как в той присказке: назвался груздем — полезай в кузов. Хотя уже и сыт был по горло разовыми встречами, но каждый вечер словно магнитом тянуло меня к компьютеру, выходу во всемирную паутину. Иногда казалось, что это я паук, и ко мне через коробку модема тянутся тысячи паутинок с запутавшимися козявками, мушками-мошками. Успевай только заглатывать, переваривать и забывать.

Тем вечером, приняв горячую (почти кипяток) ванну, выпив чаю с лимоном и взглянув со вздохом на сиротливую тахту, наш с Единственной ипподром, включил компьютер. Вечером собирался остаться дома, пообщаться с виртуальными красотками, но ни в коем случае никуда не ползти. Даже если клеопатроподобная обольстительница пригласит расслабиться. Мне хотелось погрустить…

От адской машины оторвал звонок мобильного. Поначалу хотел проигнорировать его зов, но он не умолкал, требовал уважить «звонаря».

— Слушаю.

— Максим?

— Я.

— Это Алена. Ты оставил на моей страничке номер своего мобильного.

— Ага, — соглашаюсь, а сам начинаю шерудить в памяти, мысленно перелистывая электронные страницы с фотографиями и именами. Ален было несколько. Которая из них звонит?

— Мы можем сегодня встретиться? — голос мягкий, доверчивый, красивый, если можно так сказать.

— Да я не собирался из дома выходить, — говорю правду.

— А если подумать, — настаивает незнакомая Алена.

— Много дел накопилось, — отнекиваюсь неуверенно. Сам же щелкаю мышкой по снимкам в «Моих сообщениях». Ален четверо. Которая из них? Пытаюсь схитрить (так мне кажется).

— Ты не перекрасилась в блондинку? — (Три Алены темноволосые, только у одной белые волосы.)

— Вот пройдоха! Запутался в Аленах? Я от рождения русоволосая и такой же осталась. Не спеши, рассмотри.

У меня запылали кончики ушей. Оказывается, я предсказуем.

— Что решил?

— Место есть? — лобовой прием. Если виртуальщица или девочка, которая жаждет романтической любви, — сразу отвалит.

— Есть.

— В каком районе живешь? — стандартный вопрос.

— Козырьковая горка.

— Совсем рядом. Так и есть. Пять-семь минут пешком, через лесопосадку. — Говори номер дома и квартиры. — Решение спонтанное и неожиданное для меня самого. Это как перейти улицу в месте, где нет светофора. Ты терпеливо ждешь, пока проедет показавшаяся вдали машина, чтобы перебежать через проезжую часть. Но вот она, машина, метрах в десяти-пятнадцати от тебя, а ты вдруг срываешься с места и сломя голову, перед самым бампером мчишься на противоположную сторону. Бездумно и рискованно. Невидимая сила толкнула тебя в спину. Ты ошарашенно стоишь, и до тебя доходит — был на волосок от непоправимого.

— Не задерживайся, — голос утонул в шумах.

…Я перед дверью стандартной «хрущевки». Палец привычно нажимает на кнопку звонка. Плавно открывается железная дверь, и я вижу свою Единственную, свое солнышко. Отшатываюсь всем телом. Заложило уши, оборвалось и покатилось по лестничной площадке мое сердце. Обескровленное и исстрадавшееся. Я плачу.

— Здравствуй, радость моя, — любимый, родной голос доходит до моего сознания. — Это я. Твоя Единственная. Прости, что воспользовалась помощью и страничкой подружки-одноклассницы…

* * *

Когда мы мстим, обретаем ли мы душевный покой, равновесие, уверенность?.. И кому мстим?! Мстим себе…

* * *

А примириться с ветром можно. Знаю.

Перевод с белорусского Ирины Шевляковой.



АНАТОЛИЙ ЦИРКУНОВ

О соле мио

О мое солнце

В туннеле метро, где толпой
Снует народ торопливо,
Поет под гитару слепой:
«О соле! О соле мио!»

Аисты Чернобыля

Аисты теряют силы тоже,
Что живут у Припяти и Сожа.
Кто ж детей нам в клюве принесет,
Кто полешуков моих спасет?

* * *

О, если б только мать моя
Из гроба встать могла живая…
Отсек бы руку себе я,
Которой хлеб свой добываю.

* * *

Я нес, пока были силы,
Свой крест, спотыкаясь в пути,
И вот донес до могилы.
Куда его дальше нести?

Проводы

Скоропостижно умер дед.
Душа навеки отлетела
В страну, где нет житейских бед.
Из дома выносили тело.

Несли смиренно и степенно,
На лицах значимость храня,
Сыграли скорбный марш Шопена,
Но не заплакала родня.

Умолк оркестр. И тут завыла
Собака — верный дедов пес,
Да так, что в горле защемило
И стало муторно до слез.

ВЛАДИМИР СТЕПАН

Акварельные рисунки. Дед

Повесть

Сердцем помню только детство:
Все другое — не мое.
Иван Бунин

Земля. Мой восьмидесятилетний дед решил умирать, вдруг сильно занемог. Болело «нутро». Слег он в конце февраля, а я, семиклассник, приехал в деревню только после мартовских праздников. Дед приказал, чтобы я взял лопату и сходил на деревенское кладбище. Проверил, как глубоко там земля оттаяла, ведь сам он из дома выбраться не может. И потом пояснил: чтобы мужчинам-могильщикам было не тяжело яму копать, а то если земля еще мерзлая, как камень, то ее ломами бить доведется…

Взял я лопату. Надел ватник, натянул сапоги и двинул через огород, а потом напрямик, по топкому полю, к невеселому и неуютному кладбищу. Шел, еле ноги с земли мартовской выдергивал. Дотянулся. Постоял на твердой корке слежавшегося снега. Поковырял землю. Она была, как темные заплаты, между елями зелеными и березами голыми. Развернулся и пошел по своим же следам к нашему дому. Дед огорчился. Покряхтел, застонал, когда узнал, что земля только чуть больше, чем на штык лопаты, оттаяла. Я не врал, так оно и было…

Через неделю дед топал по двору и разбивал тяжелым ломом слежавшийся и темный снег под забором и на дорожках.

* * *

Кузница. Конь красный, даже золотой. Звать коня — Сокол. На лбу белая звезда. Он, как все красавцы — капризный, злой. Я хотел дать яму корку хлеба с солью, пока дед аккуратно укладывал на телегу разное железо. Сокол корку съел и несильно укусил меня за плечо. А потом мы поехали с дедом в кузницу. Это далеко-далеко — за лесом. На все мои вопросы дед отвечает подробно и охотно. Только ни вопросов, ни ответов не запомнил. В лесу дед передает мне, шестилетнему, вожжи. Вот потому я и счастливый, а у всех счастливых — память поверхностная. Дергаю широкие вожжи, покрикиваю. Сокол бежит по лесной дороге. Хвост его черный болтается перед глазами. Телега подпрыгивают на корнях, которые выпячиваются на дороге, будто жилы на дедовых руках. Странно, но запомнил из той поездки мало. Из темного леса выезжаем — большое поле и огромное-преогромное летнее небо с белыми облаками.

И еще запомнил, как дед тогда сказал, что, когда его не будет, то я стану жить вместо него…

Тогда меня проблема бессмертия совсем не занимала, а вот оводы на вспотевшей спине коня казались врагами. Я их убивал, убивал...

* * *

Имя. Меня назвали по деду. Помню своего деда Владимира хорошо. Он умер, когда мне шел двадцать первый год. Ни разу дед не обругал меня скверным словом, не обидел. Не ударил и родителям не позволял на меня кричать. Ни разу, когда я сидел за книжкой или рисовал, не выключил свет, не приказал и даже не попросил, чтобы я пошел и занялся делами по хозяйству. Он относился к книгам и рисованию с невероятным уважением. Он научил меня косить, клепать косу и точить ее шершавым бруском. Пилить и колоть дрова, пахать и бороновать, водить лошадь и ходить за плугом, впрягать и выпрягать лошадь, правильно валить дерево, да так, чтобы оно не застряло и не поломало другие, меньшие. Он терпеливо показывал и объяснял, как и что должен делать мужчина. И он радовался и усмехался в усы, когда видел результат своей крестьянской науки…

Он сделал мне маленькую лопату и косу под меня. И молоток у меня был свой — ловкий, маленький, с ясеневой ручкой. Казалось бы, ну что мне, городскому человеку, с той крестьянской науки, где я могу применить ее сегодня? Но за каждым с этих занятий стоят земля, лес, луг, животные и птицы, дождь и снег. За ними прячутся родные слова. И не важно, что сейчас многие почти ушли из обихода, сделались древними. Но музыка сохранилась… Та настоящая, единственная… Не российская и не литовская, не польская и не украинская, а своя.

Хотел написать про деда, а написал про воспитание…

И это справедливо.

* * *

Слова. Дед знал названия всех трав, птиц, цветов, зверей, инструментов, звезд, дорог и тропинок, мест в лесу и на болоте, на лугу…

По стружке мог сказать, с какого она дерева, со старого или молодого… Он не отмахивался от моих вопросов, а разговаривал со мной, как со взрослым. И с моими ровесниками он говорил так, как со своими…

Я забыл тысячи родных слов. Тех, пророненных, промолвленных дедом длинными, осенними вечерами, долгими летними днями на полевых и лесных дорогах. Жалею, что невнимательно слушал, что не записывал, что не сберег…

Но я знаю, что многие слова припомню, когда возьму в руку или прикоснусь взглядом: к травинке, к дереву, к куску камня, увижу во сне, попробую на вкус…

И тогда я опять услышу голос деда. И возвратится то чувство легкости и надежности. И почувствую под ногами землю. И перестану тогда мучить свою душу неодолимыми вопросами…

Я посмотрю на деда, загляну в его синие глаза, и он скажет: «А это, внук, рэзгины… Снимай их со стены, и пойдем по солому…»

* * *

Возраст. Вечер долгого летнего дня. Мне лет семь или восемь. Дед, в свои восемьдесят, еще крепкий мужчина. Сидим на скамейке за столом, разговариваем — у старого с малым всегда есть про что. Дедовы руки лежат на светлой льняной скатерти. Большие, жилистые, натруженные, крепкие и одновременно ловкие. Кожа на них, как пергамент, как поверхность дубового листа — скользкая. Рассматриваю извилистые жилы. Дотрагиваюсь и пальцами сжимаю кожу над суставами…

Она не расходится, остается стоять, как скомканная…

Удивляюсь и щипаю себя за руку. Дед смеется, а я пугаюсь. «Старый я, Володька, и кожа на руках старая, твердая. Иди ложись, что сидеть без дела», — говорит дед и встает из-за стола. Долго не могу уснуть — боюсь кожи, такой, как у деда.

Вчера гуляли с дочкой. Она сжала кожу на моей руке и, удивленная, притихла. Как я — давным-давно.

* * *

Время. В дедовом доме были одни часы. Ходики с нарисованными медведями, с гирьками на длинной черной цепочке. Заводил часы дед — внукам не позволял, чтобы не испортили. Когда деда не было — часы останавливались. Баба попробовала завести часы — сломала. Рядом с часами висел отрывной календарь. По ночам дед поднимался с кровати посмотреть, сколько времени. Меня удивляло тогда и удивляет сегодня дедово уважение ко времени. «Вот день сделался на пять минут большим» или «на десять стал короче, равным с ночью…» — говорил он перед часами, как перед иконой. Никуда опоздать мой дед и баба не могли. Откуда у них такое уважение к минутам и часам? Какая им разница, насколько короче этот день, чем предыдущий, или насколько длинней. Корову выгоняли не по часам, спать ложились по солнцу… О делах договаривались так: «Зайду, как позавтракаете, принесу, как коровы придут, заходи в полдень, увидимся, как почту привезут…» С неподдельным вниманием слушал дед по радио сигналы точного времени и поправлял ежедневно черные стрелки. Бранил часы, когда те начинали спешить или опаздывать. Часы должны были всегда показывать точное время.

Когда дед умер — часы перестал тикать. Они так и висели, с неподвижными, как нарисованными, стрелками. А баба моя даже замечать их перестала…

* * *

Клад. Сколько себя помню, столько помню и черный сундук своей бабы. Он стоял на одном и том же месте — под окном, между диваном и шкафом.

В том огромном и емком сундуке я мог при желании спрятаться. Сделан он был из дубовых досок, а потому кроме крестьянской громоздкости имел невероятный вес. Однажды за него залетела монетка. Отодвинуть сундук от стены я не сумел. Позвал двоюродного брата, но и вместе ничего поделать не смогли. В черном сундучке, кроме всего прочего, лежали конфеты. Чаще подушечки или карамельки. Но конфеты меня не всегда интересовали. В черном сундучке я искал деньги.

А где же они могут быть, если не там? Мне, когда бабы с дедом не было в доме, всегда хотелось поднять за кованое кольцо тяжелую крышку… Сверху сундук был черный, блестящий, а внутри светлый. На досках крышки, с внутренней стороны, химическим и обычным карандашами, неровными строчками шли записи, сделанные дедовой рукой. Строчек с цифрами — датами было много. «Случка…», «Рожь посеял…», «Отел…», «Опорос…», «Копали бульбу…», «Садили бульбу…», «Рожь жали». Ежегодно надписей добавлялось. Новые слова и даты писались поверх предыдущих. Я спросил деда: а отчего он не пишет в тетради? Дед чуть подумал, а потом пояснил, что календарь или тетрадь могут потеряться, а сундук не пропадет, не исчезнет. Странно, что деньги ни дед, ни баба в черном сундуке не держали. Баба прятала деньги

в подушке. А дед клал пенсию в жестяную баночку, которая стояла в ящике стола, под иконами. Так что в клады, хранящиеся в сундуках, я перестал верить еще в детстве.

* * *

Пила. Мы с дедом пилим дрова. Мне годков семь. Пилит дед, а я помогаю. Тягаю обеими руками огромную черную пилу, напрягаюсь, стараюсь. Острыми зубами вгрызается черная пила в березовое бревно, струйками сыплются опилки. Дерево твердое, а опилки мягкие и душистые. Мне это нравится. Я люблю работать с дедом на пару. Он не поторапливает, не ругается, когда что-то не получается сразу. Дед хороший…

Еще у черной пилы новая отполированная ручка. Гладенькая такая, ее приятно сжимать пальцами. Пила едва ли не больше меня. Она угрожающе гудит и вздыхает, бывает, выгибается, когда застревает в бревне. Мы уже напилили много. Я немного устал, но не признаюсь. А дед берет следующее бревно, кладет его на козлы, прикладывает к бревну пилу. Полено должно быть вполовину полотна пилы. Я отмечаю на бревне черточкой то место. Карандаш заменяет кусочек угля. Начинаем пилить. Помню, что, когда пришел двоюродный брат Миша с фотоаппаратом, дед отставил пилу и взялся застегивать на рубашке ворот. Дед не мог сфотографироваться непричесанным, неубранным, а мне было без разницы. Миша поставил нас рядом с козлами. Мне дал в руки пилу. Отошел на пять шагов, опустился на колено. Щелкнул. Остался фотоснимок. Нет моего деда. Нет той пилы. Давно сгорели и дрова, что мы напилили. Осталось воспоминание: про тот летний день, про деда Владимира, про запах опилок и новую ручку для пилы, которую сделал дед, чтобы мне было удобно ему помогать.

Это можно нарисовать.

Только рисунок, как и фотоснимок, не вместит всех тех чувств, которые вызывает в моей душе такая простая и совершенная вещь, как большая черная двуручная пила.

* * *

Рукопожатие. Бывало, что мне не подавали руки, случалось — и я не подавал. Пожать руку — мужской жест, поступок…

Со своим дедом всегда здоровался за руку. Не было объятий, и слез не было. Только пожатие. Сильное — мужское, теплое, надежное, кровное… С первых лет своей еще не очень сознательной жизни и до последних встреч мы с дедом здоровались рукопожатием, смотрели в глаза. Через то приветствие мне передавались сила и спокойствие. Я мог приехать в деревню неожиданно, увидеть деда, занятого делом. «Подожди, руки грязные…» — говорил он чуть виновато и старательно мыл свои большие руки. Вытирал, а потом мы обязательно здоровались. Так было… «Здравствуй, дед!» — сжимаю пять пальцев правой руки. Они хватают холод и невесомость. Можно сжать три пальца, словно бы в попытке схватить невидимую паутинку. Дотронуться до лба, а потом… Но это про другое, про прикосновение, а не про рукопожатие.

* * *

Фреска. Мацак, Сокол, Плисица, Малыш, Бэня…

В свои пять лет я знаю имена всех колхозных лошадей. Они все как один — красивые, а Мацак — самый красивый, ведь именно на него посадил

меня дед. Я держусь за спутанную гриву утомленной лошади. Мацак идет тяжело, глухо топает копытами по утрамбованной дорожке. Мацака ведет дед. Он сдерживает норовистого коня. Проплывают заборы, изгороди, гуси, облака, яблоки… Я прошу деда, чтобы он дал мне замусоленный потными руками повод. Но дед знает, что лошадь может побежать к конюшне, может испугаться, может вдруг остановиться. Потому и не дает уздечку. Они идут мерно, шаг в шаг. Мой дед и серый огромный конь. Они шагают величественно и торжественно, празднично. И мужчины, и женщины, и почтальон на велосипеде завидуют моему деду Владимиру, ведь его пятилетний внук Вовка сидит на коне, как клещ, и не падает. Когда мы будем возвращаться с конюшни, то мои ладони будут пахнуть лошадью, а уставшие ноги чуть-чуть подгибаться.

* * *

Смерть. Первое мое столкновение со смертью и покойником произошло в 1963-м. Начало лета. Зной. Умер двоюродный брат моего деда Кондрат, или, как его называли в деревне, Круль. Дом покойника стоял через один от нашего. Он был хорошо виден из наших окон. Вокруг дома росли огромные березы...

Мне и пяти лет тогда еще не было. Дед взял меня на похороны. В доме висел невыносимо тяжелый дух. Гроб занимал всю длинную скамью. Я подошел к причесанному, побритому деду Кондрату, чтобы лучше его рассмотреть. Он лежал с закрытыми глазами. До этого мне не доводилось видеть умершего человека. Свинью видел. Жаб, птиц, змею, убитую соседскую собаку…

Я оказался лицом к лицу с дедом Кондратом. Из восково-серого уха покойника торчали длинные седые волосы. Кто-то открыл двери. Потянуло сквозняком, и седые волосы зашевелились. Я заплакал как резаный. Дед вывел меня во двор и сказал, что не надо бояться покойников. Он посадил меня на телегу, стоявшую во дворе, а сам сел рядом. Из того, что дед говорил, хорошо запомнил про траву, которая растет, становится большой, а потом сохнет…

Разговор про сухую траву меня успокоил, ведь ее не было жалко. (Паскаля мой дед не читал. Это — точно.)

Когда я учился на художника, то много раз рисовал и писал красками подворье деда Кондрата, старые громадные березы, заборы, огород и сад, соломенную крышу хлева, зеленую траву. Получалась трагично — всегда.

* * *

Тьма. Конец ноября, начало декабря, особенно когда они черные и бесснежные, мой дед не любил. Разумеется, что дед не исключение. Старые люди и в городе это темное время не уважают.

* * *

Икона. В дедовом доме было три иконы. Одна — на доске. Деду ее дал отец на свадьбу, а до того времени она висела в хате моего прадеда. Краски почернели, и тяжело было рассмотреть образ Марии в гранатово-коричневой одежде и маленького Христа, к которому она склонила голову. Я решил икону чуть подновить. Дед не возражал. Я взялся за дело. Бабе мое намерение не нравилось, но она лишь недовольно качала головой и старалась проходить за моей спиной быстро. На доску не смотрела. Вся работа заняла три дня. Получилось ярко и звонко. Одежды я перекрасил из красного в голубое, гряз-

но-белое сделал снежно-белым, головы и руки — золотистыми. Деду веселая икона понравилась, а баба и слова не промолвила. Прошел год. Следующим летом я окончил художественное училище, в институт поступил. Глянул я на ту икону, и не понравилась она мне.

Прошлогодняя краска отходила легко, как корка с зажившей раны…

Засветились старые краски, проступили цвета яркие. Не гранатовыми были одежды Марии, а красными… Баба достала новенькое полотенце из своего сундука, самое красивое и нарядное, с птицами и цветами, а дед отреставрированную икону сам в угол повесил.

* * *

Молитва. Ни дед, ни баба молиться меня не учили. В молодые годы дед пел в церковном хоре. Однажды он рассказал длинную молитву. Это произошло, когда я болел. Я лежал в кровати под ватным одеялом и смотрел на коврик. На золотых большерогих оленей, на синюю воду, на кудрявые облака и дивные деревья…

Дед сидел рядом, гладил мое плечо и неторопливо говорил. Многие непонятные слова не давали уснуть…

А снились мне тогда олени и блины.

* * *

Голос. «Летом дни хотя и длинные, а все поделать не поспеваешь, а зимой дни короткие, а вот ночи длинные, всю жизнь вспомнишь-передумаешь», — говорил дед и отворачивался от окна. От сумрачного бесснежного пейзажа. Мне же тогда было хорошо, тепло и уютно. И голос дедов звучал уютно. И звучит…

* * *

Межа. Не скажу, весной то случилось или по осени. Дедов огород граничил с огородом нашего соседа Лявона. Сосед нарушил межу, отхватил борозду, а может, и две — вспахал границу. Лявон — мужчина высокий и моложе моего деда лет на двадцать пять. Дед начал объяснять соседу, что межа — не его земля, что половина ему не принадлежит. Лявон оттолкнул моего деда, ударил в грудь. Дед упал. Сосед дернул вожжи, стеганул лошадь и пригнулся к плугу. За межу, за узкую полоску ничейной земли поссорились взрослые люди. Перестали разговаривать. Своя земля и земля соседа…

Мне было лет семь, и заступиться за деда я не мог, но обида на дядьку Лявона, на отца моих деревенских дружков: Толика, Стасика, Шурки — осталась.

Рядом с деревней началась мелиорация. Наш сосед устроился на «канавы». Он их окашивал, приглядывал, ровнял. Там и простудился в осенней воде. Заболел. Отнялись ноги. Дядька Лявон лежал в постели целый год. Ходить не хватало сил, ноги не держали. Мне было лет тринадцать. Я зашел к соседям в дом. Дядька Лявон попробовал сесть в кровати. Он хватался за грязное полотенце, навязанное в ногах, к спинке кровати. Он хотел со мной поздороваться, как взрослому подал руку. А я не пожал его широкую ладонь с темными пальцами и грязными ногтями. Только спросил про одного из его сыновей и вышел из дома, где гудели мухи.

Домотканое полотенце повязали соседу на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на крест моему деду.

Они лежат рядом, как и жили.
Межа. Борозда. Кладбище. Беларусь…

* * *

Лекарства. «За муравьями» мы ходили с дедом. Закапывали в муравейники поллитровые бутылки, а через день забирали полные рыжих лесных муравьев. Помню, как дед опускал на муравейник руки, как их облепливали большие муравьи. И я свои руки в цыпках опускал и ждал-терпел, пока на них муравьи соберутся. Потом быстро растирал. Ладони долго и остро пахли раздавленными муравьями. Мы приносили бутылки домой. Дед выдавливал из муравьев сок. Процеживал. Тот грязно-коричневый сок настаивался на самогоне, а потом им мазали спину, плечи, руки, ноги, шею. Дед считал, что это лучшее средство от ревматизма. Мне нравился яркий аромат тех самодельных лекарств. И даже когда у меня ничего не болело, то я просил, чтобы дед или баба помазали мне спину, натерли плечо, а спать положили не на кровати, как обычно, а на печи. Последнее время иногда болит правая рука… И тогда я думаю про суетливых рыжих муравьев и своего деда. Боль чуть отпускает, будто дед прикасается к моему плечу.

* * *

Киёк и цапок… Стояли при дверях в сенях. Отполированные дедовыми руками… Такие родные слова.

* * *

Капкан. В дедовом доме имелась кладовая. Часть сеней была отгорожена высоченными и толстыми досками. Цвета странного — золотисто-красного. Доски те не ровно напиленные, а колотые. В кладовке стоял сундук, дежки, бочки, хомут, вожжи, веревки, косы... Ящики со столярным и плотницким инструментом. На жердях висели окорока, на полках — мешки: с солью, зерном, банки…

И еще из кладовой на чердак вела лестница… Не помню, что мне понадобилось в темной кладовой? Может, гвоздь, а может, кусок проволоки или уздечка…

С высокой полки на меня, восьмилетнего, прыгнула крыса. Огромная и тяжелая, как кот… Испугался я сильно, упал, закричал. А на следующий день баба показала деду прогрызенный мешок и рассыпанное по полу зерно. Дед принес из-под навеса, где лежали дрова, старый ржавый капкан. За ним тянулась такая же ржавая цепь. Два дня дед ремонтировал старый капкан, а я помогал: то кусачки подам, то напильник, то молоток…

Сделали. Несколько раз длинной щепкой испытали. Капкан щелкал и молниеносно, треугольными зубами перекусывал щепку. Цепь прикрутили к лестнице, а капкан с куском свиной шкурки поставили на полку, рядом с ящиком с соленым салом. Мне заходить в кладовую запретили, но я туда и не хотел. Испуг от встречи с огромной крысой пока еще не забылся. Три дня охоты прошли безрезультатно. Мы с бабой устали ждать. А дед растерянно разводил руками, пожимал плечами… Я стоял во дворе и пил из-под колонки студеную воду. Сени раскрылись. На крыльцо вышел дед. Он держал ловушку за цепь. Железные челюсти сжимали огромную крысу с коротким хвостом. «Вот и попалась, глянь на нее — беременная… А капкан хороший». Дед взял под навесом лопату, и мы пошли закапывать крысу под забор. А капкан дед повесил высоко под крышу кладовки, челюсти скрутил проволокой, чтобы я, не дай бог, не разжал.

Мне радостно, когда вспоминаю те дни.

* * *

Мячик. То, что земля круглая, мне рассказал дед. На моем красном мячике он и показал, что если пойти в одном направлении, то обязательно придешь в то место, откуда отправился в путь. Конечно, деду своему я поверил. На следующий день и решил проверить его слова. Утром я вышел в свое кругосветное путешествие. Мне было пять с половиной. Выгон. Лес. Дорога. Главное, идти и не сворачивать. Я шел и шел.

Меня нашли поздно вечером. За четыре километра от деревни… Привез на лошади дядька Кондрат. Я узнал знакомого коня Мацака и подошел, чтобы погладить… А деревенские люди, дед с бабой, даже все колодцы обыскали, и по лесу ходили, аукали-аукали…

Если быть честным, то сегодня для меня и не очень важно, что земля круглая.

* * *

Армия. Был пасмурный осенний вечер. И мой дед был хмурым, и его сырой ватник. Мы с дедом стояли на шоссе, под старым тополем. А по мокрой дороге, какую нам надо перейти, ползла армейская техника. Большие машины, крытые темным брезентом, выдыхали дым, гудели, ползли, не останавливались. Мы с дедом стояли больше часа, а техника все шла и шла. В кузовах сидели утомленные солдаты в пилотках. Не знаю отчего, а эта пасмурная картинка осталась в памяти, как и слова деда: «Пошли, внук, домой. Хорошо, что тебе в армию еще не скоро». Мы брели под хмурыми ивами и тополями, я оборачивался к шоссе, а дед больше не смотрел на машины, пушки, тягачи… Он молчал все пять километров, думая о чем-то своем.

А мне нравился запах того дыма над шоссе и его синеватый цвет…

Это был 1967 год. Сентябрь. Войска возвращались с учений «Днепр».

* * *

Молодость. Невозвратное. Приезжал в деревню к деду с бабой. Нет чтобы посидеть с ними, расспросить, послушать… Бежал к деревенским сорванцам в карты играть, на конях колхозных по полям скакать, из «припеканок» стрелять. А баба моя много песен знала, а дед мог рассказать про…

Теперь думаю, что если бы удалось возвратиться назад, то сидел бы с дедом и слушал, слушал…

От некоторых бабиных песен остались в памяти только мелодии и слова. «Про кукушку серую, про воду студеную, про девку неразумную, неразумную мо-ло-дую…» Может, песня та и про меня пелась, но не понимал. Мо-ло-дым был…

* * *

Кресты… Мой дед родился в 1886 году. Попал на Первую мировую войну. Воевал далеко-далеко от дома — в Румынии и Турции. Его наградили тремя Георгиевскими крестами. Откуда знаю? Видел две фотографии. На одном снимке дед мой молодой и красивый в гимнастерке, а на груди два креста, а на втором — в длинной шинели, на груди — три креста. Четвертый получить не успел…

Деда на той войне сильно контузило. Снаряд попал в котел с едой. Погибли все, а деда даже осколком мелким не царапнуло, не зацепило. После кон-

тузии слышать стал плохо. С этим и прожил долгую жизнь. Войну ненавидел. Я те кресты в руках не держал. Дед награды прятал и фотографии прятал. Сначала от большевиков, а когда началась Отечественная война, то и от немцев с партизанами. Спрятал кресты на огороде, потом перепрятал, да так хорошо, что и найти не сумел. Но мой отец те кресты видел, в руках держал, и тетка про кресты рассказывала. В соседней деревне Барки жил дедов друг, ни фамилии, ни имени не знаю. У того мужчины крестов было аж четыре. То он приходил к моему деду погостить, то дед ходил к нему. Надо было героям поговорить, выпить надо было хорошо… А я всегда мечтал — найти дедовы награды. Но, кроме патронов ржавых, ничего армейского на огороде не попадалось. Мне думается, что это очень по-белорусски — прятать свои награды. И еще — благословенны те пули, бомбы и снаряды, те осколки, которые никого не убили….

* * *

Тайна. Выгон, освещенный вечерним солнцем.

— А твоя одноглазая баба — тебе неродная! — крикнул, как плюнул, Лявонов Стасик и побежал, как мог быстро, огородом к своему двору. Услышал — и не мог поверить. Втянул голову в плечи и остался стоять под яблоней. То, что у моей бабы один глаз не видит, — правда, кто же спорить станет, это я и сам знаю. А вот что баба мне неродная — вранье! Как же это так, баба, которая всегда плачет, когда меня привозят в деревню, и так же плачет, когда меня забирают от нее, — мне чужая? Стасика побью. Даже не испугаюсь его старших братьев: Толика, Шурки, Костика.

Стою под огромной старой яблоней и слышу голоса. Вижу себя и тем мальчуганом, босым, глупым — и сегодняшним... Теперь я знаю правду. А вот мой отец так и ушел из жизни, уверенный, что все было именно так, как он рассказал мне, а ему его отец — мой дед.

«...Среди ночи в тридцать третьем залаял вдруг пес во дворе, постучали в окно, она подхватилась, думала, может, кто из сыновей приехал-возвратился, и полетела с печи. Побилась крепко; и голову, и плечо, и ребра, по-видимому, поломала... Слегла, а через несколько дней и умерла... Я ее даже и не помню — маленьким еще совсем был... Мне три, а твоему дядьке и года тогда не было...» — звучит, слышится неторопливый, почти не взволнованный голос отца.

Как было на самом деле, рассказала дедова дочь — девяностолетняя тетя Адарка. Разумеется, в таком возрасте ошибиться и перепутать нетрудно, но старики обычно путают и забывают день сегодняшний, вчерашний, а вот то, что было семьдесят лет назад, — помнят точно.

«...Весной, под вечер, пришли к нашему двору трое мужчин. Председатель, милиционер и один незнакомый, одетый по-городскому. Отец заметил их первым и успел спрятаться на огороде, залез в стог, за домом. Эти, что пришли, приказали, чтобы мама отдала им золото, которое, как они говорили, у отца есть. Начали искать, а когда не нашли, начали маму бить, чтобы сама показала, где тайник. Били долго: и ногами, и руками, и палкой, и наганом железным. Отец прятался, слышал, как криком кричит жена, плачут-заходятся дети... Папа потом приказал, попросил меня — свою единственную дочку — никому про то, что было, не говорить, ведь если его заберут — вся семья пропадет…»

Тетка моя послушно молчала аж семьдесят лет. А если бы умерла, то и унесла б с собой тайну смерти моей по крови родной бабушки.

А Стасику я на следующий день за оскорбление разобью камнем дурную голову. Выскочу из-за забора, перехвачу, когда он корову погонит. Стасик

испуганно убегать бросится, я следом, а когда пойму… если не догоню — швырну камнем в спину, а попаду в затылок. Старшие братья даже и не заступятся за своего меньшего.

И только моя неродная одноглазая баба, которая не знала причины моей злобы и хмурого настроения, наругается на меня и пообещает рассказать родителям. Но так и не расскажет — по-видимому, забудет. Вижу ее, идет от поля с огромной постилкой травы за спиной. Темный платок на глаза, уголки обвязаны вокруг шеи, в руке грабли, а вторая сжимает узел постилки на груди. Длинная тень ее темнеет на колючем золоте стерни. Она точно одна из тех, кого изображал знаменитый Франсуа Милле на своих сумрачных и тоскливых полотнах...

* * *

Венский стул. Отец в то время лежал в больнице. Мама его досматривала. В деревню с молодой женой мы поехали одни. Шли пять километров через лес: целовались, обнимались, говорили. Алене понравился наш чистый и светлый лес. Она с Витебщины, а там леса темные, мрачные... Но не про то мое воспоминание. Конечно, деду с бабой Алена понравилась сразу, с первого взгляда. Не могла не понравиться — была невероятно красивая.

На огороде, за яблонями, зеленел клевер. Большой кусок. Мне довелось его косить. Дед уже был старый — за девятый десяток. Я начал косить. Алена с дедом стояли около забора и смотрели. Клевер густой, коса еле тянется, еле пробивается сквозь плотную стену травы. Вечереет. Теплые августовские сумерки. Дед вдруг пошел в дом и принес легкий венский стул, который стоял на чистой половине у стола. Занес под яблоню, поставил. Не для себя принес, а для моей молодой жены. Алена, освещенная вечерним солнцем, сидит с яблоком в руках под яблоней. Я кошу клевер и чувствую ее взгляд. Дед стоит у забора и дивится на мою Алену. Я скосил весь клевер дотемна, хотя собирался оставить половину на утро. Воспоминание с венским стулом, который принес дед Владимир для Алены, остается в моей душе как одно из самых ценных.

* * *

Халва. Мне лет пять-шесть... За окном сиренево-синий зимний вечер. В печке-голландке горит огонь. Мы разговариваем с дедом про жизнь, о зайцах и волках. Я болею, а потому и желание необычное... Сижу в тепле и большой ложкой ем из стакана самодельную халву, а баба недовольно посматривает на деда и улыбается... Халву дед Владимир приготовил, чтобы угостить меня, больного. Чтобы сделать мне приятное... Брал перебранные орехи, на печке всегда стоял большой цветастый мешок. Молотком колол те орехи, потом крошил-раздавливал ядра толкачом в миске. Подливал маленько воды, а потом добавлял подсолнечного масла и сахара. Из железной миски перекладывал мягкую кашу в чашку, стакан, рюмку... Вот такую халву делал мне дед Владимир. Я ел ту самодельную халву и переставал скучать и думать о плохом.

Можно ли сейчас сделать такую халву? Нет!

* * *

Снег. Темная стена Лугинского леса, а перед лесом белое-белое поле. Можно перейти то заснеженное поле и не оставить своих следов… К лесной

дороге дед несет меня на руках… «Ну, а дальше, внук, давай сам…» — говорит он и дышит на мои озябшие пальцы.

Такой сон, но так и было.

* * *

Большая ложка. В дедовом доме ложек-вилок хватало: железных, алюминиевых. А дед упрямо продолжал все блюда есть своей большой деревянной. Для меня, малыша, она была великоватая. Всегда обливался, расплескивал, короче, не получалось у меня есть дедовой ложкой. Дед сделал мне маленькую. Славная такая получилась ложечка: удобная, легкая, веселая... Сидим с дедом за столом, из одной тарелки капусту едим. Дед в тарелке делит своей ложкой капусту надвое, и свою половину придерживает, чтобы я не съел. Спешу, спешу... Моя новая ложка тихо стучит в пустой тарелке. Здесь я понимаю, что дед меня обманул, но совсем на него не обижаюсь. Почему дед Владимир не поленился и сделал мне деревянную ложку? По-видимому, понимал, что в памяти ребенка остается только необычное, выдающееся, непохожее... Где она, та ложка? Неужели только в моих воспоминаниях и сохранилась?

* * *

Море. Моему деду Владимиру было далеко за восемьдесят, когда он попал в Буда-Кошелевскую больницу. Деду сделали срочную операцию. Поставили катетер. Молодой хирург язвительно поинтересовался: «А как много дедушка выпил за свою долгую жизнь?» Седоусый пациент чуть подумал и рассудительно ответил: «А море выпил, как есть море…» Сколько помню своего деда, а пьяным никогда не видел. А вот как он пил, так видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с самогоном, на девять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, при окне, жил ее меньший брат — зеленый графин. Рядом толпились классические граненые рюмки на сто граммов. Дед наливал рюмку, выпивал и продолжал работать. Пилил, косил, разгребал снег, подметал двор, кормил скотину... Через час заходил в дом, говорил, что устал, выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Владимир, чтобы глянуть на часы и глотнуть водки.

Я думаю, что не море он выпил за свою долгую жизнь, а все же немножко меньше.

* * *

Синий огонь. Для меня самогон пахнет детством и родиной. Мощный запах — мужской, с другими не спутаю. Хлеб, огонь, дым, глина, снег, сени…

Дед очень плохо слышал, а потому мне надо было стоять рядом с черными огромными котлами. Нижний, в который дед заливал три ведра густой пузырящейся браги, помещался на черной железной печке. На нем стоял, вверх дном, второй. Котлы обвязывались длинной и узкой тряпкой, обмазывались рыжей глиной. Из донышка верхнего котла выступала труба, а потом она пряталась в длинном корыте со снегом, льдом, водой. Из трубы висела нитка, по которой сбегал самогон. Я должен был слушать, как булькает брага. Чтобы она сильно не закипела и не «сбросила» верхний котел. Такая у меня обязанность.

Дед сидел на скамеечке и зачарованно смотрел, как журчит в банку самогон. Подбрасывал в печку дров, забрасывал в корыто снег, заливал холодную воду. Еще я должен был слушать, не лает ли собака, не едет ли по улице

машина… Короче, я караулил. Дела шли хорошо. Я говорил, что в котле сильно булькает, дед торопливо уменьшал огонь… Когда говорил, что тихо и не булькает, то дед подбрасывал щепок. Мне, шестилетнему, нравились такие обязанности. Наградой за бдительность была не конфета, а полная ложка теплого, почти горячего самогона, ломтик хлеба с салом. И еще дед позволял мне плеснуть на пол самогона и поджечь его щепочкой. Так мы испытывали его на крепость. Самогон горел прозрачным невидимым пламенем. Синеватым, как небо или дым…

Огонь. Дед. Небо. Дым.

* * *

Усталость. Тошнота. В глазах то белые звезды, то разноцветные колеса, то полосы зеленые. Пальцы не сгибались и не разгибались, как одеревенели. Ноги подкашивались…

Но я победил пятьдесят соток травы. Не один, с крестным. Он мужчина крепкий, весил вдвое больше, чем я. Подшучивал, чтобы я не останавливался, а то он мне пятки косой отрежет. Вот такой веселый крестный. Указал, чтобы я впереди шел, а он со своей косой следом. На далеком лугу работали. Начали косить на рассвете, а закончили в полдень. Мозоли на моих ладонях полопались, коса в крови. Но я победил и траву, и себя самого. Как доехал до деревни и кто подвез, не припомню. Сел за стол, а ложку в руках держать не могу. Мигаю, на деда с бабой смотрю, как та рыба на берегу. Баба еду на стол выставляет, чтобы меня, работника, покормить. Дед пошел к своему шкафчику и принес графин зеленый с самогонкой. И не рюмки поставил, а стакан «маленковский», и не себе, а мне, шестнадцатилетнему. Я отказываться начал, баба на деда ругаться стала, а он полный, как око, стакан в руке держит, мне в руку вкладывает, заставляет выпить. Выпил. Дед еще половину стакана налил и мне подвинул. Я опять выпил. Есть не смог…

Потом, когда на кровать лег, то дед бабе сказал мне руки жиром гусиным помазать и чистой тряпкой завернуть. Больно не было. Полное безразличие и трава перед глазами. Цветочки, пчелки. И звук, когда железо сухую траву срезает…

Проснулся, дед сидит рядом, на меня смотрит. Окно в сад открыто. «Живой, то вставай понемногу… А я тебя ждал, чтобы обедать вместе». Я проспал двадцать шесть часов. Дед не разрешил меня будить.

* * *

Доски. Семь досок, одна на одной, лежали на чердаке в дедовом доме. Длинные, широкие, сухие, неструганные, сосновые. Мне нравилось сидеть на них, раскладывать старые вещи, просматривать школьные тетради отца и дядьки… Дивиться через маленькое окошко на синий лес, на золотое поле люпина, на вылинявшее летнее небо. Гудела и карабкалась по расколотому стеклу пестрая и хищная оса. Она меня не трогала, и я ее не трогал…

Для чего приготовлены большие доски, я знал. Дед пояснил. Не помню, что я ремонтировал во дворе, но понадобилась широкая доска. Спросил у деда, а он сказал: «А как не хватит на гроб, то что, по людям бегать доведется, одолжаться будете?» Те широкие доски так и не пригодились. Похоронили деда в купленном гробу. Деревенские завидовали, какой гроб красивый.

А мне обидно было. Но знаю, что гроб делать было некому, а я б сам и не смог. Женщины, в отличие от мужчин, о своем внешнем виде заботятся,

про мелочи думают: какой платок повязать, какой в рукав положить, о кофте, юбке… Мужчины же про дом рассуждают, про архитектуру и место.

А на что те семь досок пошли, и не припомню, а спросить не у кого…

* * *

Память. И одевался дед чисто, неопрятным и расстегнутым не ходил. Пуговицы всегда застегивал, даже на старом ватнике. Я не умею бриться опасной бритвой. Сколько ни пробовал научиться, а так и не смог. Дед же брился только ей. Сам острил, сам наводил на широком кожаном ремне. Хорошо помню дедово снаряжение: бритву в темно-зеленом кожаном футляре, она сама послушно выскальзывала в руку. Черенки были костяные, медового цвета. Лезвие блестящее, узкое. А кисточка и мисочка железная обычные. Ничего особенного. Дед брился днем, три раза на неделе и обязательно накануне праздников. Становился напротив окна, чтобы светлее, правил бритву. Намыливал лицо. Пальцами левой руки придерживал усы, а в правой тускло сверкала бритва. Даже много моложе деда мужчины ходили по деревне небритые, а мой дед себе такого не позволял. Конечно, как у всех стариков, морщинистая шея была выбрита не очень хорошо. Но это не только у нас, по всему миру у стариков шеи побриты скверно. Мне нравилось смотреть, как дед наводит красоту, молодеет. Раньше думал, что он для людей старается, а теперь знаю: для себя. Случалось, что бритва оставляла на щеке порез, когда я «под руку» что спрошу. Этот порез дед заклеивал кусочком газеты. Потом она подсыхала и отваливалась. Может, потому, что происходило это раз на год, я и помню кусочек присохшей газеты на дедовой щеке.

* * *

Далекая война. Радиоприемник висит на белой стене под зеркалом, над самодельной деревянной скамьей с резной спинкой. Рядом с приемником, на гвоздике, старые немецкие ножницы, сколько ни пробую прочесть полустертую надпись — не получается. Дед слушает радио — новости там разные и погоду — по нескольку раз на день. И газеты мой дед читает: «Гомельскую правду» и буда-кошелевский «Авангард», и не потому, что выписывает, а потому, что нравится знать, что где происходит. Газеты и опоздать могут, а вот радио, конечно, если ветер провода не порвет, работает с утра до ночи...

— Ты, Володька, сегодня никуда не отходи от дома, баба где? — дед говорит тихо и встревоженно, на крыльцо вышел без шапки. Я показываю рукой с яблоком на приоткрытые ворота хлева, откуда слышится довольное хрюканье и лязгает порожнее ведро. Когда я забежал в дом попить воды, дед отдирал обои на потолке, около печи, а потом считал деньги. Как мне показалось, разноцветных бумажек было много.

А через час мы с бабой катили полевой дорогой тележку-двуколку, а дед шагал с невероятно сосредоточенным видом и смотрел себе под ноги. Порожнюю тележку катить легко и даже приятно. Она сама бежит по вытоптанной полевой дороге. До соседней деревни, где магазин, от пригорка совсем близко. С горы я побежал, а тележка заскакала следом...

Возвращаемся. Тележка нагружена так, что колеса вязнут в мягкой земле, а мы втроем еле ее тянем. В тележке, прикрытые клетчатым покрывалом, мешки, мешочки, узелки, ящики и коробки. Соль, сахар, мука, крупы, гвозди, спичек аж целый ящик, подсолнечное масло в граненых грязных бутылках...

Остановились отдохнуть. Мне кажется, что я утомился больше, чем дед с бабой. Дую на красные ладони, вытираю вспотевший лоб, похлопываю по мешкам и мешочкам и не могу понять: а зачем мы чуть не половину деревенского магазина на свою тележку перетащили? Как только вкатимся во двор, дед закроет ворота и пойдет в дом. Снимет кепку, положит рядом, сядет на скамью, прижмется ухом к радио и станет настороженно слушать новости. А я побегу через выгон к двоюродным братьям, чтобы сообщить, что скоро, может, даже завтра, начнется большая война... За несколько дней лавки и магазины в соседних деревнях закроются, ведь нечем будет торговать. А через две недели тетка Адарка получит письмо от своего сына Коли, аж из той самой далекой Чехословакии, про которую говорило радио. Почти половина строчек будет замазана черной краской — не прочесть, а конверт без марки с треугольным штемпелем придет незаклеенным. Спичек, купленных летом шестьдесят восьмого, когда мне было десять, хватило лет на пять — не меньше.

* * *

Разговоры. Кровать деда стояла при печи. Большая и широкая. И подушка большая. Кровать скрывалась за цветастой ширмой. В голове, за черной деревянной спинкой, источенной древоточцем, находилась полка. Там хлеб, прикрытый старой скатертью, мука, сахар, крупы, связки лука и чеснок. Ногам тепло от печи, а в носу вкусно от хлебного духа. Бывало, когда наезжало народу бульбу копать или кабана колоть, то я спал рядом с дедом. Мы с ним тогда говорили. Единственное, о чем дед просил, так говорить ему на ухо, чтобы других нашими разговорами не будить. Про что говорили? А про все на свете. Про болото и змей-ужей, про волков и собак. Про лошадей быстроногих. Про то, откуда дети берутся. Про молоко и грибы. Однажды дед рассказал про войну. Про реку, из которой нельзя было пить, вода сильно воняла, столько в той реке убитых солдат было. И потом, сразу, про то, какие красивые девки были в маленьком городке. Одна была такая, что он ее и теперь помнит. Тело белое-белое, лицо круглое, а волосы светлые, длинные и блестящие. И смеялась та девка все время, когда его видела, и пахла она вкусно — маслом…

Но не очень мне тогда про девку интересно было. Больше нравилось про гору, на которой крепость стояла вражеская, и как ту крепость приказали захватить ночью. Дед мой и его товарищи побежали, а турки начали с горы большие камни сталкивать. Камни катились, грохотали, искры сыпались, солдат давили. Я поинтересовался размером тех камней. Дед сказал, что и большие, как печь, и меньшие были, как копна соломы, и такие, как подушка… Крепость той ночью не захватили… А потом опять дед про девку начал рассказывать. Здесь я не выдержал и уснул. Подхватился среди ночи. Камни большие на меня летели...

Деда рядом не было, и я еще больше испугался. А мой дед сидел за столом и ел ложкой кислое молоко с черным хлебом.

* * *

Вкус. Самое вкусное белорусское блюдо — сваренная на хорошем куске свинины кислая капуста с сушеными белыми грибами. Зимняя еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза на день могли есть ту горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и едим. Один на одного поглядываем. А баба наша довольная… И так нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами…

* * *

Деньги. Изредка баба, а чаще дед на прощанье давали мне деньги. Совсем малому — рубль, подростку — три, а потом и по десять, и по двадцать пять. Всегда одной бумажкой. Дед понимал, что когда родители дают деньги, то они и спросить могут, куда я их и на какие игрушки-развлечения извел… А те, какие он дал, — родителей не касаются, и внук может их истратить как пожелает. Я никогда не отказывался. Брал и благодарил. Ни дед, ни баба никогда не спросили, что я себе купил на те подаренные деньги, как знали, что не изведу на ерунду.

Перед тем как присесть на скамью под окном, дед шел на чистую половину дома. Громыхал выдвижной ящик в самодельном столе. Звенела в жестянке из-под чая мелочь…

Дед выходил и давал мне деньги. «На прощанье, от нас с бабой. Только не потеряй, положи в карман и пуговицу застегни», — говорил он и строго смотрел на моих родителей. Надо сказать, что ни отец, ни мама на те деньги не претендовали. Но я за них так ничего и не приобрел запоминающегося, весомого, такого, что мог бы сохранять долго. Такого, чтобы думать про деда с бабой. Деньги уходили на ненужные мелочи, даже и припомнить не могу, на что конкретно. А мог же купить и что ценное… Мог, а не купил…

Когда вспоминаю подаренные дедом деньги, то на душе делается по-летнему легко и светло, но не беззаботно. Интересно, а когда у меня будут внуки, то я буду как мой дед?..

* * *

Дичка. На яблонях еще висели кое-где яркие ранетки, а листьев почти не было. И подсолнух под окном выглядел обгорелым со своей отвернутой головой. Грязно и темновато. Но дед надел поверх ватника большой брезентовый плащ с башлыком. Он его и к коровам всегда брал, хотя и не было дождя. Сегодня же дождь шел. Однообразный и мелкий — октябрьский. С лопатой, в резиновых сапогах, дед подался через выгон к лесу. Я знаю, куда он. Если бы не дождь, то и меня обязательно взял бы. Я копать умею. А дед оправился в лес. Черный подсолнух зашатался, как пьяный. Дождь начался настоящий — косой, с ветром. Через час я заметил точку, которая отделилась от ржавой стены леса. Потом точка покрупнела, наконец, можно было рассмотреть и деда. Его брезентовый плащ сделался темно-жестким, а резиновые сапоги блестели. Дед прошел под окнами дома, я постучал в стекло, но он не услышал. Тогда я выбежал в сени, чтобы посмотреть на небольшое деревце с корнями, принесенное из леса. Это была дичка…

На следующий день мы вместе посадили ее на огороде за домом. Я сам копал яму. «Как приживется, то привью, и будут вам груши. И не будешь по чужим садам лазить…»

Дед успел попробовать тех груш — сладких и терпких. Но поспевали они по осени, а не в конце лета, как рассчитывал мой дед.

* * *

Серая кепка. Все изменилось. Сильно изменилось, почти неузнаваемо. Не знаю, как кто, а я белорусского мужчину без кепки не могу представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети ходили в кепках.

Не так и часто выпадает в жизни возможность поработать ангелом. Воплотить собой и своими действиями высшую справедливость. Мне триж-

ды такая возможность выпадала. И всегда она была связана с серой кепкой моего деда Владимира. Правда, это теперь, когда я взрослый, то и начал понимать то свое детское…

Ежегодно летом луг делили. Всегда было именно так. Где дележка — там и обиды. Пока дед был помоложе, ходил быстро и ступал широко, то ему и поручали делить луг на сотки. И дед делил. Ходил по мокрой росистой траве с белой саженью, намерял, колышки с номерами в землю вбивал. Я за дедом бегал, молоток и колышки те носил. А за нами следом мужчины взволнованные спешили. На каждом колышке темнел номер, химическим карандашом нарисованный. Когда сенокос был разделен, то и начиналось самое важное и таинственное. Дед снимал свою серую кепку… Скрученные в трубочку бумажки сыпал в кепку и подзывал меня. Здесь я начинал ощущать свою значимость. Мужчины стояли вокруг молчаливые, напряженные, на меня смотрели заискивающе. Каждый хотел лучшую делянку травы. Чтобы не таялки косить было, чтобы трава не посохшая, без колючек, а зеленая и густая. Я опускал руку в дедову кепку и вытягивал бумажку с номером. Опускал в мужские ладони. Нам же с дедом всегда оставалась последняя бумажка…

Дед с кепкой в руке шел смотреть наши сотки и всегда говорил, что я молодец, ведь оставил если и не самой лучшей травы, то и не худшей.

А если бы не та дедова кепка, то я разве знал бы я, что чувствует настоящий ангел?

* * *

Огонь и вода. Очень мало на свете людей, которых не волнует огонь. И старики, и дети, и мужчины, и женщины могут долго и зачарованно смотреть в огонь. Хотя, что там такого увидишь? Но так смотрели наши предки, мы смотрим и смотреть будут наши потомки. Тайну огня не разгадать ни поэту, ни волшебнику, ни ученому. Я не дотягивался до полки, ведь был еще ребенком. Придвинул табурет, взобрался на него, а потом достал коробок спичек, который от меня и прятали так высоко. Мне очень хотелось поиграть с огнем. Хотелось увидеть, как огонь рождается в моих руках. Хотелось яркого и горячего чуда. Несколько спичек я поджег в доме. А в коробке их еще оставалось бесчисленное количество. Со спичками в руке я двинулся в огород, за хлев — под березы. Там и начал огненные игры. Поджег одну щепочку, потом лоскуток, потом…

Если бы не пришел дед, то хлев и вместе с ним подворье сгорели бы. Лето было сухое. Дым увидел сосед, который катил велосипед и приостановился, чтобы поздороваться с дедом. Думаете, что дед меня наказал, наругался…

Нет! Он сделал хитрее. Он показал, как можно засикать огонь. Мы вместе и потушили тот небольшой костерок под углом хлева. Стихия нашей воды победила стихию огня. Другое открытие было сделано в тот же день. Мужчиной быть лучше, ведь мужчина может потушить огонь своей водой, а женщина — нет…

* * *

Брехня. Дед мог долго слушать радио. Сядет на скамью, кепку рядом положит, ухо к репродуктору прижмет, громкости прибавит и сидит, в окно посматривает. Кто куда поехал, кто куда пошел, что понес. Радио на весь дом кричит. Буда-кошелевские новости были наверняка одной из самых любимых

передач. Заканчивалось прослушивание одинаково, что вчера, что сегодня. Про вывоз на поля азотных удобрений дед еще слушал. Когда же говорили, сколько центнеров собрали с гектара, дед брал кепку. «Брехня!» — говорил он и надевал кепку. И про прогноз погоды говорил то же самое, но всегда дослушивал. Единственное, во что он на самом деле верил, — были сигналы точного времени. А теперь и я верю только этому пиканью…

* * *

Обида. Мама плакала. Дед ругался, дурой обзывал. Она так сильно плакала и прижимала меня к себе, и целовала, что мои волосы сделались мокрыми… Но сам я этого не помню. Это мама рассказала. Она приехала в деревню, а я привязанный полотенцем к тяжелой скамейке самодельной. Топчусь, чумазый, как собачка на цепи, баба около печи управляется, а дед во дворе дровами занимается. Баба котлы черные с кипятком и бульбой вареной достает, обратно в огонь ставит. Пар, дым, грохот. Я к печи поближе хочу, ведь там интересно. Только не могу отойти от скамейки тяжелой далеко — может, только на пару шагов. Привязал дед полотенце хорошо, узел у двухлетнего ребенка за спиной — не развязать. Теперь я понимаю: правильно дед делал, ведь берег меня от беды. А раньше, когда мама рассказывала, то всегда себя и ее жалел.

* * *

Старое зеркало. Стою у окна. За мокрым стеклом розово-серый утренний туман. Смотрю на себя в старое зеркало, чуть мутное, а потому глубокое, как омут. Рассматриваю царапину на щеке, думаю о том, как тихо здесь, в деревне, в доме. Вдруг вижу деда. Со спины, в коротком зимнем пальто и кепке. Пуговица на четыре дырочки на широком хлястике. «Дед!» — окликаю в зеркало. Он поворачивается, как все старики медленно, топая на месте. Это не дед, а отец примеряет зимнее пальто. «Тяжелое, и как только он в нем. Думал, может, в лес надеть, а то моя куртка не высохла…» Я закрываю лицо руками, сквозь пальцы смотрю в зеркало, как дед превращается в моего отца.

* * *

Искры. Примерно такой порой, декабрьскими днями, когда свет приходил поздно, а темнело рано, дед собирал все, какие только имелись в доме, ножи. Происходило это после завтрака. Один нож был большой, как меч. Лезвие темное, а ручка с деревянными черенками. Ножей тех шесть. Мы с дедом обступали точило. Я держал ножи, а дед, надев очки, острил. Крутился серо-сиреневый шероховатый камень, сыпались искры. Были они невероятно яркие, но совсем не горячие. Мне нравилось ловить их ладонью. Дед сосредоточенно и старательно готовил инструмент. Гудело каменное колесо, звенело железо, я довольно шмыгал носом. Самый большой нож становился похожим на селедку — черная спинка, серебряное брюхо…

И на душе у меня делалось празднично, ведь сегодня вечером приедут родители, а завтра мы будем колоть свинью… У деда настроение не такое веселое, он покрикивает, чтобы я не стягивал варежки, не развязывал шарф, не сосал снег. Это никогда не повторится.

* * *

Дружба. У деда был друг — старый Михалевич. Кажется, на пару лет моложе, чем мой деда. Михалевич заходил проведать. Снимал кепку, здоровался, пожимал дедову руку и садился к столу. На стол ставил бутылку, баба — рюмку и закуску. Старик Михалевич молча наливал себе и выпивал. Неспешно закусывал. Через полчаса молчания опять наливал и выпивал. Сидел еще полчаса и посматривал на своего больного друга. В 1929 году они с дедом первыми приехали на эту землю. Первыми поставили здесь дома.

Михалевич поднимался из-за стола, пожимал деду руку. Надевал кепку и выходил. «А чего он приходил?» — спрашивала баба. «Как чего — погулять», — отвечал дед и смотрел на оставленную другом половину бутылки. Баба закупоривала самогон и прятала в шкафчик. Старые друзья понимали друг друга без слов.

* * *

Крест. И теперь, даже с завязанными глазами, найду то место в лесу, тот пригорок, где рос красивый дубок. Ехали с двоюродным братом. На повозке лежали пила и топор. Перед ложбиной я соскочил с повозки и повел лошадь на поводу. Мы не боялись, что нас может поймать лесник. Нам нужен был дуб, чтобы сделать деду крест. Я все сделал, как некогда учил дед. Подпилили дубок при самой земле. Повалили, чтобы он не застрял в соснах, чтобы не сломал совсем молоденький клен и две березы. Обрубили ветки, на которых кое-где, среди листвы, поблескивали желтоватые желуди. Распилили натрое комель. Самую толстую часть оставили длинной. Нам никто не встретился на лесной дороге. Мне говорили, чтобы я сам не делал деду крест. Но я хотел и потому не послушал советчиков. Обтесывал бревна еще дедом наточенным топором. Старался, чтобы получилось ровно и красиво. Обрезал чистые и светлые брусья. Выбрал долотом сколько было надо, а потом собрал — сбил крест…

Полотенце на крест повязала тетя, дедова дочь. Крест стоял на крыльце рядом с крышкой гроба. Невероятно светлый и чистый, как тот дубок на пригорке. Я тогда еще подумал, что дед был бы доволен моей работой. Может, и не похвалил, но и упрекать бы не стал.

Перевод с белорусского Алены Маркович.



НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

Любовь — величайший художник

Ветер

Разгулялся ветер в поле.
Никто крыльев не связал.
Шелестеть пшеницей волен
Да песок бросать в глаза.

Да подол ломать березе,
Ветки-косы гнуть, трепать,
Воровать сенцо из воза,
По дороге растрясать.

Своенравный ветер буйный,
Что свистишь в моих ушах?
Полюби меня, разгульный:
Жизнь безумно хороша!

Своевольный и свободный,
Что шумишь — пестришь листвой?
Что играешь небосводом,
Превращая песни в вой?

Бунтовщик, рябой разбойник,
Что ты хочешь от меня?
Бьет тебе поклоны донник,
И бурлит в реке волна.

В чем-то я с тобою схожа:
Если гибель поманит,
Я отброшу кнут и вожжи,
Позабуду страх и стыд.

Развяжу любые путы,
Разорву любой аркан,
Череду обычных суток
Я развею, как дурман.

Ветер, ветер — конь буяный,
Исполинский альбатрос,
Своевольством буйным пьяный,
Душу ты мою вознес.

В русской бане

Войти и медленно раздеться,
Шатаясь тенью на стене,
Плескаться, радуясь, как дети,
Томиться паром, как во сне.

И в снег — потом, расхохотавшись,
Озноб другой в нем ощутить,
И, по огню истосковавшись,
Живинки зноя воскресить.

Увидеть в сумрак снегирей,
И, хохоча, напропалую
Скорее в тень осокорей,
Вскочить в предбанничек, ликуя!

И серебристый кипяток
По каменке ковшом разбрызгать,
И чувствовать: по жилам ток
С ликующим несется визгом!

* * *

Я живу в заштатном переулке
На пустых заснеженных задворках.
Здесь душа как пленный звук в шкатулке,
Здесь несется жизнь как санки с горки,

Люди здесь не помнят о веселье,
Хоть порой сноровистей иголки.
Здесь мечта висит, как ожерелье,
На забытом гвоздике за полкой.

* * *

Как льется дождь со старых стрех
И гулко дзинькает в ведре, —
До донца выпит сладкий грех
Хмельной порой, в глухой дыре.

Как добродушно речь ведет
Мой дождь в ракитовых кустах:
Разнежился старик-удод
В своих несбыточных мечтах.

Дронтонит ворон на сосне,
Ворона каркает: «Ну, как?»
И гусь купается в волне,
И чайка ладит мужу фрак.

Какое дело мне до них,
Гусей, ворон, ракит и верб!
Когда любви порыв утих
И душу режет лунный серп,

Когда пропал мечты азарт,
До донца выпито вино,
Растрепана колода карт,
А короля в ней нет давно.

Я хочу в твоих объятьях

Я хочу в твоих объятьях
Каждый день терять сережки,
На полу б валялись платья
И на шпильках босоножки.

Я бы свечи зажигала,
Я б на Библии уснула,
И, проснувшись, целовала,
Целовала б только губы.

Я оделась бы цыганкой,
Танцевала бы по-венски,
Я любила б по-испански,
А хитрила бы по-женски.

Наизусть бы я читала
Дорогие сердцу строки,
И мерцал бы воск, и таял
В моем голосе высоком.

Осень ставит спектакли

Елене Алимовой

Цветоосени космы
Поправляю небрежно,
Мне важней микрокосмос,
Как финал, неизбежный.

Осень сыплет слезами, —
Золотой мишурою.
Ветер сердце терзает
Недоступной игрою.

Осень ставит спектакли,
Пишет рыжий сценарий,
День, как листик, не так ли,
Превращает в гербарий.

Все деревья — актеры,
Все цветы — музыканты.
Составляют узоры
В золотых фолиантах.

Не боясь несуразиц,
Наслаждаюсь виденьем,
Наблюдает мой разум
За роскошным паденьем.

Слепое «да»

Мне хочется уснуть, как спит вода,
Как спит в воде коричневый камыш
У тихого прозрачного куста,
Как спит за камышом лесная тишь.

В лесной тиши уже шуршит немой
Сентябрь… он весь в алеющей судьбе…
В восторге сладостном шепчу: «Ты мой,
И я хочу принадлежать тебе».

И для тебя поет вечерний дрозд,
Но песню его слушает звезда
Среди других веселых горних звезд, —
От звезд в реке взволнована вода,

Как шлейфы, утки тянут лунный свет…
Я не усну — ты не сказал мне: «Да!»
Пусть зарождается во мгле рассвет
И тает, гибнет в небесах звезда.

У тихого прозрачного куста
Я буду крепко спать, как спит вода,
Как спит зеленая звезда.
Я не скажу тебе слепое «Да!».

Любовь — величайший художник

Пусть тело по свету шатается,
Встречая и тех, кто нежней, —
Душа почему-то влюбляется
В черты, непонятные ей.

Ей нравятся странные сцены:
Умей истомить, опьянить,
И, вольная, вовсе не ценит
Стыдливую робость любить.

Ей взгляд и улыбка дороже,
Святыни ж — отрада уму!
Мороз пробегает по коже:
И это любовь — почему?

Не терпит ни уз, ни законов, —
Затем, что, как птица, вольна!
О, горе же бедным влюбленным,
Которым она не верна,

И значит, совсем не покорна!
Но что ей любой пересуд?!
Ее не настигнет упорный,
Она ускользнет от зануд.

Заставить любить — невозможно!
И хитростью выкрасть нельзя! —
Любовь — величайший художник —
В родные лишь смотрит глаза!



ДАРЬЯ МАКСИМОВА

Странные сказки

Сказка про книгопродавца

Мглистыми мшистыми тропинками следы плетут повесть его путешествий. Позарастали те пути, где он прошел вчера, завтра очередь сегодняшних. Заросли, высокие, душистые и настороженные, сухие от неласковой росы-мачехи, цветистое разнотравье иван-чая, папоротника, лебеды, чабреца. А там, у корней, следы ног. Их не видно, травы податливыми гибкими телами укрывают их, как воздушной шалью, но все и так знают, что следы — там.

Никто, будучи в уме и при памяти, не ступит на стежку книгопродавца.

Только всякий, тем не менее, знает, кто он таков. И почти у каждого не в горнице (не от слова ли «горний?»), так в светлице (не от слова ли «светлый»?), не в светлице, так в погребе (не от слова ли…?) живет книга. Дикая. Не своя.

И сразу по селам полотняными вздохами сарафанов проносится одна-единственная весть, тревожная и восторженная: «Книгопродавец идет!»

Матери прячут рыдающих от страха перед тем, кого никогда не видели, детей в горячие лоскутные запечные закутки, ставни пугливыми ладошками закрывают глаза окон. Сердца людей в домах бьются в унисон, словно эхо медленных хромых шагов книгопродавца.

А он, зная обо всем этом, идет по пустым, утонувшим в тишине улицам, улыбаясь как всегда, неторопливо стучится в каждую дверь. У него свой стук — любой несмышленыш знает. Тук… тук… тук… Как капли свинца падают, так звучат эти удары сухой костяшкой пальца по запертой на все засовы да запоры двери.

Однако книгопродавец спокоен, как болото гнилое. Уж он-то знает, что никогда, покуда жив род людской, он не останется без покупателей. Да, его боятся все, но и книгу получше хочет каждый. Таково естество человеческое, постылое, ледяное, о коем вслух не говорят…

Ведь в каждой дикой книге, которых в несметном числе можно найти (если, конечно, места заговоренные ведать), написана судьба человеческая. Как нет двух одинаковых судеб, так и двух книг похожих не сыщешь.

И всякому человеку только одна дикая книга принадлежит, у них даже на последних страничках хозяин помечен.

Тук… тук… тук.

Дорого книга стоит, ох, дорого! Да за одну хорошую книгу можно дом продать и еще должником остаться. Книгопродавец никогда не будет внакладе.

Медленно замирая от собственного беззакония, как ночной тать, отворяется дверь. Рука, ее держащая, еще не решилась до конца, она раздумывает — а может, взять сейчас и захлопнуть дверь перед его носом, да и гори оно все огнем?

Но мгновения ока книгопродавцу хватит, чтобы промозглым болотным туманом просочиться в сомневающуюся дверь.

За нею — ну конечно же, сразу понятно было — женщина. С мертвым от ежедневной усталости лицом воскового цвета и совсем старыми не по годам руками.

В глазах — страх. Глубже, в душе — гордость материнская. Стараясь скрыть горячий наглый испуг, женщина решительно откидывает прядь, из-под платка змейкой выскользнувшую. А платок-то — праздничный; готовилась, что и говорить, к встрече с ним. Впрочем, все так…

Стараясь казаться смелее, женщина, не сберегшая себя, дерзко вскидывает подбородок:

— Ну, показывай, что у тебя там, — а губы дрожат, а голос дрожит.

Ох, не любит книгопродавец дерзости…

— Для кого хочешь? — будто и не слышал ее вопроса.

— Для сыночка, — разом тушуется состарившая себя женщина и опускает глаза в пол. Так-то лучше!

— В горницу пошли — там и поговорим, — властно говорит книгопродавец, по-царски вышагивая грязными подошвами по любовно выскобленному полу и таща за собой тележку с клетками — его бессменную и самую важную спутницу многие годы, кормилицу и корону.

Без приглашения книгопродавец садится. Его никогда не приглашают. Женщина с детским, пугливым любопытством робко разглядывает клетки, в которых жмутся, хохлятся и пытаются забиться в темный угол книги. Нравилось книгопродавцу смотреть, как люди сами не свои становятся рядом с его товаром. Но сегодня до вечерней зари еще предстояло пройти семь верст.

— Для сына, стало быть, — деловито повторяет книгопродавец, сделав вид, что задумался, зная, что от глухого его голоса женщина вздрогнет.

— Вот, пожалуй, есть у меня одна, — и тянется к кипе иллюзорно-прочных клеток. Под тенью его хищной руки книги судорожно схлопывают листы и вжимаются обложками в прутья. Но не укрыться от него — и вот уже жилистая обветренная рука тянет вверх клеть за кольцо. Ставит на грубые доски столешницы.

Безмолвно женщина всплескивает руками в восхищенной немоте.

Дивная книга! Редкая. В жизни она таких не видала. Мягкая даже на вид, пепельно-желтая обложка, тонкий изящный корешок без морщин-заломов, и ослепительно, празднично белые страницы.

Беспокойная книга хлопает переплетом, пушится, мечется. Вольная книга, вольная. И тянет от нее ароматом полуденной степи, невероятным пустотравьем гретым, ветром оголтелым, что дикой лошадью по степям кочует. Стало быть, книга-то не из местных, далеко ее книгопродавец поймал.

Невольно женщина затихла, окутанная великолепием чудной книги степной. Отродясь ничего заманчивее той книги мать не видела.

— Сколько? — шепчет она, кабы не спугнуть дивный морок.

— За три тыщи отдам, — знает книгопродавец, как его товар на простой-то люд действует. Они ведь и в жизни-то, поди, ничего не видели, вот и столбенеют от книжного духа.

Цена хлестнула женщину по лицу, в лоскуты разорвав очарование дикой книги:

— Три тыщи?! Креста на тебе нет! — горько молвит она.

Да книгопродавца такие слова только тешат.

— Как видишь, нету, — лукаво, оттягивая ворот рубахи на всегда напряженной кривой шее. — Три тыщи мое слово.

— А что хоть в ней? — жалобно, уже в мыслях считая по дому заначенные денюжки на черный день, запоздало спрашивает бедная женщина.

Сказка про Слушателя

Промозглая.

От отвращения, а совсем не от вгрызающейся в самое нутро зимы, сбросили клены листья. Те, как в сказке про Золушку, превращались из дареного платьица с любовно резными краями в бурые лохмотья со вздувшимися, огрубевшими прожилками вместо тонких гибких венок.

В такую погоду, говорят, хозяин собаку из дому не выгонит, зато, стиснув зубы и зонтик, пойдет ее выгуливать в неуютный парк.

Женщина тяжело, опираясь на колени, опустилась на мокрую скамейку. Натужно перевела дыхание и прикрыла опухшие веки. В отдалении лаяла выгуливаемая собака.

Про-мозг-лая. Может, и про мозг. Кто их, собак, разберет?

По дорожке медленно шел одинокий человек с непокрытой головой. Темные очки, впалые щеки под недельной щетиной, длинный нос. Он никого не выгуливал — просто шел куда-то.

Он собирался пройти мимо: женщина совершенно точно его не видела, сидела как неживая. Но конец скамейки стал непроходимой чертой. Человек вздохнул своим мыслям и вернулся, чтобы присесть рядом. Здороваться смысла не имело, они не были знакомы, а увидеться еще раз, наверно, и не случится.

— Ну, рассказывайте, что там у вас, — раздраженно приказал он.

От неожиданности женщина сильно вздрогнула и в страхе посмотрела на внезапно материализовавшегося незнакомца. Но тот даже не повернулся в ее сторону. Он слепо пялился в темноту сквозь очки.

— Я слушаю, — враждебно и с нажимом заявил он.

Проигнорировать. Уйти, надеясь, что он просто пьян. Вежливо сказать, что не о чем говорить, и уже потом сбежать. Куда, интересно, запропастился ее Чарли?!

Ища собаку, она замешкалась с решением — и вдруг слезы брызнули из глаз. Женщина заговорила быстро-быстро, всхлипывая и шмыгая носом, глотая окончания слов и захлебываясь. Тот, кто сидел рядом, знал, что плачет она очень некрасиво, совсем по-бабьи, хотя и не смотрел.

Да и не смотреть он сюда пришел: женщина ему и так не нравилась, к чему усиливать отвращение? Не за тем он привыкал гулять по ночам и носить солнцезащитные очки в любую погоду, сажая зрение.

От него больше ничего не требовалось: только слушать. Про мужа-алкоголика, который уже полгода не работает, про мать после инсульта, про сына, залезшего в долги, про текущую стену в большой комнате, про начинающийся артрит. Долго и жарко говорила женщина, заламывая руки и без конца оправляя пальто. Она говорила и плакала все так же некрасиво, не хватало дыхания, но она не могла остановиться.

Уже пришел кудлатый нагулявшийся Чарли и, переняв волнение хозяйки, тоскливо завыл.

Человек, сидящий на другом конце, свирепо шикнул на него — пес притих и забился под лавку. А женщина никак не замолкала, словно боялась не успеть вывернуть душу наизнанку.

Наконец, к большому облегчению мужчины в очках, легкие совсем ей изменили, и она обмякла, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Все лицо и руки были мокры от выплаканных слез.

— Спасибо вам большое, что выслушали! — так не подходящим ей молодым и счастливым голосом, заискивающе поблагодарила она, внезапно зардевшись. Он знал, что сейчас ей легко как никогда, словно проблемы,

высказанные, ее уже не касаются. — Правда, большое спасибо! Может, я могу что-то для вас сделать?

Не утруждая себя ответом, мужчина встал и быстро, почти бегом, ушел туда, откуда появился час назад.

Через мгновение его уже рвало. Рвало чужим горем, бедами этой женщины. Новые и новые позывы накатывали друг на друга, будто в догонялки играли…

Отряхивая руки от грязной жухлой листвы, некогда бывшей главной гордостью кленов, Слушатель молча злился.

Вот угораздило же… Хорошо хоть, уже совершенно не помнил ни слова случайной встречной с ее надоедливой собакой: они остались на осенней подстилке неопрятным пятном. Это был, видимо, механизм самоочищения отравленного организма. Иначе бы он, Слушатель, долго не протянул… Его дело — слушать, а не переживать. Хватит с него, что приходится пропускать через себя чужие бесконечные беды. А они воистину бесконечны! Он бы с радостью пожелал, чтобы никто в мире не страдал. Не потому, что так сох по альтруизму, а чтобы не давиться спазмами их рассказов. Несбыточная мечта… Вот Советчику лучше! Ему не нужно слушать рыдающих и воющих, он сам перебивает и несет абсолютный бред, вроде: «Крепитесь! Мужайтесь! Именно так и сделайте!» Не так тягостно, не так паршиво на душе, не чувствуешь себя мусорным ведром, в которое сливают всю дрянь… Тебя не тошнит чужим горем потом. У Советчика, правда, потом камни из почек идут, но все-таки… Жалобщику тоже повезло! Ему вообще слушать не надо, знай сам реви и грузи этих людей на ходу придумываемыми душераздирающими историями, чтобы им свои беды детскими игрушками показались, по сравнению. Жалобщик говорил, что ему их даже придумывать не приходится, как будто сами в голове возникают. Правда, он потом, вспоминая, что плел, в запой уходит. Потому что стыдно ему безумно за лживые несчастья. И скоро у него будет цирроз….

Зато не язва! Слушатель достал из кармана полупустую бутылку минеральной воды без газа и жадно к ней припал, загоняя вкус рвоты обратно в пустой желудок. А Советчик с Жалобщиком завидуют ему, считая, что выслушивать легче. Ни черта они не понимают!

Пустая бутылка отозвалась на дне урны.

Послышались шаркающие натужные шаги. Какой-то старик едва двигался по дорожке, тяжело приваливаясь на палку.

Слушатель проводил его долгим, неразличимым за очками взглядом: больной совсем… Значит, опять желчью рвать будет. Старческое горе — оно такое. Беспроглядное.

Обреченно вздохнул, нагнал старика и подстроился под его дрожащую походку.

— …Рассказывайте, я слушаю…

Сказка про бессонницу

Мизансцена. Окно — одно. Мило — мало. Она — у окна. Луна — тишина.

Бессонница… Она ни с чем не рифмуется. Стерва. Приходит когда вздумается, выматывает душу и уходит не прощаясь, оставив красные, словно избитые, глаза.

Будь она женщиной, бессонница красилась бы в истеричный иссиня-черный цвет. Чтобы глаза резало! Как наутро после изматывающей, бессмыс-

ленной всенощной для одного человека. Одной свечи вполне достаточно для храма величиной с комнату. Для монолога.

— Почему ты молчишь?

Снаружи холодно было и слякотно, а внутри лепесток белого пламени укладывал мягкие блики на ее лицо.

— Что-то случилось?

За окном был бесконечный мир: с морями, городами и чужими проблемами, но она видела в нем только себя, свое теплое, почти выпуклое отражение в стекле.

— Ты не хочешь со мной разговаривать?

Раздраженные недосягаемой близостью сна, ее глаза становились все более тревожными, теперь даже нежный свечной свет им претил.

Но — она поняла это только сейчас — погасить свечу было страшно. Тогда маленький, но уютный мирок ее скорбей вдруг со скоростью гаснущего света окажется мелкой, затерянной частичкой того, слякотного мира, где никому нет до нее дела.

— Ты слушаешь?

Всхлип — и свеча погасла. Она не смогла дольше видеть медленно наворачивающиеся слезы и горестные складки у собственных губ. Медленно, как на старой фотопленке, проступил мир, которому было холодно и наплевать на чью-то бессонницу. Неужели не только ему?

— Я для тебя больше ничего не значу?!

Воспаленный отсутствием сна и ответа мозг легко и траурно провалился в бездну отчаяния. На плечи надавил невыносимый груз, ссутулив и без того сколиозную спину.

В этот раз она долго молчала, потом решилась и подняла сухие от невыразимой боли и мечтающие об отдыхе глаза к мутному, плохо размешанному и потому комковатому небу:

— ТЫ МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИШЬ???

Бог молчал. Может быть, у Него просто не было бессонницы...

Сказка про ту, которой нет

— Чего изволите?

— Изволю отказаться.

— От чего? Вы же ничего не заказали.

— Я и не закажу.

— …

— Таким, как я, нельзя.

— Простите? Каким?

— Ну, таким, как я…

— А кто это «такие, как вы»?

— Какой вы настырный. Ладно, признаюсь. Таких, как я, нет на самом деле.

— Я что-то ничего не понимаю…

— Я вижу.

— …

— У вас ко мне дело?

— …чего изволите?

— Изволю написать вам рецепт неплохого средства. Вам полезно будет.

— Какого средства?

— Мышьяк.

— Зачем мне мышьяк?

— Вы много спрашиваете. А он хорошее успокоительное.

— Извините, я совсем не понимаю, о чем вы.

— Я заметила.

— Понимаете, у нас нельзя сидеть, ничего не заказав…

— Вам виднее.

— Вы будете что-нибудь заказывать?

— Нет, вас это беспокоит?

— …

— Не подумайте плохого, мне нет дела до вас и ваших проблем. Вы просто очень навязчивый. А ваше беспокойство меня не беспокоит. Но, говорят, вежливость — это хорошо.

— Если вы ничего не собираетесь заказывать, мне придется попросить вас уйти…

— Глупо.

— …

— Глупо спрашивать у той, кого не существует, будет ли она что-нибудь заказывать. Вы, наверное, любите петь в ванной.

— С чего вы взяли?

— Все нудные люди любят петь в ванной.

— О чем вы?.. Я вынужден просить вас удалиться.

— Плохо, наверное, быть вынужденным. Не знаю, мне не доводилось. Ладно, сколько я вам должна?

— …Но вы же ничего не заказали!

— Но вы же так старались. А вдруг заказала бы? Сколько я была бы вам должна, если бы заказала?

— Смотря что…

— Очень у вас проблем много. Возьмите мышьяку — сходите в ванную — перестаньте верить, что вас вынуждают. Расслабьтесь. Ой, я опаздываю! Точнее, через полчаса уже точно начну опаздывать. А мне надо еще найти причину, чтобы опоздать. Смените работу…

— Вы — сумасшедшая?!

— Думаете, сумасшедшие существуют?

— Ну… да.

— Тогда нет. Они существуют, я — нет. Нескладно. Складно-ладно-накладно. О чем это я? Ах, да, я вам вот тут на чай оставила. Только, правда, выпейте чаю. У вас в организме чего-то не хватает. Может статься, что именно чаю… Заболтали вы меня совсем! Все-таки вы настырный.

— …

— Не берите в голову то, чего нет. Это, говорят, к неврозам ведет. К чему вам в ванной еще и невроз? Дождь, наверное, будет. Пойду проверю… Заодно, когда опоздаю, скажу, что проверяла, будет ли дождь! Спасибо за совет! У вас тоже, оказывается, иногда случаются ценные мысли. Прощайте.

Сказка про плечо

Бледное лунное плечо. Оно сонно показалось из-под одеяла, почти не отличимого по цвету, но слишком грубого, гипсового. Плечо позволило себя рассмотреть. Какое редкое, трепетное, бабочкино счастье — затаив дыхание, рассматривать этот случайный подарок то ли судьбы, то ли последних теплых ночей лета. Да хоть бы и случайность — но это самая чудесная

случайность случайного мирка. Не время думать о таких глупостях, когда совсем близко плечо — настоящее маленькое полнолуние. Небольшое ленивое движение во сне — и луна чуть-чуть пошла на убыль. Кто бы знал, как это страшно — видеть начало этого затмения. Мысль, что тень поглотит чарующий вид навсегда, она не может не прийти! И тогда прощаешься как в последний раз, сжирая, заглатывая жадно зрелище этого плеча, которое светит отраженным светом.

Но беспокойство сна прошло быстро — можно выдохнуть. Плечо лишь слегка поменяло фазу, состарилось. Нет, какое плохое слово. Оно не должно касаться этих плеч. Хотя бы память, странная и капризная способность, должна сделать невозможное и сберечь похожее на осколок гениальной, не сохранившейся скульптуры, плечо. Копия, пережившая оригинал. Какая жалкая перспектива, но нет до ее убогости никакого дела, пока живое чудо еще не вырвалось, не скрылось от жадных бесстыдных глаз. Пока не успело вспорхнуть, как капризная бабочка. Боже, да почему эти дурацкие насекомые все время вязнут в мыслях? Они отбирают драгоценные секунды любования тем, что может никогда не повториться.

В этом узком плече нет самодовольной полноты, свойственной другим, несовершенным плечам — только едва обозначенные полоски то ли двуглавой, то ли трехглавой мышцы, и легкий штрих бугорка какой-то там кости. Глядя на бледное плечо, не веришь в анатомию человека. Его нельзя даже пытаться препарировать, только внимать ему. Ось мира проходит через это плечо. Атланты держат небо? Они мерзко присвоили чужую славу — вот тонкое плечо, принявшее на себя всю космическую тяжесть.

Если бы его можно было защитить, уберечь, накрыть сведенными лодочкой и судорогой ладонями, как ту же чертову бабочку, — она снова вернулась. Маленькая родинка — дьявольская метка. Инквизиция была бесконечно права. За нее следует сжечь, за это мелкое пятнышко на лунной поверхности, чтобы никто не посмел ее больше видеть. Еретическая ревность. Не смея прикоснуться к святому, смотришь и испепеляешь взглядом точку, из которой когда-нибудь развернется новая Вселенная, лучше и совершеннее этой. Бога узреть нельзя, но, может, можно увидеть воплощение Его совершенства? Если да — то вот оно, если нет — значит, это сон. Тогда, может быть, и правда… коснуться? Нет, нет, страшно. До дрожи страшно. Потому что, если сидеть тихо, можно поверить, что ничего не изменится. Достаточно поверить. А это единственное, что остается, когда у тебя нет ничего, кроме лунного плеча….

Планета вращается вокруг Солнца, заздравные свечи горят, растет трава.

А один смотрит на плечо другого.

И что закончится раньше — еще не ясно.



ГЕОРГИЙ ЛИТВИН

Ягодные места

Озеро детства

Как тут легко с попутной плыть волной!
Тут и тростник для весел не помеха,
Повис орешник с кручи над водой,
И в лодку сами сыплются орехи,
Едва до них дотянешься рукой.
К болотцу с клюквой тут легко гребешь.
И замирают весла вдруг в волне:
Калина!
А по болотцу светлому пройдешь,
Глядишь, и клюквы полная корзина.
Мой лес над озером — грибная сказка!
Я в нем и горстью ягод дорожу.
Все тут живое, в родниковых красках!
Свои места не всем я покажу...

* * *

Я им расскажу,
Как выдает браконьера ледок хрустящий,
Что он озвучивает в сумерках
Шаги к любимым спешащих
Совсем не так,
Как выстрел сухого валежника в чаще.
Как на протоках коварен метельной зимой...
Может, уже завтра лодку
На заиндевелый берег потащим
И перевернем бережно под,
С вороньим гнездом,
Ольхой.
Я набираю команду из самых пропащих,
На которых только мать не махнула рукой...
Потом, возле костра,
Они столько напишут
В мою неопубликованную тетрадь!
Я сделаю вид,
Что жаргон их и мат не слышу,
А расскажу,
Как в колыбели, лаская, их называла мать…

* * *

Сестре Люсе

Сзывая к дорогам заядлых на «тихой охоте»,
Охрипли сигналы машин.
Грибная пора от души наaукаласъ,
Синью в лесах назвенелась,
Ведро уже с горкой вишневых раскрасок
Моих журавин.
Ушла моя рыба на поиски лучших глубин
И леска над плесом прощально
Осенним чирком просвистела.
Ты помнишь,
Когда-то мы тут «жировали» босые
В колхозной по времени нищей
Советской глубинке?!
Сестра,
Мы в Малиновке нашей не справим дожинки!
Я — в Минске,
Ты — в Полоцке,
Братья теперь присягнули России,
И мамину мы не увидим над грядкой
Косынку…
Я в город вернулся.
С собою привез ностальгию
По лесу, по плесу
И зависть к стремительной стае.
Я в город вернулся,
И вот медсестра в хирургии
Из крепкого тела обрывки клещей извлекает...

Майские заморозки

В юные грезы, друг в друга
Влюбленные,
В книжки о подвигах, в горны, в гудки,
Будто весенней рекой разделенные,
Шли мы по берегу нашей реки.
В ряби дробилась размолвкой звезда.
Терпко горчила черемуха рядом.
— Не уезжай! —
Не сказал я тогда,
Не удержал я ни словом,
Ни взглядом.
Гордость бодрила:
— Забудь! Не грусти!

Разум простит то, что сердце осудит!
…Если проездом когда-нибудь будешь
Тут,
Неразумную гордость прости!
Зов или случай — снова с тобой
Непоправимой идем мы тропой.
Чайки о вечном кричат над причалом.
Только тогда над весенней рекой,
Помнится,
Чайки иначе кричали…
Смыла следы той размолвки вода.
В кроне спросонья чирикнула птичка.
Чиркнула спичкой по небу звезда.
Я будто пальцы ожег этой спичкой…



ТАТЬЯНА КУВАРИНА

«Как богат я в безумных стихах»[1]

В нем мирно уживаются два разных человека — прагматик и романтик. Один — умудренный опытом деловой человек, или, как теперь говорят, «бизнесмен», второй — восторженный мечтательный юноша, стремящийся найти гармонию в жизни.

«Неповторимо жизнь творят: // Один — умом, другой — мечтами», — пишет о себе Владимир Федорович Шугля, стихи которого представлены на суд читателя в этом номере журнала.

С Владимиром Федоровичем я знакома не один год. Когда-то писала о нем как о руководителе Белорусского национально-культурного объединения Тюменской области. Он тогда меня поразил своей энергией и фонтанирующими идеями. Его объединение было (и осталось!) одним из самых больших и организованных в России. Он смог собрать вокруг себя белорусов разных поколений, как тех, которые живут в Сибири со времен комсомольских новостроек, так и потомков тех, которые осваивали Сибирь еще в столыпинское время. Выделил помещение в своей компании для общественного объединения, поддерживал финансово многие мероприятия диаспоры.

В. Ф. Шугля — успешный руководитель крупной холдинговой компании «Торговый дом «Мангазея» в Тюменской области. Так романтично фирма названа в честь первого поселения славян в начале 17-го века за Полярным кругом, которое, правда, просуществовало всего 70 лет. Но тем не менее, оно стало нарицательным — так называют тех подвижников, которые пролагают новые пути и осваивают новые просторы. Владимир Федорович таковым и является. В перестроечное время был в числе первопроходцев в бизнесе в этом огромном, по территории, равной трем Франциям, богатом регионе России. Делом доказывал себе и другим, что советские чиновники не ограниченные, безынициативные исполнители, а люди, на многое способные. А чиновником он был высокого ранга: вплоть до развала Союза возглавлял главное управление торговли Тюменской области. Он был уверен в своих силах, мыслил масштабно и действовал решительно и эффективно. Создал адаптированную к рыночным условиям компанию. И она — единственный «торговый дом» в Западной Сибири, который сохранился до наших дней. Было совсем не просто. Проблем на новом поприще хватало.

«Жизнь тогда была сплошной стресс, — вспоминает Владимир Федорович, — пережил микроинфаркт, инфаркт, но все преодолел и устоял».

У Шугли свой взгляд на бизнес и своя философия. Он вывел оригинальные формулы жизни и бизнеса, основанные на нравственных постулатах. Для бизнеса — формула «Три «НЕ»: НЕ бояться, НЕ сдаваться, НЕ доверять слепо, а все тщательно проверять, для жизни — «Три «С»: Стыд, Совесть и Сострадание. По его мнению, если соблюдаются эти принципы, человек может, как птица, взлететь, расправить крылья, а не погрязнуть в суете и бездуховности служения золотому тельцу и наживе.

«Для меня деньги не главное, я их никогда не ставил во главу угла, просто Бог дал мне такое умение — быть менеджером высокого класса, я этим и восполь-

[1] А. А. Фет.

зовался», — говорит он. Деньги ему нужны, во-первых, для того, чтобы обеспечить достойную жизнь своей семье, а она у него большая. Во-вторых, для того, чтобы осуществлять общественно полезные и социальные проекты, т. е. творить добрые дела. А на его счету их немало. В первую очередь, это поддержка всего того, что связано с родиной предков — Беларусью. А еще помощь ветеранам, детям, финансовая поддержка Дней белорусской культуры, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества Тюменской области и Беларуси. Впрочем, не только это, поскольку Владимир Федорович теперь является председателем координационного совета национально-культурных автономий Тюменской области, в состав которого входят представители всех национальностей.

«Я вообще человек беспокойный: мне одной основной работы мало. Иначе не могу, скучно жить, ограничиваясь какой-то одной сферой, — делится он. — Я, как и мой любимый персонаж из книги Джека Лондона «Время-не-ждет», вечно тороплюсь, мне все время надо впереди бежать»:

Не буду жить подобно кляче,
Что вечно движима кнутом,
Я буду жить совсем иначе —
Горячим, резвым скакуном!

Он и бежит. Ставит перед собой задачи, казалось, невыполнимые. Берется за них и решает.

Один из самых беспокойных и сложных его проектов — создание Тюменской областной общественной организации «Интеграция — Союз», в уставе которой записано: «Союз — интеграция братских народов». В нее вошло более 30 организаций, из них семь — национально-культурные общества: чуваши, украинцы, казахи, немцы... Все это люди, которые поддерживают союз России и Беларуси. У организации есть и свое печатное издание — один раз в квартал выходит листок-вкладыш в тюменской областной газете «Тюменская правда».

«Интеграция — Союз» успешно трудится на «ниве возрождения и сохранения белорусских национальных традиций, культуры и языка». Владимир Федорович часто повторяет: впереди не экономика бежит, а культура. И чтобы успешно работали коммерческие проекты, нужно укреплять культурные отношения, чисто человеческие связи. Как высококлассный менеджер он понимает, что для бизнеса важно вовремя успеть протолкнуть товар, потому что в условиях конкуренции обязательно кто-то опередит. А он переживает, что качественные белорусские товары могут оказаться не у дел в этом регионе. Там уже вовсю закупают китайскую, голландскую технику. Как патриот Беларуси, он не может с этим смириться. И теперь, поставив перед собой конкретную задачу — увеличить ввоз белорусских товаров в Сибирь, целеустремленно этим занимается. Такова одна из главных задач созданной организации.

Хотя он в такой же степени патриот и России. «Для меня Родина — это и Россия, и Беларусь. Союзные отношения — для меня святое», — говорит он. Родившийся в России в семье военнослужащего, он, по собственному признанию, «...с нею связан навсегда // Сыновней пуповиной». Но родители и старшие сестры, родившиеся до войны в Беларуси, всегда «с любовью вспоминали и говорили о своей Родине и передали к ней особенное чувство». Шугля, основательный во всем, и в своих белорусских корнях серьезно разобрался. Он потратил много сил на изучение своей родословной, дошел в архивах до 1670 года и говорит, что почувствовал себя тверже на земле, когда приехал в родную деревню отца и увидел памятники с фамилиями Шуглей, осознал себя продолжателем древней фамилии. Попутно выяснил, что фамилия его означает «лодка из дуба».

В октябре 2009 года Владимира Федоровича назначили почетным консулом Республики Беларусь в Тюменской области. Этот новый статус придал значительный импульс в развитии не только культурно-образовательных, но и торгово-экономических отношений между Беларусью и Тюменской областью. Это не

только почетная, но и весьма ответственная должность, хотя и на общественных началах. Ко всем прочим благотворительным проектам добавился еще один, так как он взял на себя все расходы на содержание консульско-посольской работы. И это вполне сообразуется с его философией: «Если Бог тебе дал что-то, так и ты должен полезное делать».

Он делает все на совесть. Не случайно министр иностранных дел Республики Беларусь наградил его Почетной грамотой за проведенную работу. Уже ощутимы результаты его деятельности в качестве консула. Благодаря многочисленным встречам и переговорам с руководителями как тюменских, так и белорусских предприятий, директорами торговых сетей, представителями властей стало больше заключаться сделок по приобретению белорусских товаров. Набирает обороты процесс прямого сотрудничества: создаются совместные предприятия, решаются вопросы сервисного обслуживания по ремонту автобусов «МАЗ» — область закупает свыше 400 машин этой марки.

Он не замыкается в себе, а служит людям, доброму делу сближения братских народов. И в этом видит смысл своей жизни:

Живу и не сдаюсь
В любой мороз и стужу.
И смерти не боюсь,
Пока кому-то нужен...

Это не просто слова, это суть его гражданской позиции, характер активного человека. Это особенно ценно в нынешнее время, когда так много нытья и беспросветного пессимизма. Каким контрастом, например, выглядит «поэтическое кредо» одного из стареющих стихотворцев (воспроизвожу по памяти): «Гэта таксама праца — // Пацiху станавiцца пнём».

О Шугле такого никогда не скажешь. Огонь энергии горит в его душе и проявляется в делах.

Самое удивительное, что в круговерти повседневных забот у такого вечно занятого человека находится время для поэзии. Он заядлый книгочей, завсегдатай отделов поэзии букинистического магазина, где ищет книги своих любимых поэтов — Есенина, Пастернака, Рубцова, Ходасевича, Заболоцкого, Асадова, Друниной... Он и сам поэт, член Союза писателей Беларуси — в поэтических строчках изданных им книг угадывается душа мудреца и лирика одновременно. Мне кажется, что поэзия делает его тоньше, ранимее и отличает от всех остальных деловых людей. Там, в глубине его поэтической души, и рождается сострадание, сочувствие, желание помочь, облегчить жизнь тех, кто рядом. Его самые любимые строчки из Друниной: «Я знаю качество людей одно — // Оно дано им или не дано. // Когда в горячке бьется пулемет, // Один лежит, другой бежит вперед…»

И становится понятным, почему он так много берет на себя...

— Вы сильный человек. Вы без всякой помощи сами строили свою судьбу, преодолевали препятствия, — заключила я.

— Я как пловец в лодке, который стремится плыть и по течению, и против течения, но весло никогда не теряю... Помощь, конечно, была — основа, заложенная родителями. Я бесконечно им благодарен. Папа был очень порядочным человеком, мама — хлопотунья. Она родила и воспитала шестерых детей — четырех дочерей до войны и двоих сыновей — после войны. Их уже нет со мной, но я часто о них вспоминаю, посвящаю стихи... — ответил Владимир Федорович.

Вот такой он многогранный человек: поэт с прагматичным умом, или бизнесмен с поэтической душою...



ВЛАДИМИР ШУГЛЯ

Мамина тропка

* * *

Орел или решка… Взлетает монетка —
Играет на счастье пацан-малолетка.
Безоблачно в сердце… И солнце в зените
Вокруг все связало невидимой нитью.
От света — все в яркой и сочной расцветке —
Сверкают у сада зеленые ветки.

А дома на пашне труды и заботы,
И мамина тропка ведет в огороды,
Ложится на душу, как жизни разметка,
И жизни дорога, и памяти метка...
В колодце в ведерке с прохладной водою
Блистает лик солнца, зачерпнутый мною…

* * *

Какой наряд, какие краски
Осенней полунаготы,
Еще природа лета ласки
Хранит, как свежие цветы.

Еще полны тепла и света
В небесной дымке «бабьи» дни…
В прощальном вальсе кружит лето
В предвосхищении зимы.

Не посылают ей приветы
Просторы вешние земли,
Пока она еще вдали
Гуляет в звездах ночью где-то…

* * *

Вновь и вновь проезжаю я мимо
Вечной стати полей и лесов,
Деревенек, что «сраму не имут»,
Прожигающих жизнь городов.

Выхожу на перроны вокзалов,
Полустанков встречаю салют,
Жизнь, как будто картины Шагала, —
И гротеск, и без днища сосуд.

Заухабисто далями льется
От пиров до похмелья в крови —
Позовет, оттолкнет, посмеется,
Вновь заключит в объятья свои…

Я в рассветах найду остановку
Там, где аист кружит над жнивьем,
Положу я из сердца подковку
На дорогу, ведущую в дом…

* * *

Душе и больно, и обидно,
И мне, поверьте, не к лицу,
Когда иду, большой, солидный,
Себе навстречу — подлецу.

И говорю себе я: «Здравствуй»,
Хотя душа в огне, в огне…
Каким день новый будет завтра
В моей истерзанной стране?!

Себе я не подам и руку,
В судьбе моей — страны судьба
Прошла по сердцу, словно плугом…
Мне мимо не пройти себя.

* * *

Мне белого света не видно
И нету раздумьям конца,
За слабость душевную стыдно —
Пожатье руки подлеца…

Коварна минутная слабость,
Она словно выстрел в упор…
К себе лишь появится жалость —
И клацнет винтовки затвор.

* * *

Я уезжал — в надежде — на неделю.
Увы! Застрял — уехал еле-еле…
Все не со мной, во сне как будто было —
Едва живой — так лихо закрутило.

Но дух восстал… С души снял цепи разом...
И боль ушла… Остался только разум.

* * *

Я странник в душе… И призывный набат
Звучит в ней, как прежде, лет тридцать назад.
И снова, и снова дыханье весны
Приходит в рассветы, как вещие сны,
И сеет раздумья, и спорит с судьбой,
И в дали влечет путеводной звездой…

А годы, как будто минуты, летят —
Быстрее, чем раньше, во множество крат.

…Но нету желанья вернуться назад.

* * *

Жить, как люблю и умею,
Вдогонку за солнечным днем —
Проще простого идея…

Но что же так души мелеют?
Но что же так сложно живем?!

Это война…

На землю спустился небес ореол
В созвездии росном, —
Играют мальчишки азартно в футбол
На поле покосном.

Дома синевою залил небосвод,
Искрятся оконца,
И призраком облачко тает из-под
Палящего солнца.

В поту — не сдаются в игре пацаны —
Блистают глазенки…

Как будто и не было этой войны…
А в поле воронки…



В журнале «Москвитянин» за 1853 год (т. 2, № 5) была напечатана статья Павла Шпилевского «Исследование о вовкалаках на основании белорусских поверий». Эта работа молодого фольклориста, этнографа, историка, публициста, журналиста и писателя до нашего времени вызывает споры в научной среде. На нее ссылаются почти все исследователи белорусского фольклора, и в то же время она ни разу (!) не переиздавалась. Надеемся, современному читателю будет интересно познакомиться с этой работой.

Александр Ващенко

ПАВЕЛ ШПИЛЕВСКИЙ

Исследование о вовкалаках[1]

(На основании белорусских поверий)

Белоруссия так полна, так обильна разными преданиями, поверьями, суевериями и предрассудками, что, зная обо всем этом, невольно пожалеешь, — отчего до сих пор наши ученые не хотят обратить внимание на этот край и изучить его во всех отраслях отечественной старины… На страницах наших журналов постоянно являются разные исследования о древностях Афин и Рима, костюмах, обычаях и даже пиршествах их жителей. А древности Западной России, особенно же Белоруссии, как будто считаются слишком малозначащими для того, чтобы напечатать о них в каком-нибудь периодическом издании. Не знаю, чем объяснить такое равнодушие наших ученых к Белоруссии. Не тем ли, что о древностях римских и греческих легче писать в кабинете по иностранным источникам, а чтобы написать о Белоруссии, для этого необходимо знать ее, прожить в ней, проследить несколько лет на месте за всеми ее древностями? Если за этим дело, так почему же не приступить к изучению Белорусского края тем, которые имеют возможность посвятить годы на столь полезное и важное дело?.. А ведь Белоруссия стоит того… Этот уголок нашего отечества по справедливости можно назвать столицею древней славяно-русской мифологии; там — исход всех языческих предков наших, которые, вследствие происшедших взаимных междоусобиц племенных, расселились по соседству в разных окраинах громадной нынешней России… Быть может, такое чествование Белоруссии покажется кому-нибудь удивительным? Чтобы согласиться со мной, для этого нужно быть белорусом, нужно знать бесчисленные песни, поговорки, сказки, предания и поверья этого околотка нашего отечества, нужно видеть следы доселе сохранившихся в Белоруссии родовых отношений между так называемою застенковою шляхтой тамошнею. В таком только случае понятно будет значение Белоруссии в археологическом, филологическом и историческом отношениях.

Верно, чего-нибудь да стоят белорусские сказки, поверья и песни, когда их постоянно черпают соседи наши, польские ученые… Но что же из этого выходит, при равнодушии к Белоруссии ученых русских? Господа польские ученые все чисто русское, родное наше переделывают на свой лад, полонизируют поговорки и пословицы, переносят на свою почву поверья и предания, и таким образом,

[1] В письме соблюдено белорусское произношение.

отнимают у Белоруссии характер русской древности. Особенно известен в этом отношении г. Войницкий, который очень мало даже знаком с русским языком и почти вовсе не знаком с Белорусским краем…

Что же сделали Вы, милостивый Государь?.. спросят тут многие; — Вы, который так честите Белоруссию?.. Будучи еще в Белоруссии, я записывал из уст народа разные песни, слова, прибаутки, загадки, пословицы и сказки, с целью — сделать из них употребление впоследствии. Переехав в Петербург, я обратился со своими записками к некоторым лицам, и, по воле бывшего г. Министра Народного Просвещения графа Уварова, поместил в Журнале Министерства Народного Просвещения два отрывка из составленного мною «*Словаря и корнеслова белорусского наречия*». Но, сознав неоконченность трудов двадцатилетнего возраста своего, я решился остановиться на некоторое время с полным печатанием их и, переехав в Варшаву по назначению правительства, посвятил себя дальнейшим и окончательным изысканиям белорусских древностей. Следствием этих изысканий было то, что переделал и пополнил Словарь и вообще все записки свои о белорусских песнях, поверьях и пословицах: и теперь вскоре надеюсь приступить к отдельному изданию всех приготовленных мною сочинений о Белоруссии.

Чтобы дать какое-нибудь понятие соотечественникам о моих занятиях, прошу Вас, м. г., выбрать в издаваемом Вами журнале местечко для посылаемой статьи о *Вовколаках*.

Вовкалака (или *вовкалека*) — оборотень, т. е. человек, превращенный кем-нибудь или превратившийся сам собою, по своему желанию, в волка. Верования в существование таких оборотней общи чуть ли не всем славянским племенам. Так, у поляков есть *wilkolek, wilkólak;* у чехов — *wilkodlak* и *wlkodlak*; у сербов — *влколек, врколак* и *влколи́јек;* у кроатов и боснийцев — *vukodlak;* у далматинцев *vakudluk*; у рагузцев — *vukolak;* у трансильванцев — *vacodlac;* даже у немецких славян есть тот же оборотень под названием: *wärwolf.* У славян же русских (во внутренних губерниях нынешней России) существует поверье о *волколаках* и *вурколаках*: вероятно, на основании последнего произношения воспел оборотня и знаменитый наш поэт Пушкин. Но больше всех славяно-русских и даже, вообще, славянских племен может похвалиться многочисленными поверьями и рассказами о *вовколаках — вовкалеках* Белоруссия.

Если филологически разберем корнеслов приведенных нами названий оборотня, то найдем два значения вовкалака у всех славянских племен, особенно же у русских, сербов и поляков, которые (значения) вполне будут соответствовать двум понятиям о вовкалаках, т. е. о вовкалаках вообще, потом — о вовкалаках как о людях, превращенных в волков кем-нибудь, и о вовкалаках как людях, имеющих силу себя и других превращать в волков.

Первое значение получим от корней: *wilk, вук, влк (волк)* и = *dlak, dlaka* (у чехов), *kodlak* (в Галиции), *chlaka, chlak, chlup* (у сербов) = шерсть, волос, собственно, клочки волос. То есть, *wilkodlak, vucodlak* — будет значить: имеющий волчью шерсть, мохнатый, как волк, имеющий на себе комки волчьих волос. Такое значение соответствует преданию славян о волколаке-оборотне вообще, но не дает определенного понятия о том, сам ли человек превращается или кто-нибудь другой превращает его в волка. А следовательно, такое корнепроизводство *вовкалаки* будет недостаточно, как слишком обобщенное и неопределенное, притом же, не чисто славяно-русское, а только славянское. И потому, не довольствуясь этим словопроизводством, подобно г. Афанасьеву, и имея в виду собственно белорусского оборотня, мы употребим еще другой корнеслов для значения — *вовкалаки.*

В Белоруссии (и Малороссии) употребляются слова: *лека* и *лек*, которые значат: самоучка-лекарь, пользующий больных разным *зельем* (травами): оттуда *лек — лека=знахарь,* колдун, чародей, вследствие того, что удачное лечение, а особенно как бы восстановление умирающего больного, считается делом не человеческим, сверхъестественным: обычное понятие простого белорусского народа!!! Этому белорусскому слову вполне соответствует и сокращенное — простонародное слово

польское: *lek, сербское*: *лек, лийек, боснийское: ljek, lik, далматское и кроатское: lik, украинское ликарь.* Отсюда слова: *вовкалака, вовкалека, влеколек, вивкалик* — будут значить: волкознахарь, колдун, имеющий силу зачаровать, превратить кого-то в волка, — пожалуй, при помощи какого-нибудь *зелья*[1]. Такое значение белорусского вовкалаки, кажется, понятнее — тем более, что во всех белорусских поверьях, и особенно — о вовкалаках, *знахари и знахарки* играют большую роль.

А чтоб слову *вовкалаки* или, как его произносят далматы, *vakudlak*, дать значение: превращенный кем-нибудь в волка, — для этого укажем на белорусские глаголы: *ла́чыць* и *лучыць. Ла́чиць* значит завербовать, насильно сделать кого кем, превратить во что или в кого-нибудь. В сказках белорусских, где говорится о заколдованных *князевичах* (молодых князьях, превращенных в камни, столбы и в разных животных), употребляется слово: *ла́чиць;* например: *и плача ла́ченый (*забраный в плен) *князевич! То не жаба была, а жабалака* (т. е. превращенный в лягушку). Здесь слово: *лака* — от глагола: *ла́чиць.* В таком роде есть много других слов: *ступала́ка* (обращенный в столб), *кошкала́чень* (обращенный в кошку). *Лучиць* значит: сделаться, статься чем-нибудь поневоле.... Это слово тоже употребляется в сказках для означения состояния заколдованных *ведьмарами* людей: *лучив на вовкалаку,* т. е. по милости *ведьмара (*ведуна), колдуна, сделался вовкалакой: *угневав дудара, лучив на бобыля,* рассердил *дудара* (см. ниже) и за то сделался бедняком по его милости, т. е. обнищал. Соединив оба этих глагола со словом *волк,* мы найдем следующее значение вовкалаки: человек, превращенный в волка, сделавшийся волком насильно, по воле колдуна, *знахаря-дударя.*

Таким образом, не прибегая к общеславянскому корнепроизводству вовкалаки, можем иметь — *белорусское* — можем и даже должны, тем более, что находим основание думать, что поверье о вовкалаках получило исходное свое начало в Белоруссии и уже впоследствии привилось к другим соседственным славянским племенам. Для этого мы сошлемся на древнейших свидетелей, дохристианских историков. *Геродот*, описывая местность, нравы, обычаи и религию разных славянских народов, весьма определительно говорит касательно поверья *Невров* об *оборотнях* (вовколаках): «У этих людей, замечает он, издавна существует верование, что они, силою своего волшебства, могут в известные времена года на несколько дней превращаться в волков и потом опять возвращаться в прежнее состояние»[2]. По картам *Спенера* и *Стредовского*, Геродотовых *Невров* нужно принимать за обитателей нынешней западной России, и именно Белоруссии, т. е. за несторовых Дреговичей, Древлян, Полочан и Северян. Ученый Нарушевич ясно и с уверенностью утверждает, что *Невры*[3], у которых, как свидетельствует Геродот, существовали предания о вовкалаках, занимали обширные места от устьев

---

[1] Приведу слова российского ученого, этнолингвиста Е. Е. Левкиевской из ее работы «Механизмы создания мифологических фантомов в «Белорусских народных преданиях» П. Древлянского»: «А чтобы обосновать свою этимологию этого слова (вовкалак — это якобы «волк-лекарь», «волк-знахарь», т. е. знахарь, обращающийся в волка), Древлянский придумывает совершенно невозможную и никогда не фиксировавшуюся форму *вовколек*.

[2] Процитирую слова Геродота, который описывает поход Дария против скифов в 514 г. д. н. э.: «…невры были вынуждены покинуть свою землю и поселиться среди будинов. Эти люди, по-видимому, колдуны. Скифы и живущие среди них эллины по крайней мере утверждают, что каждый невр ежегодно на несколько дней обращается в волка, а затем снова принимает человеческий облик. Меня эти россказни, конечно, не могут убедить; тем не менее так говорят и даже клятвенно утверждают это». (Геродот. История. Кн. 4, Мельпомена, стр. 213, Л., Наука, 1972 г.)

Примечание переводчика Г. А. Стратановского: «Волк — тотемное животное невров, с которым они считают себя в родстве. Сообщение об оборотничестве относится к культовому празднику, участники которого носили волчьи шкуры и маски».

[3] Геродот сообщает старинную легенду о переселении скифов. Змеи в ней символизируют враждебных пришельцев, которые изгнали невров из их мест обитания.

Днестра и выше Киева вдоль по течению Днепра и Десны, т. е. частью в нынешнем Полесье волынском, губерниях: Киевской, особенно Могилевской и Минской, и Черниговском Приднепровье. Спрашивается, отчего же Геродот, описывая славян с таким всесторонним знанием, замечает, что поверья о *вовкалаках* нашел он именно у невров? К свидетельству Геродота прибавим то предание жителей пинского Полесья (Минская губ.), что *Овидий* жил некогда возле нынешнего г. Пинска в пещере, на высокой горе, окруженной со всех сторон озерами и *черотом* (тростником большим), куда будто ссылали его за дерзкие стихи; в память чего до сих в устах пинского народа сохранилось название горы: *Овид-Гора,* и озера: *Овид-озеро;* об этом озере упоминает и Нарушевич, соглашаясь с пинскими народными преданиями[1]. Очень может быть, что Овидий, живя между нынешним пинским Полесьем и Приднепровьем, подслушал белорусское (неврское) народное предание о вовкалаках и на основании его написал[2] известные «Превращения» (Метаморфозы). Почему ж не допустить, что его *Ликаон* (Lycaon) есть тот же белорусский вовкалака?! Стоит только знающему поверье белорусцев и со вниманием читавшему фантазию Овидия о Ликаоне сравнить первое с последним: окажется большое сходство!!!

Основываясь на таких важных данных, мы должны согласиться, что поверье белорусцев о вовкалаках очень древне. Кроме Геродота и Овидия, мы не имеем других указаний, по которым могли бы судить о подробностях этого поверья у древних невров, но по существующей многосложности его у нынешних невров-белорусцев можем гадать, что если в настоящее христианское время, очевидно, имевшее сильное влияние на изглаждение языческих суеверий и толков, все-таки в Белоруссии сохранилось много рассказов и преданий о вовкалаках, то, без сомнения, в языческие времена Геродота и Овидия еще более и свободнее могли существовать между неврами такие проявления духа и проявления фантазии язычествовавшего народа!

А современные предания белорусцев о вовкалаках очень-очень разнообразны и обильны. Нет окрестности, нет деревни, нет семейства, где бы не знали какого-нибудь самого забавного рассказа, самого фантастического поверья о вовкалаках. Сами старики — главы многолюдных семей — в свободные святочные вечера твердят своим детям и внукам об этих то страшных, то жалких оборотнях, а пение белоруски-молодицы во время *колядских* посиделок воспевает проделки знахарей, обращающих нелюбимых ими людей в волков и плачевное состояние обращенных. И так, по преданию, из потомства в потомство переходит верование о вовкалаках. Верование это до того преувеличено, что нередко обыкновенных волков принимают за самих оборотней. Случается, что во время зимних морозов проголодавшиеся в лесу волки, как водится за этими недобрыми деревенскими соседями, нападают на людей — тотчас во всей деревне прогремит слух, что

---

[1] Беру на себя смелость утверждать, что Овидий никогда не был на Полесье. В декабре 8 г. н .э., в пятидесятилетнем возрасте, он был сослан в маленький город Томы, который находился на месте впадения Дуная в Черное море (теперь город Констанца в Румынии). Большинство горожан составляли буйные и сварливые геты и сарматы. За Дунаем жили воинственные кочевники, которые постоянно нападали на город, и их отравленные стрелы падали на городские улицы. Связь с цивилизованным миром поддерживали только греческие корабли, которые летом привозили вести из Рима. В этих суровых условиях Овидий прожил 10 лет и умер, так и не дождавшись прощения… Мог ли пожилой поэт совершить путешествие длиной почти в две тысячи километров через территорию, заселенную враждебными племенами? И зачем ему нужно было ехать на Полесье, когда он всей душой стремился в Рим? В своих «Письмах с Понта» (Наука, М., 1978 г.) он ни словом не обмолвился о подобном путешествии.

[2] Геты не были славянским племенем. Славянами были венеды, которые в первых столетиях н. э. жили между Днестром и Дунаем рядом з гетами и даками. (Энциклопедия «Археалогія і нумізматыка Беларусі», Мінск, «Бел. Энц.», 1993 г., с. 569.) Поэтому версию о происхождении белорусского языка от гетского наречия можно считать ошибочной.

вовкалак напал на такого-то Архипа или Сидора: беда Сидору или Архипу, если, на случай, считают их знахарями; догадливые бабы (как и везде бабы) дополняют слух, что вовкалак хотел отмстить знахарю за то, что тот обратил его в волка...

По мнению Белорусцев, есть два рода *вовкалак.* К первому относятся *вовкалаки-знахари,* ко второму — несчастные жертвы их, превращенные в волков: первых белорусцы очень боятся, а о вторых сожалеют.

Волколаки-знахари, как и вообще знахари, по разумению белорусскому, находятся в связи с нечистой силою — чертом, которому они продают свою душу, вследствие чего получают власть превращать людей в волков и потом, по желанию, опять переделывать (*отробливаць*) в людей. Такое верование, очевидно, есть смесь элемента языческого с новым и ведет свое начало частью от антропоморфизма нечистой силы, а больше от хранившегося в славянском народе того предания, что некогда у его предков были служители языческих капищ, которые, изучив кой-какие таинства природы и чтобы поддержать в невежественном народе веру в свою силу и могущество сверхъестественное, вышечеловеческое, пугали их разными мнимыми чарами, заклинаниями и наваждениями... И без сомнения, нынешние знахари в Белоруссии выродились из этих языческо-славянских капищеслужителей. Потому что белорусские знахари, сравнительно, не что иное, как те же знатоки некоторых таинств природы, изучившие ядовитость растений, камней, напавшие случайно на силу магнита и электричества и злоупотребляющие своими познаниями по причине развращенности нрава и испорченности сердца. Как на капищеслужителей своих язычники славяне смотрели будто на божества и, не понимая их шарлатанства, благоволили пред велемудрыми их изречениями, так нынешние белорусцы, по своей темноте и невежеству считая *вовкалак-знахарей* чем-то выше себя, хотя эти знахари такие же невежи, как и они — только плутоватее их, — верят во все то, что они скажут, и хотя десятое из их сказаний сбывается, а прочее оказывается надувательством, но боятся их и делают им почет на всяком шагу, опасаясь оскорбить и прогневить их могущество и всезнание. Далее — капищеслужители никому из простого народа не открывали своих тайн и плутней и при смерти передавали их только друг другу или тому, кто готовился на их поприще; так точно и знахари белорусские ни за какие блага не откроют своего *знахарства* незнакомому человеку или, как они говорят, простаку, а умирая, передают его детям или тому, кого они считают решившимся отдать свою душу нечистой силе, и то передают под страшными угрозами — не изменить тайне. По понятию языческо-славянскому, капищеслужители были *детьми или избранными* богов — и, по мнению белорусцев, знахари-вовкалаки люди не простые, а как будто составляют особую касту высших существ, которые имеют связь с нечистыми духами: в состав этой касты входят *дудари* (играющие на дуде, веселышки, сказочники в роде *боянов*, *млынари* (мельники) и *пастухи*. *Дудари* — народ тертый, везде бывалый: дударь многое слышит, рыская по белому свету, многое сам придумает; умеет ловко рассказать о виденном; подчас надует кого-нибудь удачною плутнею, особенно когда большая часть из собеседников его значительно подхмелена: нередко, кстати, услужит какой-нибудь старой бабе ссудой нужной вещицы (верно, и в простом народе женская протекция имеет свое значение), и — пошла молва: «дударь из нашего двора, брат!.. *пазнався з Дамавиком*, — подружился с Домовиком. *Млынари* — народ отчужденный, нелюдимы, большею частью с какою-то таинственною, угрюмою физиономиею. *Млынарь* сидит постоянно в своей мельнице; для большего барыша мелет ночью, а пьяному белорусцу представится, что в мельнице жужжат жернова, но колеса не вертятся; случится в деревне пожар — все сгорит, а мельница, будучи при реке и вдали от деревни, уцелеет; какая-нибудь шатающаяся на все стороны баба дополнит рассказом, что она видела, как во время пожара черные вороны сидели на кровле, а лягушки на стенах мельницы, и защищали ее от пожара, тогда как млынарь преспокойно стоял в дверях и курил *пипку* (трубку). И — заговорили по всей деревне, что млынарь — не простой человек, *знаецца з водовиком*. *Пастухи* — народ смышленый, проводят

все лето в лесах и болотах (самых глухих и вязких нередко), где только есть пастьба; от нечего делать собирают травы, сушат корни цветов и всяких растений, испытывают их силу, целительность над скотом; как-нибудь вылечат у соседа корову, у соседки — овцу; побольше наблюдают за чьею-нибудь коровою, да та и сама, по животному инстинкту, срывает питательные и лучшие травы, отчего дает больше молока; мало того, иногда плутоватый пастух нападет на *змею-медянку* (без жала), принесет ее в деревню, напугает детей, — те расскажут своим матерям; матери, не видев змеи, выдают за несомненное соседкам, что такой-то пастух не боится ядовитых змей. Бывает и так, что пастух дает какой-нибудь травяной настойки бедной влюбленной девушке, потом сведет ее втихомолку с избранным дружком, та расскажет своим подругам, что ей помог пастух, и вот прокричали: наш пастух знахарь!.. Наш пастух *ведарскій* (всезнающий) человек, *пабратався* (связался) с *нечистикам — кадуком*! Вот каким образом творятся белорусские знахари!.. Вот как легко дударям, млынарям и пастухам, при сметливости и ловкой плутоватости, попасть в касту людей *непростых,* т. е. *знахарей* вообще и *знахарей-вовкалак.*

Зная такое верование белорусцев (простого народа) в свою силу, эти дудари, млынари и пастухи после нескольких удачных одобрений своего мнимого чародейства мало-помалу и сами начинают верить в свое всеведение, и, наконец, некоторые из них доходят до того, что решаются промышлять своим знахарством, и таким образом, живут припеваючи; часто наживают большое состояние, хотя это состояние обыкновенно не прочно. Белорусцы утверждают, что оно не сегодня, так завтра *огнем пойдеть* (сгорит), потому что эти знахари знаются с нечистиком.

По понятию белорусцев, вовкалаки-знахари, превратившись в волков, усвояют себе все свойства зверские, делаются так же хищными и кровожадными, как и настоящие волки, — даже хищнее их, потому что вовкалаки не столько нападают на домашнюю скотину и душат ее подобно волкам обыкновенным, сколько на людей, особенно на молодых и преимущественно на детей, впрочем, не едят их, а только высасывают из них кровь, как *расамахи* высасывают мозг, думая тем омолодить себя, подобно *Разамаре*, враждебному духу-помощнику *Бабы-Яги*; нападения их тем ужаснее, что никакая сила человеческая не может противиться им... Хищность вовкалак-знахарей во всякое время свирепа, потому что они превращаются в волков для того, чтоб отмстить какому-нибудь семьянину за нанесенное им оскорбление, но эта хищность особенно проявляется два раза в год, как думает белорусский народ, именно: на канун Рождества Христова или, как говорится в Белоруссии, *перед калядным вечером и на Купалу* (в Иванов день). В эти времена, говорят, вовкалаки-знахари особенно свирепствуют и не дают проходу молодицам и детям; тогда они так ловко превращаются в волков, что по наружности никак нельзя отличить их от действительных волков; в это время у них вся поверхность совершенно покрыта бывает волчьей шерстью, тогда как в другую пору года, особенно в глубокую осень, когда обнажается от листьев осина, — на хребте, голове и ногах заметны бывают иногда следы тела человеческого (или одежды и обуви); даже на лапах выдаются пальцы. В эти две поры года, твердят Белорусцы, вовкалаки-знахари могут превращаться не только в волков, но и в разных других животных и птиц, как-то: козлов, собак, кошек, лягушек, сорок, ворон, воронов, сов и петухов: это потому, что *на Каляду* и *на Купалу* получают они какую-то необыкновенную силу знахарства — на *Лысой Горе,* куда отправляются в эти времена для совещаний с Бабой-Ягой. Что же касается превращения ими других людей в волков и потом опять в людей, то знахари эти могут превращать их во всякое время и на сколько угодно лет: им трудно только самим превратиться (оборотиться) во всякое время.

Зато сколько вовкалаки-знахари делают зла белорусцам при жизни своей, столько первым достается от последних при и по смерти их. Как только узнают о смерти подобного знахаря, который не успел передать кому-нибудь знахарства своего и, значит, не освободился от власти бесовской, то не хотят даже войти к нему в дом, а тем более участвовать в погребении его. Да не для чего и погре-

бать такого *нечистика*, говорят набожные люди в Белоруссии: его заберут *крумкачи* (вороны). Нужно заметить здесь, что, по мнению Белорусцев, в предсмертные минуты знахаря-вовкалаки (как вообще всякого знахаря) на кровлю и даже на трубу дома его слетается несметная стая *нечистиков* в образе *крумкачей,* которые сторожат, чтоб как-нибудь не успели люди (семья его) уговорить его обратиться к Богу; не допустив людей до того, как они уносят душу умершего с самым страшным криком и с шумным взмахом крыльев, после чего тело знахаря делается черным, как уголь, и дом его горит. Я никогда не забуду, как очень недавно (1851 г.) рассказывали мне в г. Слуцке (Минской губ.) самую фантастическую сказку про одного *тройчанина* (слуцкий мещанин, принадлежащий к приходу церкви Св. Троицы)… Будто этот тройчанин был знахарь-вовкалака, много людей *перепортил*, умел делать *завитки*; никогда не работал, а между тем, всего имел вдоволь и вечно пьянствовал у шинкаря Азика… Случилось так, что его постигла внезапная болезнь, и он, умирая, никому не успел передать *знахарских тайн.* Почувствовав приближение смерти и вспомнив о гибели проданной нечистику своей души, он стал просить жену сходить за священником, но в эту минуту налетела тьма крумкачей и, махая, даже бия крыльями у дверей и окон умирающего, никоим образом не выпускала из дому его жены до тех пор, пока не скончался тройчанин. По смерти, говорили, он сделался весь черен, и ночью тело его пропало.

Если же умирающий знахарь-вовкалака успел передать кому тайны своего знахарства, то его не тревожат крумкачи, так как сила обязательства его перешла чрез то на душу того, кому передано знахарство. За то все-таки Белорусцы чуждаются такого умершего и, при всей охоте к шумным тризнам над покойниками, отказываются от приглашений семьи покойника на поминки (поминовения). Мало того: не доверяя смерти вовкалаки или из ненависти к нему, спустя несколько дней после погребения этого знахаря собираются несколько старых людей на могилу его и вколачивают три осиновых кола — у изголовья, посреди и у ноги, приговаривая:

От так табе-т-ка, ваўкалака!
Кыш, кашкалака, жабалака!...
Штоб ты не ўстаў!
За асінкаю прапаў!
Асінкаю табе
Па барадзе,
Па сэрцу
Да па каленцу!...

(Вот так же тебе, вовкалака! Пропади, сгинь, кашкалака, жабалака (см. выше эти слова)!.. Чтоб ты не встал, вместе с осиновым колом пропал (сгнил)... Вот мы тебе осиною в бороду, в сердце и в колено!..)

Совершенно иначе смотрят в Белоруссии на вовкалак второго рода, т. е. на *жертв* знахарских превращений. Прежде всего верят Белорусцы, что эти вовкалаки всегда имеют незаросшие шерстью *лысинки* человеческого тела или следы одежды, чем вполне отличаются от вовкалак-знахарей. Следы лысинок этих объясняют тем, что во время превращения в *оборачиваемом* (том, которого превращают в волка) человеке происходит борьба силы человеческой с *знахарской* или *ведьмарскою*… Потом говорят, что эти вовкалаки совершенно ручны, как домашние животные, — воют очень жалко: не то по-волчьи, не то по-собачьи, а часто глухо стонут, как тяжко больные люди, потому что, несмотря на преобразование в волков, они не теряют человеческих чувств и даже некоторым образом разумного сознания. С виду эти вовкалаки — совершенные волки, тольки большею частию бывают одноглазы и даже *слепы* на оба глаза (знахарская проделка!..). Состояние вовкалаки-жертвы — самое ужасное, невыносимое. По сообщенной ему зверской натуре, он готов бросаться, как волк, на всякое домашнее животное и, таким образом, вредит жителям своей деревни, даже своим родным, но часто проявляющееся в нем человеческое чувство жалости и сострадания удерживает его от

такой зловредности, а чрез это нередко бывает он голоден по несколько дням и даже неделям, так, что совсем отощает. Вовкалака-жертва не смеет подойти даже к ограде какого-нибудь жилья своей деревни, опасаясь быть преследуему и биту, как хищный зверь; почему беспрестанно блуждает по полю, прячется в лесах и нигде не находит себе покоя. Впрочем, будучи вынужден нестерпимым голодом, пробирается тайком в деревню; там нередко узнают его знакомые или родные и из жалости кормят его; но как только накормят, тотчас бежит в лес. Узнают же его по тому, что будто на него не лают собаки, вследствие того животного инстинкта, что он не за тем пробрался в деревню, чтоб сделать хозяевам какое-нибудь зло… В противном же случае, когда вовкалака, побуждаемый овладевшею им зверскою хищною натурою, забирается на жилой двор деревенский затем, чтобы похитить или задушить какую-нибудь домашнюю скотину, то на него лают собаки, почуяв приближение его издали, как волка обыкновенного, и хозяева колотят его. Зато и он, в свою очередь, мстит им после такого угощения побоями. Завидев где-нибудь на поле корову, овцу или даже лошадь обидевшего его семьянина, душит беспощадно и, сколько нужно ему, ест, а остатки бросает не тронувши; мало того, изувечивает людей, заводит детей в непроходимый лес или болото и там бросает их на съедение зверям. В этом случае в нем преобладает зверство-хищничество, за что после, опомнившись, он мучится и страдает, как человек-преступник. Впрочем, вовкалака-жертва не душит людей, как вовкалака-знахарь, потому что он не питается ни кровью, ни мясом человеческим.

Так появление вовкалаки-жертвы в деревне, по понятию Белорусцев, бывает следствием *выгаладаласці* его, потому-то, когда осенью увидят такого вовкалаку, ворожат о предстоящем голоде, а также о сильных морозах подходящей зимы, что можно видеть из следующей поговорки или припева белорусянок:

Да што ж ты, ваўкалака-нябожа,
Так к сялу прымыкуеш?
Да чы ж ты, ваўкалака-нябожа,
Ліхую зіменьку чуеш?
Ой, чы ліхая, чы не ліхая,
Да не будзець як летанька,
Да не будзець жа цёпленька.

В состоянии превращения бедные жертвы бывают по нескольку дней, месяцев и даже лет, но никогда не бывают всю жизнь: этого, говорят Белорусцы, *не зможа падробіць знахарская моц* (не сможет сделать сила знахаря).

Чтобы лучше уяснить читателям поверье Белорусцев о состоянии вовкалак-жертв и силе вовкалак-знахарей, представлю несколько рассказов (о вовкалаках), записанных из уст народа…

Рассказ 1-й[1]. Одну красивую поселянку Алену любили два молодых крестьянина: Степан-бедняк и Кузьма, богатый дворовый человек (лакей). Алена любила бедняка, но, как водится, богатый превозмог бедного, успев выпросить позволения жениться на Алене. Несмотря на нерасположение к Кузьме, Алена должна была покориться, но в душе поклялась вечно любить Степана. Кузьма понял это и потому, чтоб избавиться от соперника навсегда, обратился к помощи *дударя* Артема.

…Назначен был день свадьбы, пригласили на пир и Степана. В продолжение всего вечера среди общего веселья Алена и Степан сидели молчком и были печальны. Вот Артем, как бы из участия, подходит к Степану и, наговорившись с ним досыта, предлагает выпить вместе для дружбы по чарке *варенухи*. Ничего не подозревая, Степан выпил рюмку вина, но лишь только проглотил его, как

[1] Этот рассказ позаимствован из «Шляхціца Завальні» Яна Борщевского, который выходил из печати отдельными томами с 1844-го по 1846 год.

вдруг почувствовал какое-то странное трясение во всем теле: то было начало *превращения* (вовколачества). Еще несколько минут прошло: глаза Степана сделались красными, страшными и засверкали огнем, как у волка; волосы на голове превратились в какую-то жесткую шерсть; на пальцах рук явились огромные, острые когти; лицо покрылось комками волчьих волос. Присутствовавшие на свадьбе перепугались и стали обходить Степана, да и сам он, ощупав шерсть, испугался самого себя, как волк, юркнул меж ног гостей, бросился в двери и побежал в лес… Так произошло превращение бедного Степана в волка, совершенное силою *знахаря-дударя* Артема; он влил в варенуху настоя из какого-то *зелья*: выпивший ее перестал быть человеком и превратился в вовкалаку.

Побежал бедный Степан-вовкалака в лес и сделался лесным жителем; стал питаться мясом животных и птиц, но всегда избегал встречи с людьми, опасаясь, чтоб его не убили, как волка, отчего жизнь его была самая страдальческая.

При всем звероподобии в Степане сохранились некоторые человеческие чувства, что еще более увеличивало его мучения.

Не раз, выбежав из леса и заслышав в своей деревне звон церковных колоколов, метался, как шальной, во все стороны от отчаяния, страшно выл и по-человечески болезненно стонал. Не раз бедному вовкалаке живо представлялась прошедшая жизнь, радости и блаженство любви Алены, и тогда во всей силе проявлялось в нем чувство ненависти к знахарю Артему и даже ко всем людям, вследствие чего зарождалось в нем желание отмстить негодному *дударю.*

Однажды, проходя близ деревни, Степан увидел, что дочь Артема *Ганка* (Аннушка) пасла гусей. С остервенением дикого разъяренного волка бросился он на невинное дитя и, схватив его, потащил в глубокий лес; там, измучив его, бросил в трущобу. Но подобное мщение стоило ему немалых угрызений совести: он не мог найти покоя; пробуждавшееся по временам человеческое чувство напоминало ему о злодеянии зверском, волчьем.

Степан рад был загладить свое преступление, но долго не находил никакого случая к тому. Наконец однажды летом видит — крестьяне, утомленные полевою работою, отдыхают в тени леса… Вот слышит: один из них говорит: «Где-то теперь блуждает Степан-вовкалака? Жаль его — столько лет бедствует… Ах, если б он каким-нибудь случаем напал на *Аксинью-знахарку;* говорят, она умеет превращать людей в животных и потом — из животных обратно в людей. Кажется, она где-то здесь близко живет».

Обрадованный такой вестью, Степан-вовкалака обошел все соседние места, и, наконец, по инстинкту, напал на жилище Аксиньи. Однажды, проголодавшись, както проходил он в глухом леску; смотрит — на горе стоит домик, возле домика на травке бегает и резвится быстроогненноглазая кошка. Вовкалака хотел схватить ее, но та превратилась в сороку и села на кровле домика; в эту минуту откуда-то взялось множество кошек на кровле, на окошках и на ограде домика. Степан догадался, что здесь должна жить Аксинья… Но как явиться к ней!... В виде волка не примет. Призадумался вовкалака, прилег на горе и ожидал какого-нибудь благоприятного случая. Вот на закате солнца выскочило из домика множество кошек, и все они побежали на луг, поели какой-то травки и вдруг из кошек сделались красивейшими девушками. Степан-вовкалака заметил волшебную траву, отведал ее и — о чудо! — стал человеком. В восторге начал прыгать, бегать и играть с девушками: игра и беготня продолжались до полуночи. В полночь на кровле домика явилась *сова* и прокричала что-то голосом дитяти. Зашумели леса, заколыхались воды в ручеечках и болотах; девушки (то были русалки) провизжали диким голосом: «Полночь! Полночь!..» и, превратившись в кошек, побежали в домик. Степан превратился в волка. Полюбилось Степану подобное превращение хоть на несколько часов, он повторил его и на другой день — вечером. Но на этот раз он услышал неприятный отзыв одной русалки о себе. «Ах, как я не люблю его!» — говорила она другой, указывая на Степана. «Почему ж так?» — спросила другая. «Да потому, что я видела, как он превращался в волка, а я смертельно ненавижу волков за то, что волк был причиною моего несчастья…» — «Как

так?» — спросил Степан, ввязавшись в разговор. «Когда я жила у родителей еще маленькая и пасла однажды гусей, меня схватил волк и, затащивши в лес, бросил в трущобу. Я почти умирала там, вдруг откуда-то взялась Аксинья и предложила мне переселиться к ней. «У меня, — сказала она, — много девиц, всякий день пляски, песни; тебе там будет весело с подругами». Сначала не соглашалась я, но, видя, что иначе должна буду в лесу умереть, решилась принять предложение Аксиньи, — и в ту же минуту, не помню каким чудом, я перенесена была в ее волшебный домик. О, проклятый вовкалака! Отчего ты не разорвал меня тогда в лесу на части? Лучше было бы тогда умереть навсегда, чем оставаться животным весь день и только на минуту — человеком!» Затрясся бедный Степан, услышав такое проклятие себе из уст *Ганки* (то была Ганка), и, превратившись в волка, с горя и отчаяния побежал опять в лес. В нем пробудилось человеческое чувство — его начала мучить совесть; проклятие Ганки не давало ему покоя: страшная жизнь наступила для Степана опять!

Однажды, в воскресный день, пробегая возле пахотных полей, видит — священник идет с несколькими крестьянами и наставляет их жить честно, миролюбиво, никому не мстить, объясняя, что мщение унижает человека до звероподобия и противно духу христианской религии, тогда как прощение обидчиков и любовь к врагам преклоняет милосердие Божье… Слышал всё это Степан, и в сердце его возмутилась кровь… «Боже мой! — воскликнул он в порыве пробужденного человеческого чувства любви к ближнему. — Помоги мне загладить мое преступление, мое мщение Артему! С этих пор буду стараться делать добро людям…» И вот через несколько дней Степан отогнал лису от стада гусей и индеек, не допустил медведя к стаду коров; потом не раз отнимал у волка овцу вдовы или несчастной сироты. Степан радовался своей перемене и мог спокойно спать. Спустя еще несколько дней Степан оказал услугу Алене, жене своего соперника… Как- то Алена жала на поле, на берегу нивы спало ее дитя — маленький мальчик. Подошедши к нему, он любовался на этого крошку-мальчика и обрадовался, что Алена имела детей. Вдруг прибежал волк и схватил мальчика. Мать, заслышав крик дитяти, стала кричать: «Спасите, спасите дитя мое!» — и пала на землю замертво. Степан догнал волка и отнял дитя. На крик матери сбежались пахари и изумились, увидев, что волк у волка отнял ребенка. Вовкалака убежал в лес, но какое-то радостное, непонятное чувство овладело всем существом его: приятный сон усыпил его, и он увидел какие-то странные сновидения… Ему представился его дом, семья, его поля, огороды, сад и цветы. Посреди сада является какой-то исполин, берет его за руку, выводит на огромное поле, потом на перекресток, где было множество народа; вдали виднелся холмик — какая-то могила… Великан подводит Степана к этой могиле и велит копать ее. В испуге Степан бессознательно исполняет его веления и откапывает человеческий труп. «Это будет твоим телом, — сказал великан, указывая на труп. — Будешь плакать в нем всю жизнь, пока не призовут тебя к новой жизни». Степан задрожал и просил пощады… Но великан, не слушая его просьбы, толкнул бедного в могилу на труп. Борясь со смертью, Степан пробудился и — о, чудо!.. увидел себя в образе человека…

Со страхом воротился Степан в деревню — и с тех пор постоянно был задумчив, скучен и угрюм.

Рассказ 2-й. Знахарка *Грипина* полюбила красивого, молодого деревенского парня Тита, но тот смеялся над нею, считал ее любовь оскорблением для себя. Напрасно знахарка старалась хоть подарками снискать его взаимность, — Тит и смотреть не хотел на нее. Разъяренная ведьма решилась отомстить за такое пренебрежение. Однажды, попытавшись еще раз достичь своих намерений и услышав от Тита оскорбительные ругательные названия, в ярости сказала ему: «Ну, смотри ж… вот же тебе что за это будет: как пойдешь в лес рубить дрова, то с первым взмахом топора превратишься в вовкалаку!..» Тит рассмеялся на такую угрозу Грипины, но предречение ведьмы сбылось. Через несколько дней, забыв об угрозе Грипины, Тит отправился *на волах* в лес за дровами, и как только занес топор, чтобы срубить березу, топор выпал из его рук. Тит нагнулся, чтобы поднять топор, но каков был его испуг, когда увидел, что вместо рук явились у него волчьи лапы!.. Ошеломленный

таким превращением, стал бегать он по лесу, как дикое животное и, наткнувшись на ручей, увидел, что он весь — волк… кой-где только на хребте видны следы *свитки*. Не было никакого сомнения, что он — вовкалака; но все еще как бы не веря своим глазам, побежал к телеге и хотел ехать домой: что же? Волы пустились бежать изо всех ног вместе с *калёсами,* как только завидели мнимого волка. Тит хотел было закричать (кликнуть) на волов, чтоб остановить их, но вместо голоса человеческого по лесу разнесся волчий вой…

С тех пор бедный Тит сделался лесным жителем. Но, несмотря на волчий вид, Тит все-таки не мог забыть родной *дамовы*; постоянно блуждал по оселицам своей деревни и только тогда заходил в лес, когда видел, что на него высылают собак, как на волка. И там-то не раз по несколько дней ничего не ел, потому что никак не мог привыкнуть к сырому мясу животных. Но, побуждаемый голодом, пускался на волчьи хитрости: пугал пастухов, жнецов и похищал у них хлеб, молоко и другие съестные запасы. Так продолжалось *вовкалачество* Тита 9 лет.

Наконец, как-то встретился он с одним *знахарем-пастухом*, с которым прежде, будучи человеком, жил дружно. Пастух узнал Тита и из сострадания к нему снял с него волчью кожу и превратил его в человека.

Тит на крыльях полетел в деревню к своей дамове, но не нашел никого из родных своих, все перемерли. Кася, его невеста, вышла за другого и имела пятерых детей, из друзей молодости едва один остался. Жизнь его была незавидная: стал проводить все время в *корчме* (шинке); там внушал молодежи угождать женщинам; наконец, с отчаяния запился до смерти.

Рассказ 3-й. Небога Кондрат семь лет был *вовкалакой.* Наконец, знахари сжалились над ним и *атробили* ему *вовкалачество* (избавили его от волчьей шкуры, изгнали из него вид волка). Вот Кондрат на радостях побежал в свою деревню *домовки* (домой), где оставил жену и детей. Это было ночью: подходит к дому, стучится. Пробужденная стуком жена спрашивает: «Кто там?» — «Это я, твой муж! Отворяй скорее!» — отвечал Кондрат, узнав голос жены своей. Жена, которая считала Кондрата погибшим и потому вышла замуж за другого, в испуге бросилась от двери назад и стала звать на помощь второго своего мужа, который, как виновник превращения Кондрата (он упросил одного знахаря сделать Кондрата вовкалакой, чтобы потом жениться на его жене, очевидно, согласившейся на то прежде и действовавшей с ним заодно), думая, что Кондрат прибежал в виде вовкалаки, вышел против него с кочергою и хотел было прогнать его… Бедный Кондрат узнал в нем бывшего своего *паробка* (работника) и тут-то догадался, кто был причиною его несчастия... «О! Почему я теперь не вовкалака? — воскликнул он в порыве негодования и бешенства. — По крайней мере я отомстил бы этому злодею, наказал вероломную жену и не видел больше своего срама!!.» Едва сказал он это, как в ту ж минуту стал опять вовкалакой… Тогда *лаченый* (превращенный — слово рассказчика) Кондрат с яростью волка бросился на жену, потом на паробка своего и прижитое ими грудное дитя и стал давить их… Передавив всех, хотел бежать в лес, но на поднятый крик сбежались соседи и убили вовкалаку, думая, что убили бешеного волка… Но каково было изумление их, когда, при огне, увидели мертвого человека Кондрата, который семь лет пропадал где-то и которого все на деревне считали погибшим.

Рассказ 4-й. Была свадьба в деревне… Какой-то прохожий, утомленный дальнею дорогою, при виде огней в доме, где пировали свадьбу, хотел было попроситься на ночлег. Вышедший подхмеленный жених мало того, что грубо обошелся с прохожим, но еще выслал против него собак… Оскорбленный таким приемом, прохожий (то был знахарь-вовкалака), отогнав собак палкой, сказал жениху: «Помни же! Ты на меня высылаешь собак, — смотри, чтобы эти же собаки не стали лаять и на тебя, как на зверя!» Едва сказал это прохожий, как все присутствовавшие на свадьбе сделались *вовкалаками* и, разбежавшись тотчас по своей и соседственным деревням, наделали много зла поселянам, передушив домашних животных и изранив, изувечив людей…

Прошло два года после этого страшного события: некоторые из поселян уже забыли было о нем… Но вот однажды помещиком той деревни назначена была *облава* (охота) на волков, слишком размножившихся в соседних лесах и не дававших проходу ни людям, ни скотине… Охота была удачная: убили множество волков… Когда стали рассматривать добычу, то между убитыми волками нашли *трёх вовкалак* из числа тех, которые были жертвами мщения *прохожаго-знахаря…* Когда сдирали с них кожу, то у одного нашли под кожею скрипку и другия принадлежности белорусского доморощенного музыканта; у другаго — наряд жениха и обручальное кольцо; третьим вовкалакой или — *вовколачицей* (оборотень-самка) была разодетая невеста со всем щегольством и прикрасами свадебными — по обычаю белорусскому.

Любопытно при этом знать, как один тоже *прохожий-знахарь* хотел *атробиць* этих оборотней, по крайней мере жениха и невесту, когда они еще были живы: этот прохожий, как говорят рассказчики, был во вражде с тем, который *ововкалачил* (превратил в волка) их, и, по усердной просьбе жениха и невесты, хотел превратить их в людей. Будто бы этот знахарь взял с собою жареного-пережареного поросёнка, какой-то хлеб и, вооружившись вилами и заступом, искал по лесу несчастных вовкалак; но доброе его намерение осталось без успеха. Первый (прохожий)-знахарь был сильнее — хитрее его и потому никоим образом не допустил своего противника встретиться с зачарованными им вовкалаками…

Рассказ 5-й. А вот ещё образчик *знахарства* женщины-*ведьмарки* (ведуньи).

Был *девичник,* или, как говорят белорусцы, *дзявойник* и *завойник*, на который пригласили и старую деву *Маланью*, славившуюся *ведьмарством* или *знахарством…* По обычаю, все старались угождать ей, чтоб не угневить: ей — первую чарку, ей — первую ласку… Случись так, что невеста, будущая *маладзица* (замужняя женщина), не знала об этом и как-то обошла Маланью во время угощения. Рассерженная таким невниманием к своей особе, знахарка встала из-за стола, в сердцах сорвала с себя пояс, свернула его в клубок и в таком виде бросила под порог комнаты, пробормотав следующее заклинание: «*Лыко крутила з липины и варила и таёй водой подлила под людзей (*т. е. надрала я лык из липы да сварила их; и той-то воды подлила под (ноги) людей); затем сама выбежала. Все девушки бросились за нею, чтоб узнать о причине такого внезапного гнева… Но едва переступили порог, как сделались *вовкалачицами* и тотчас побежали в лес.

В таком состоянии пробыли девушки четыре года, в продолжение которых постоянно, ночью, подходили под окна Маланьи и странно, по-волчьи выли, как бы испрашивая прощения за нанесенное ей невестой оскорбление.

Наконец, когда наступил последний день наказания вовкалачиц и они ночью по-прежнему подошли к окнам дома знахарки, то она вышла к ним в вывороченном наверх волосами *кожухе* (тулупе); потом, снявши его с себя, *накрыла* им каждую поочередно и прошептала какие-то таинственные слова. После этого вовкалачицы превратились опять в девушек. Но так как у невесты не прикрыла хвоста, то, бедная, та и осталась на один день с хвостом; в следующую ночь *ведьмарка* прикрыла хвост, и хвост исчез.

Для полноты исследования о вовкалаках считаю нужным привесть несколько поговорок белорусских об этих оборотнях.

1). *Спрыквався, як вовкалака*, т. е. надоел как вовкалака. 2). *Бы вовкалака шпырыць*, т. е. как вовкалака блуждает, — бесприютный, горюн. 3). *Каб на цябе вовкалака,* т. е. чтоб тебя вовкалака-знахарь превратил в волка (ругательство). 4). *Кали не баисься вовкалачества, подразни млынара*, т. е. если не боишься быть вовкалакой, так угневи мельника. 5). *Як дудар сказав, дак з людзей вовкалакай став*, т. е. сказал (слово) дударь, и из человека сделался вовкалака.

Варшава. 1852 г. мая 4 дня.

Обработка текста
и комментарии Александра Ващенко.

БОРИС НОСИК

Гений из Смиловичей

Ты что, из Смиловичей?

Не менее, впрочем, колоритной фигурой, а можно даже сказать, истинной легендой «Улья»[1] был другой Хаим, который имени своего не менял, а так и был известен как Хаим Сутин. Под этим именем он вошел в историю мирового искусства, предварительно произведя настоящую сенсацию в 1922 году на Монпарнасе, а лет двадцать спустя, так и не пойманный в облавах, скончался после операции по поводу язвы желудка и был похоронен на Монпарнасском кладбище.

Был он, конечно, как и все подобные ему, выдумщик, мифотворец, даже датой его рождения называют то 1893-й, то 1894 год, но в одном сходятся все биографы — в том, что родился он километрах в двадцати к югу от белорусского города Минска, в местечке Смиловичи, и что местечко это было вполне захудалое. Так уж сложилась моя судьба, что название это было у нас с сестричками с самого детства на слуху, потому что и бабушка моя, и мама родились в этих самых белорусских Смиловичах, и Наталья, кормилица мамы и маминой двойняшки, была из Смиловичей, и еще куча родни, а в Москву они перебрались через Минск за несколько лет до моего рождения. Упомянутая выше Наталья после мамы и тети выкормила еще пацанов-двойняшек, сыновей раввина Рудельсона. Раввин вовремя покончил с собой, а раввиниха с сыновьями и Натальей уехала от греха в Москву. Сыновья выросли здоровущие и, как с гордостью сообщала Наталья, навещавшая всех своих выкормышей, стали «минцанерами». При их социальном происхождении неслабая карьера...

Прочтя почти полвека спустя о том, что бабушкин ровесник и смиловичский сосед Сутин, в отличие от его парижского соседа Шагала, не любил вспоминать местечко и не любил о нем говорить, я припомнил мало-помалу, с каким столичным презрением произносили это название в нашем нищем московском доме в Банном переулке, близ Рижского (тогда еще Ржевского) вокзала. Примерно с тем же, с каким в нашем дворе, кишевшем провинциалами, говорили: «Эх ты, дярёвня, валенок, телега, колхозник...» А у нас дома говорили: «Ты что, из Смиловичей?», «Ну и грязища тут у вас, чистые Смиловичи».

Конечно, совсем юные мои родители гордились тем, что они живут теперь в самой Москве, а не в Смиловичах, хотя и вспоминали иногда, что какой-то знаменитый тогдашний московский архитектор тоже был смиловичский... Тот самый Левка...

Когда я подрос, я стал журналистом и неутомимым путешественником — побывал везде, куда пускали, даже на острове Беринга пожил, даже на Памире, даже в Арктике, даже в заграничной Венгрии, а в Белоруссию и презренные Смиловичи никогда не тянуло. Но однажды...

Помню, гуляли мы как-то раз с барселонским поэтом Рикардо Сан-Висенте в лесочке близ некого Дома творчества под Москвой, стали переходить Минское шоссе и увидели припаркованный у обочины грузовик с испанским номером.

---

[1] Уникальный питомник искусств на южной окраине Парижа.

— Наш, из Барселоны! — восхищенно сказал Рикардо.

Коротышка-шофер оправился, вышел из-за кустов, застегивая молнию, услышал приветствия на родном наречии, просиял и угостил нас испанским вином, а потом, извинившись передо мной, обнял Рикардо за спину и отвел его куда-то за прицеп для разговора тет-а-тет.

Когда он, трогательно с нами простившись, поволок дальше свой груз — куда-то в Москву, на выставку, я спросил у Рикардо, о чем они там, за прицепом, шептались.

— Он мне сказал: «Друг, ты не подумай, что я правый. Я коммунист. Но ты мне объясни... Вчера ехали через Белоруссию... Отчего у них такие дома малюсенькие? Ну просто крошечные...» А правда — почему? — искренне удивлялся Рикардо.

— По кочану... — сказал я вежливо. — Спроси в «Интуристе». Они объяснят, что это для тепла. Но у нас у самих в Москве на Банном было четырнадцать метров на шестерых...

«А сколько ж у них было в Смиловичах на душу? — подумал я тогда. — Наверно, еще меньше...»

Вскоре после этого, проработав полдня за столом в роскошном читальном зале, я встал в очередь за чаем в подвале Ленинской библиотеки. Почему в подвале и почему за чаем надо стоять в очереди? По кочану. Отчего-то там всегда была очередь. Тут и подошел ко мне какой-то черноглазый юноша и поздоровался. Мало-помалу я сообразил, что это мой двоюродный брат с маминой стороны — один из шестнадцати (с папиной их было меньше)... Этот, с красивыми и безумными фамильными глазами, был, кажется, математик. «Чем, — говорю, — тут занимаешься?» — «Читаю про мировое искусство. А ты знаешь, что французский художник Сутин был из Смиловичей?» Нет, я не знал. Даже имени такого не слышал. Я был не читатель, а писатель... Я подумал, что вообще-то неудобно, что я ни разу не съездил в те края — без конца езжу в горы да в горы, крымские, таджикские, киргизские, камчатские, кавказские...

А где ж люди?

Назавтра я отправился в журнал «Советский экран» за командировкой. Командировки мне давали безотказно — деньги казенные, домой их было не снести, а ездить самим сотрудникам не хотелось: семья, дети, любовницы, городские хлопоты. Оставил я красивой Наташе заявление — все с шутками-прибаутками... Так и написал, шуткуя: «Прошу отправить меня за счет журнала на историческую родину». Дня через три звонит замглавного, спрашивает: «Ты куда это собрался?» Я говорю: «В Белоруссию. В местечко Смиловичи». Он говорит: «Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие... Начальство в ярости...» Потом я понял свою ошибку: у них и завотделом, и сам замглавного уже собрались на какую-то из «исторических», но без шума, а тут неосторожные шутки... Но все же дали мне командировку.

— Ты уж извини, старик, — сказал мне замглавного по имени Феликс, вручая очередную командировку, — всего неделю оплатим... Мы в этом месяце все проели. А писать нам не надо, не пиши, мы сами хорошо пишем.

Где-то он теперь в США, этот замглавного, стал «певцом Брайтон-Бич». Может, еще жив. А завотделом живет под Стеной Плача. Иногда слышу его бодрый голос по «враждебным» или просто «чужим» голосам...

А тогда я полетел в Минск и оттуда на такси ринулся к югу. Шоферша высадила меня на шоссе напротив местечка. Я пошел через поле и увидел кресты, кладбище... Подошел ближе — не по-русски написано, по-польски. Вот это новость! Значит, жили тут поляки. Ну да, которые католики, те поляки, а православных назвали белорусами. И евреи жили во множестве...

Да ведь и самое слово это, «местечко», польское. «Место» — город, а «мястечко» — городок. А «местечковый» — это уже советское слово — отсталый, значит, человек, деревенщина, жлоб...

Вошел я в местечко Смиловичи и все понял. Я застал последние дни старых Смиловичей. Вскоре после этого приехали бульдозеры, все снесли и настроили блочных хрущоб. А когда я приехал, все было как при красивой моей бабушке Розе, соседке и сверстнице Сутина. Только в мой приезд драные флаги еще болтались от старого Первомая. Но домишки были все те же, крошечные — в три, а то и в два окна. И внутри — метров четырнадцать. Да печка, да лавки, да столы. Портной Залман Сутин настрогал одиннадцать детей (чем заняться после прихода сумерек — керосин, что ли, зря жечь, читая Библию? Даже радио у них не было). Все тут, в одной комнате: мама, тата плюс одиннадцать детей. Может, еще и дедушка с бабушкой были живы... Тут же мама с татой новых детей делают... А в холода, небось, и козу брали в дом. (В русской-то деревне, помнится, засыпал я на печи под чмоканье губошлепого теленка.)

...С гордостью подумал я, озираясь, что все же нашлось чем поразить нашей Белоруссии заграничного шофера, барселонского коммуниста.

А монпарнасские завсегдатаи, тоже не слишком мытые в те времена французы, без труда бы поняли, увидев эти хатки (французские авторы со вкусом повторяют — «изба»), отчего он такой невероятный грязнуля был, наш смиловичский гений Хаим Сутин. Воды в ведрах не напасешься мыть такую мишпоху. От бабушки Розы наслушался я в детстве баек про хозяйку-чистюлю и хозяйку-неряху. О чистюле говорила она с грустной насмешкой (сама ведь была чистюля): «Поглядел муж — пол вымыт, все блестит, плюнуть некуда, на жену и плюнул...»

...В центре местечка я увидел деревянный дом побольше, где размещались пожарные. Скучавший дежурный мне сообщил, что в доисторические времена (еще при частниках) был здесь кондитерский цех, делали сласти. Евреи делали.

— Ты ведь знаешь, тут евреи жили. И сейчас сколько-то живет...

Он не слишком определенно махнул рукой куда-то на задворки. Я пошел туда. Там тянулась вереница еще более убогих домишек, обращенных окнами (и красными флагами) к разоренному кладбищу. Кладбище было еврейское. На немногих уцелевших камнях еще видны были надписи — «по-ихнему», на идише, а может, даже на иврите. Я пожалел, что не могу прочесть имен, наверняка были там Русиновы из обширной бабушкиной семьи. И Сутины были, конечно.

В конце кладбища стояло большое надгробие — гипсовая отливка, скульптурная группа в стиле Буше, как в городских парках культуры. На пьедестале было написано, что в одно прекрасное октябрьское утро 1941 года гитлеровцы убили здесь, на кладбище, две тыщи «советских граждан», жителей местечка Смиловичи. Бабушка мне рассказывала, что в этой толпе стариков, женщин, детей, приведенных солдатами на заклание, была добрая сотня ее родственников, не уехавших из местечка до войны и не успевших уйти от стремительно наступавших немцев. Что ж, под ноги наступавших армий, под гусеницы чужих танков Великий Отец Народов бросил в ту осень не одних только евреев или цыган.

Печальный сын Смиловичей Хаим Сутин, великий французский художник, словно предвидел эту Катастрофу и эту людскую жестокость, бесконечно населяя свои творения мертвенными лицами, мертвящими предметами, телами убитых животных, обрызганных кровью, пейзажами, затаившими угрозу смерти.

Сам художник умер в 1943 году в ублажавшем оккупантов Париже.

Вечный беглец

Из ненавистного местечка он уехал еще шестнадцатилетним мальчишкой, в 1909 году. Все биографы сходятся на том, что он сбежал. Может быть, и так — делать ему в Смиловичах было нечего. Портной-отец чинил старую одежду одно-

сельчан, едва зарабатывая на хлеб. В соседнем Минске можно было подучиться какому-нибудь ремеслу. Пишут, что он подрабатывал там ретушью у фотографа, учился на портного, но что страстью его с малолетства было рисование.

Обстоятельства его ухода из местечка окутаны легендами. Самой популярной является легенда о том, что мальчишка, увлеченный рисованием, нарисовал карикатуру на раввина (то ли на учителя из хедера), а сын раввина (или отец Хаима, или брат, или кто-то еще) его избил. А многодетная мать Хаима, взыскав с обидчика двадцать пять рублей, отправила сына в Минск. Есть и другие варианты легенды, не подтвержденные, впрочем, мемуарами. Французский художник, друг детства, опровергает эти расхожие байки. Вполне возможно, впрочем, что били Хаима в детстве не раз — его приверженность к бесполезному рисованию и его дурной характер могли к этому располагать.

В Минске Хаим посещал ателье художника Крюгера. Там он и познакомился с сыном вполне состоятельного подрядчика Михаилом Кикоиным, будущим соседом по «Улью». Работая у фотографа, Сутин, вероятно, отложил немножко денег на дорогу. Возможно, и какие-то еврейские благотворители подкинули деньжат: благотворительность была в ту пору обычаем среди людей религиозных, особенно евреев и старообрядцев. И те и другие насчитывали уже в своей среде немало богатых филантропов. Так или иначе, год спустя Сутин и Кикоин уехали в Вильно, который называли в ту пору «восточноевропейским Иерусалимом». Вильно был городом многонациональным, более открытым, чем Минск. Там гуляли ветры с Балтики. Что же до виленской Школы изящных искусств, то она могла бы считаться в известной степени колыбелью Парижской школы. Даже Бразилия и та обязана ей подготовкой одного из основоположников бразильского модерна.

К сожалению, нам не много удается узнать об уроках виленской школы и царивших в ней порядках. Биографы пишут обычно о почтенном директоре — академике Трутневе и об открытом новым веяниям художнике Рыбакове (то ли Ребакове), потерявшем нос на сабельной дуэли. Пишут о красивой гимназической форме, которую носили ученики и которой Сутин якобы поразил однажды воображение жителей Смиловичей.

Сутин и Кикоин сдружились в школе с выходцем из деревни Желудок Виленской губернии (ныне Гродненской области, тоже, стало быть, белорус) Пинхусом Кременем. Теперь они были неразлучны в Вильно — все трое. Но в 1912 году Кикоин с Кременем нелегально пересекли границу и отправились через Германию в Париж.

«...Путешествие в железнодорожном вагоне 4-го класса казалось бесконечным, — вспоминал Кикоин. — Я добрался в Париж, сжимая в руке клочок бумаги с моим будущим адресом. Каким громадным казался Париж тому, кто в своей жизни видел только маленькие города и деревушки! После множества приключений, поездки в поезде и на метро, я добрался, наконец, до своей новой отчизны: это был “Улей”, этот огромный (там было уже до сотни ателье. — *Б. Н.*) русский муравейник в Данцигском проезде».

Но свой первый парижский год Михаил Кикоин провел у кузена-ювелира. Отец Михаила, Перец Кикоин, договорился, что будет через родственников передавать для сына скромное месячное довольствие (более скромное, чем то, что высылал Шагалу щедрый адвокат Винавер).

А в 1913 году приехал в Париж и поселился в «Улье», в тесном ателье Пинхуса Кременя, третий белорусский мушкетер — Хаим Сутин. Теперь они вместе бродили по музеям, по галереям, по выставкам, долгие часы проводили в Лувре. Как и Шагал, они здесь учились живописи, технике, да и учителя у них были почти те же — Рембрандт, Сезанн, Курбе, Моне, Шарден... И еще Хальс, Тьеполо, Фрагонар, Гуарди, Тинторетто, Гойя...

Сын Кикоина записал однажды рассказ отца о том, как сразу после встречи Сутина в Париже они попали все (по дешевке, а может, и бесплатно) в театр: «Едва выбравшись с Восточного вокзала, мы пошли в театр и смотрели “Гамлета”.

Придя в восторг от Парижа и от спектакля, Сутин сказал другу: “Михаил, если в таком городе мы не сумеем раскрыться, не сможем создать великих произведений искусства, грош нам цена”».

Одно слово — художник

Жаль, что не осталось рассказа о том, как Сутин перенес далекое путешествие через границы. Он испытывал смертельный страх перед любыми таможенниками, чиновниками, пограничниками. Вероятно, поэтому, живя подолгу на Лазурном берегу, недалеко от итальянской границы, он так и не побывал (может, единственный из художников) в соседней Италии. Надо признать, странностей у этого сына Смиловичей было множество, много было, как выражаются нынче, комплексов. Вообще, насколько мне довелось наблюдать изблизи, смиловичский климат, теснота, убожество жизни, многодетность и наличие черты запрета («оседлости») не способствовали душевному здоровью местного населения. Характер Сутина, если верить мемуаристам, и характер его творчества не сильно противоречат этому дилетантскому и вполне семейному моему наблюдению: Сутин был уже и юношей совершеннейший псих. Он, к примеру, не терпел, чтоб смотрели, как он работает. Даже чтоб смотрели при нем его вещи. Даже чтоб стояли рядом, когда он смотрит на чужую картину. На счастье для биографов, с годами он стал делать исключение для прелестной Мадлен Кастэн и ее мужа, так что Мадлен оставила рассказ о совместном с Сутиным посещении музея:

«Иногда мы сопровождали его в Лувр. Это было чудесно.

Он больше часа оставался перед “Quartier des boeufs” или “Вирсавией” Рембрандта, анализируя духовную атмосферу, создаваемую игрой света и тени, все великолепие палитры. Великий голландец действительно был его богом. Если говорить о других именах — это Курбе. Перед его “Ателье” он говорил: “Посмотрите его центральный мотив. Это, без сомнения, самое прекрасное «ню» во французском искусстве”».

Впрочем, это уже визиты 30-х годов, а пока, в довоенном 1913-м, Сутин ходил в Лувр, в Салон, на выставки с Кикоиным и с Кременем. Одно время (весьма недолго) они посещали малоинтересные уроки Кормона в Школе изящных искусств, но Лувр давал им больше. Чаще всего их можно было застать в их ателье, перед мольбертом.

Жизнь была скудная. Подрабатывали ретушью, Кикоин ходил ночью на бойню, кое-что ему присылали из дома. Сутин был самый бедный и вечно голодный. И бедность, и голод — это не обязательно реальность. Это может стать ощущением и убеждением. Вот вышли поразительные военных лет дневники Георгия Эфрона, который чувствует себя постоянно голодным (даже наевшись досыта, причем, не в каком-нибудь блокадном Ленинграде, а в хлебном городе Ташкенте). Хемингуэй перед смертью воспел этот прекрасный, счастливый, ненасытный голод своей небедной молодости. Уже и став богатым, Сутин продолжал вести себя, как скупой нищий. А в первые годы парижской жизни он не стеснялся обходить весь «Улей», выпрашивая еду или деньги на еду (а позднее и на выпивку). Он не стеснялся унижения, которое было паче гордости. Иногда вдруг, проникшись гордостью, он швырял деньги в лицо благодетелю: если верить Жаку Шапиро, именно так он обидел друга Кременя, и каменно-твердый Кремень не простил ему истерики и обиды (вероятно, уже не первой). Нищенство, неловкость, нелепость Сутина (как и подробности его обогащения) вошли в легенды «Улья». Думается, что многое в его поведении шло от гордыни. Трудно поверить, чтобы мадам Сегонде, мадам Острун или Роза Кикоина отказали бы бедняге в похлебке. Возможно, унижение нищенства тешило душу еще не признанного гения. Может, в этом чудились ему вдобавок признаки истинной богемности: плевать мне, что обо мне подумают, я выше этого. Вспоминаются письма

Цветаевой, которая была ничуть не беднее прочих эмигрантов, в том числе и гордых русских аристократок, но в любом письме, даже если писала не слишком знакомым людям, она попрошайничала.

Заметно, что в позднее время богатый Сутин сам приукрашивал (как это делал, вероятно, и Шагал) легенды о своей тогдашней безысходной бедности. Именно это приходит в голову, когда читаешь воспоминания соседки Сутина по вилле «Сера» скульпторши Ханы Орловой. Он тешил ее рассказами о том, как он носил кальсоны вместо рубашки: очень просто — надо надеть их через голову.

Краснолицый «калмык» Сутин ходил зимой и летом в каком-то потрепанном пальто-балахоне, под которым, как утверждают биографы, было голое тело. Они же пишут, что он одалживал рубашку у земляка, чтобы пойти к врачу. Но известно, что Сутин и позже покупал рубашки на блошином рынке, а даже полвека спустя рубашку на блошином рынке Монтрёй можно было получить за один франк. А если дождаться закрытия рынка, то и бесплатно. Уборщики возвращали рубашки туда, откуда они поступили на прилавки, — в мусорный ящик.

Чистота — залог здоровья

Мадлен Кастэн не удержалась, чтоб не ответить на рассказы о грязнуле Сутине.

«В смысле гигиены, — пишет Мадлен, — его жизнь в “Улье” была не более устроена, чем у других. Там он часто сражался с клопами, но умел одеваться элегантно».

С клопами сражаться проще, чем с блохами. Блох приходилось топить в консервной банке. Но согласимся с модной красавицей Мадлен: «...не более устроена, чем у других». А где было мыться в ту пору другим французам? В 1911 году русский поэт Блок отдыхал с супругой в прелестной гостинице в упоительном уголке Бретани. Сходясь за ужином с семьей соседа-англичанина, Блок и англичанин неизменно обсуждали мерзкую нечистоплотность французов. Если б гордый Блок увидел, в каких водах плескается по вечерам английское семейство, ему б стало дурно. Чистота — понятие относительное. Французские рыцари и мушкетеры, встав из-за пиршественного стола и не забыв поцеловать даму, мочились на стену в двух шагах от стола. И только чистюля Ришелье мочился в камин... Душа здесь не было и в начале XX века, а бани во французской провинции стали строить лишь после Второй мировой войны.

Конечно, Хаим Сутин из маловодных Смиловичей не был образцом чистоты, уравновешенности, порядочности, и все же легенды лучше не разоблачать, а коллекционировать. Скажем, такие, как легенда о зубной щетке Хаима.

«Какая-то дама согласилась посетить ателье Сутина, и он в смятении стал спрашивать у друзей, как ему лучше подготовиться к визиту.

— Купи себе новую рубашку и вдобавок зубную щетку, — сказали ему эти умники.

— Ничего не вышло, — сообщил он об итогах визита.

— А ты все купил?

— Да, купил новую рубашку, развесил ее на стуле, щетку поставил на стол в стакане... Красиво...»

Или такое:

«Получив в Париже впервые большие деньги, Сутин сел в такси и сказал шоферу:

— На Лазурный берег. Скорее! Скорее!»

И в самом деле, поведение Сутина было куда более богемным, чем поведение Шагала и прочих соплеменников: так и чудится порой, что приехал он не из Смиловичей, а из богемных Москвы и Питера Серебряного века или из Ленинграда наших шестидесятых (где знаком был с Е. Рейном или С. Довлатовым). Мирный

скульптор из «Улья» Лев Инденбаум, первый человек в Париже, купивший картину у Сутина, жалобно поведал Жанин Варно, как Сутин продавал ему свои работы, а потом перепродавал их еще кому-то за три франка и выклянчивал проданное у слабохарактерного Инденбаума. Конечно, подобные замашки можно лишь условно назвать «богемными», и биографы редко над ними задумываются (из читанного об этом вспоминается разве что предисловие А. Арьева к сборнику шедевров С. Довлатова).

О Сутине анекдотов рассказывают множество. Полагаю, их и впредь еще долго будут выдумывать, но нам пора обратиться к главному — к живописи нашего героя.

Но в чем он истинный был гений

Этот слонявшийся по «Улью» и всем докучавший просьбами Сутин иногда вдруг брался за кисть и начинал остервенело писать — до изнеможения. Что он писал? Охотнее всего — «мертвую натуру», натюрморты. Причем, особенно охотно — натуру даже не мертвую, а дохлую: тушку ощипанной курицы, дохлой индейки, быка с ободранной шкурой...

Сообщают, что кто-то приносил ему эту натуру со здешней живодерной окраины. Может, сам Кикоин и приносил. А с чего началось, почему? Конечно, в музеях искусства есть на полотнах все, даже дохлая птица. Но если нравится ему это, доставляет удовольствие! Может, отождествлял он себя, вечно страдавшего от язвы желудка, с этой бедной курицей и писал, страдая и сострадая. Мазохизм? Ну и почти неизбежный при этом садизм: он любил посещать жестокие зрелища, вроде кетча. Не забывал посадить капельку крови на перышки убитой птицы...

Искусствоведы (наряду с изъявлением восторга) высказывают на сей счет самые разнообразные предположения. Пишут, что мучимый болями Сутин сострадает боли и смерти. Что он отождествляет себя с жертвой. Даже и с неживыми предметами. Что он протестует против жестокости человека-мясоеда, невольно обрекающего на смерть невинные жертвы. Протестует против жестокости судьбы, против нашей обреченности. Ведь и живые люди выглядят на его портретах не слишком здоровыми, эти кандидаты на умирание. Они жалки, некрасивы, странно одеты. Они в униформе своих унизительных профессий: в халатах, фартуках... На их лицах — печаль безнадежности. Экспрессионист вообще не стремится передать сходство, он стремится произвести впечатление — порадовать, а скорее — повергнуть в ужас. Сутин в этом преуспел...

Боже, как они жалки, эти смертные, как их жаль. Не меньше, чем ощипанных кур, чем ободранного быка. Но и не больше, чем бездушные предметы с его натюрмортов: эти бедные лимоны, эту бедную вилку...

А его пейзажи — чудные эти деревья, взметенные ветром, — они накануне гибели. Земля взворочена начинающимся землетрясением... На самом деле природа остается величаво прекрасной, так что землетрясение и ужас, — они в душе художника, в его беспокойной и вряд ли здоровой душе.

Но не чувствует ли он первым приближение катастрофы? Что он вообще знает и чувствует?

Он робок, в компании забивается в угол, молчит, часто обижается. Но, конечно, знает про себя, что гений. Правда, никто пока не спешит это признать или даже в этом его заподозрить. Ну да, конечно, он много пишет. Иногда интересно пишет, «пастозно», быстро, одержимо... Но они все трое, эти белорусы, похоже, пишут довольно сходно — и Кикоин, и Кремень... Только вот двое — нормальные мужики, а он — мишугенер. Он же спать у себя в ателье не может. Он спал у Кременя, потом у Добринского, да у кого он только не спал? Что его гонит? Он до самой смерти себе не найдет места...

А чтоб гений? Да тут, в «Улье», все гении. Пока только нет признанных.

Принц-собутыльник и русская колдунья

О том, что Хаим Сутин из Смиловичей гений, первым сказал человек, известный всему Монпарнасу. Его звали Амедео Модильяни. Он давно уже был легендой Монпарнаса: «сын банкира», «потомок Спинозы», «тосканский принц», даже «разорившийся наследник» (если верить рассказам ненадежного сочинителя Сандрара и его собственному, модильяниевскому, мифотворчеству). В «Улье» он появлялся частенько, то ли жил там одно время, то ли просто ночевал иногда. Во всяком случае, именно там разыскала его однажды интеллигентная марсельская тетушка (сестра его матери) Лора Гарсен: «Жилье у него было ужасное — на первом этаже в одной из дюжины клетушек, окружавших так называемый "Улей"».

Грамотные Гарсены (тетушка Лора увлекалась Кропоткиным), как и грубоватые, куда менее просвещенные Модильяни, жившие в Ливорно, были из сефардов (выходцев из Испании), однако не только желание поглядеть на инородных носителей полузабытой иудейской веры тянуло «тосканского принца» Модильяни к неотесанным парням из России. У него с недавних пор был свой «русский интерес», о котором вряд ли кто знал на Монпарнасе, — встреча с фантастической молодой колдуньей-поэтессой из холодного Петербурга. Об этом не писал еще ни один из признанных биографов Модильяни, тем уместнее будет здесь об этом напомнить[1].

Эта молодая женщина приезжала в 1910 году в Париж с мужем (в свадебное путешествие), а потом еще через год одна, без мужа, чтоб встретиться с ним, с Амедео. Он обещал приехать за ней в Россию, забрать ее, писал ей поначалу безумные, влюбленные письма («Вы во мне, как наваждение...»), потом перестал писать вовсе, забывал ответить на ее письма — много о чем забывал в суете, исступленных трудах и поисках, в пьянстве, минутных увлечениях — забывал, но совсем позабыть ее, видно, не мог. Он тогда усиленно тесал головы из камня (у них были ее лица, ее челка), но потом скульптура стала ему не по силам. У него был туберкулез, он пил и курил гашиш, забывал про еду и сон. Он с сожалением оставил скульптуру и отчаянно искал теперь свой стиль, свое слово в живописи... При этом он не знал (да и никто в его окружении не знал), что русские стихи, обращенные к нему, уже твердят наизусть в России, поют с эстрады, что русская его возлюбленная 1911 года стала великим поэтом, что она была теперь звездой Петербурга, королевой петербургского кабаре артистов, что российская известность ее началась именно со стихов о нем, началась после их встречи, что она долго ждала его и лишь совсем недавно перестала его ждать. Откуда было знать обо всем этом в провинциальном Париже, он ведь и сам о ней почти позабыл, однако, может, не все позабыл...

Увидев полотна этого «русского калмыка» Хаима Сутина, Модильяни был поражен и, может быть, вспомнил стройную колдунью из Петербурга. Модильяни объявил во всеуслышание и повторял многократно, что он гений, этот их зачуханный Хаим Сутин в его несусветном пальто-балахоне. Просто они ничего не видят, эти русские, эти белорусские ашкеназы и эти французы, как они не видят человеческих душ на его, Модильяни, портретах. Но про их с русской колдуньей недолгую, но столь значительную и тайную связь он не рассказал никому. Так что ни один из его биографов — ни французский, ни итальянский, ни русский — ничего толком об этом не писал до середины 90-х годов XX века (добрых восемьдесят лет). Постаревшая, измученная годами, невзгодами и гулаговскими страхами петербургская колдунья (ставшая в России символом века, поэзии и страданий) написала за два года до смерти небольшой очерк о том, что была вот когда-то знакома с Модильяни, не более того. Бесчисленные ее (и уж тем более его) биографы не обратили на этот уклончивый очерк большого

---

[1] Подробнее см. Носик Б. Анна и Амедео. М, «Радуга», 1998; М, «Вагриус», 2005.

внимания, и вдруг — еще тридцать лет спустя — открылась в Венеции выставка рисунков Модильяни из собрания парижского врача Поля Александра. В начале 10-х годов истекшего века этот молодой врач-стажер из парижской больницы Лабривуазье был первым восторженным поклонником и первым покупателем рисунков Модильяни. Он покупал их на свои скромные студенческие сбережения, он считал, что своим этюдом «Виолончелист» Моди «превзошел Сезанна». И вот прошло восемьдесят лет, доктор давно умер, сын его сумел организовать выставку отцовской коллекции, и миру открылись эти рисунки. Среди них было много-много «ню» какой-то высокой, стройной, длинноногой молодой женщины с большим пучком волос, челкой на лбу и неповторимым, неординарным профилем. В толпе зрителей, заполнивших зал венецианской Академии художеств, была молодая русская женщина-филолог, выпускница МГУ, которая пришла вдруг в необычайное волнение...

— Я знаю, кто это, — крикнула она ученому-экскурсоводу, указывая на длинноногую красавицу, — это Анна Ахматова, главный русский поэт XX века.

— Нет, — сказал экскурсовод, — это портрет Неизвестной. Так обозначено во всех каталогах Модильяни.

Взволнованная русская профессорша долго доказывала свою несомненную правоту (и доказала в конце концов, хотя и не сразу). Потом она отправила большой очерк об этой выставке в парижскую газету «Русская мысль», где заместителем главного редактора была в то время ее соученица по Московскому университету, и очерк был напечатан (с репродукциями). Прочитав его, автор этих строк подумал, что все это, конечно, очень романтично (и довольно печально — восемьдесят лет как корова языком слизнула — отчего было не рассказать раньше?), но интересно другое: что же все-таки происходило тогда и как отразилась эта любовь в Ее поэзии, а может, и в Его живописи или скульптуре? Ваш покорный слуга стал рыться в мемуарной литературе, перечитывать давно знакомые стихи и убедился, что именно с этих до одури знаменитых стихов об Амедео Модильяни, об их запретной и своевольной парижской любви (потому что встретила она Модильяни в разгар своего свадебного путешествия с Гумилевым) и началась тогда литературная слава Ахматовой. Да они и сегодня, эти стихи, известны всякому, кто любит русскую поэзию:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

...Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Анна Ахматова выжила, пережила семь страшных десятилетий, пережила даже палачей своего первого мужа Гумилева, и только в старости, незадолго до своей смерти (в 1965-м) она вернулась в Париж, чтоб постоять перед этим «темным домом» на улице Бонапарта. Модильяни умер за сорок пять лет до этого дня, так ничего и не узнав ни о ее жизни, ни о стихах, ему посвященных, ни о ее российской и всемирной славе...

Можно понять, отчего она не хотела рассказать всего, о чем восемьдесят четыре года спустя так бесстыдно рассказали в Венеции рисунки Моди. Оттого, что она была в ту весну замужем за Гумилевым и приезжала в свадебное путешествие. Оттого, что ни в чем не повинный Гумилев (бешено ревновавший ее к Модильяни) был расстрелян большевиками в 1921 году, а ее стали считать в России вдовой мученика-поэта (несмотря на то, что они к тому времени уже три года как были в разводе). Как было ей рассказать об этой ее безумной и бес-

стыдной парижской любви, об их мучительном для нее расставанье («Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня»), о его молчании, о его легкомыслии и предательстве, о ее собственном легкомыслии и предательстве... Поддавшись уговорам молодых друзей, она решилась было перед самой смертью что-то рассказать, что-то недосказать, на что-то намекнуть, полушутливо, невнятно... «”Ромео и Джульетта” в исполнении особ царствующего дома», — пошутил по поводу этого очерка за рюмкой коньяку в ее убогой комаровской дачке-«будке» один из ее молодых учеников-поклонников, которого она называла «рыжий» (его звали Иосиф Бродский). Все добродушно рассмеялись. Вероятно, она тоже. Потом гости ее, как всегда, стали читать стихи...

Модильяни ведь тоже писал стихи (и даже печатал), но ей он их читать постеснялся. Он любил слушать ее чтение и чувствовал, что она очень талантлива. Томик Данте, Леопарди или Лотреамона всегда был у него в кармане...

Но вернемся в 1915 год. Если мое предположение, что Моди тянуло к русским из-за той самой встречи 1910 и 1911 годов, покажется вам неубедительным, забудьте о нем, я не обижусь. Тот факт, что из всех итальянцев и евреев «Улья» этот элегантный «тосканский принц» (и в пьяном виде, и обкуренный травкой — все равно элегантный, в широкополой мягкой шляпе, с красным шарфом вокруг шеи) выбрал в друзья замурзанного, затрапезного деревенского вахлака, — этот факт удивлял многих. Одни предполагают, что несомненная талантливость Сутина была очевидна талантливому тосканцу. Другие считают, что именно их различия во всем влекли флорентийско-ливорнского интеллектуала и поэта к необузданному, косноязычному смиловичскому живописцу. Мастер нежных тонов и вкрадчивых соблазнов удивлялся задавленной неистовой сексуальности невежды из таинственной страны Белоруссии, во множестве родившей упорных гениев для чужого города Парижа.

К 1916 году у Модильяни появился новый поклонник, помощник и защитник. Это был польский поэт Леопольд Зборовский, который стал маршаном и поклялся раскрыть равнодушному миру глаза на живопись Модильяни. Он забросил для этого свою собственную поэзию и упорно пробивал дорогу другу Модильяни, предоставляя ему знаменитые модели, развешивая его полотна везде где только было можно — хоть в парикмахерской. Он чувствовал, что победа уже близка (а может, и понимал, что трагедия может грянуть раньше).

Модильяни написал портрет Сутина и сказал своему другу Збо (так звали Зборовского на Монпарнасе, а Модильяни там звали просто Моди), что тот должен непременно заняться этим русским гением, которого зовут Шаим (в русском оригинале, конечно, Хаим). Модильяни теперь нередко таскал неряху-гения за собой по окраине у Вожирара и по Монпарнасу. Он помог Сутину еще больше поверить в себя и, конечно же, был его другом, его добрым гением, но при этом был и его злым гением, потому что он таскал Сутина по кабакам, приучал его к вину, потому что они пили вместе... О, конечно, это было прекрасно — пить с другом. Мгновенно хмелея, Модильяни вытаскивал из кармана томик Данте и читал вслух «Божественную комедию»:

Земную жизнь пройдя до середины...

Кто знал, что вторая половина его жизни не продлится и пяти лет? Разве что сам Модильяни, который, как и русская его колдунья Ахматова, обожал мистику, предсказания и чуял приближение часа.

Кабацкая поэзия

Не надо удивляться тому, что местечковый неуч Сутин, дома говоривший только на идише, читал в кабаках русские стихи. Он не так давно научился русскому, но обожал Пушкина. У него вообще была огромная тяга к образованию,

к самообразованию. Позднее, научившись читать по-французски, он с увлечением читал французские и переводные книги. В одном из своих последних писем писал случайно встреченному им в бургундской деревне земляку из Белоруссии: «Люди тут очень милые... Я читаю. Мне передают книги о Рембрандте, о Гойе и Эль Греко. Последний меня очень интересует... Я читал, что написал о нем писатель Гонгора...»

В те последние годы он иногда притворялся, что совсем забыл русский. Уже знакомая нам его соседка по Вилле «Сера» скульптор Хана Орлова (родом из Малороссии) поймала его на притворстве. Она стала читать стихотворение Пушкина, нарочно делая ошибки в каждой строчке:

Увидим ли, друзья, народ освобожденный
И рабство, павшее по мани*ю* царя...

Сутин стал добросовестно поправлять ее ошибки.

Модильяни первым повез с собой Сутина на юг Франции, на Лазурный берег. Зборовский согласился платить Сутину за краски и холст. Попав в Ване, а потом в Кань-сюр-Мер, сын Смиловичей, обитатель парижских задворков испытал настоящее потрясение: прозрачный воздух здешних предгорий, нагретый и трепещущий в полдень, горные деревни, круглая черепица провансальских кровель, крутые улочки, лестницы («Красная лестница в Кань»), дороги, уходящие в гору, синева гор на горизонте, яркие краски юга...

Сутинский восторг можно понять. Объехавший полсвета американский писатель Генри Миллер, попав впервые в Кань, извещал свою американскую корреспондентку: «...Кань... каждый дом — за километр — видно было отчетливо и ясно. Неудивительно, что Ренуар жил здесь. Художникам тут здорово. Прозрачнее воздух и представить себе трудно. Почти как в пустыне».

Гонимый вечным своим беспокойством и «охотой к перемене мест», Сутин слоняется с мольбертом вокруг Ванса, близ Года, а позднее — по восточнопиренейскому городку Сере, истинной Мекке кубистов. Это живописное горное селение, лежащее к югу от Перпиньяна, кубисты начали обживать в самом начале XX века.

Ошеломленный здешними пейзажами, пишет исступленно (а позднее так же исступленно уничтожал полотна этого периода).

По словам русского искусствоведа В. Кулакова, «на Ривьере выкристаллизовался... стиль Сутина — неповторимо-звучный, драматический колоризм, в котором так заметна одержимость рубиново-красными тонами, приемы деформации изображения, открытая эмоциональность письма».

На Лазурном берегу Сутин узнал о смерти своего друга Модильяни и его возлюбленной Жанны, носившей под сердцем их второго ребенка и выбросившейся после похорон Амедео из окна родительской квартиры.

Из долгого южного странствия Сутин привез в Париж больше двух сотен холстов, однако все эти груды хлама (которым очень скоро суждено было стать сокровищем) щедро расточались им или пылились у Зборовского на улице Жозеф-Бара в тесной квартирке, на одной из дверей которой Модильяни написал когда-то портрет своего русского друга.

Чудеса бывают, хотя и не так часто

А потом произошло чудо, о котором долго рассказывали (да и теперь еще рассказывают) в кабаках Монпарнаса, приводя его в качестве извечного аргумента (как положительного, так и отрицательного) в спорах об искусстве, о бедности и богатстве, о счастье, о судьбе...

Итак, на дворе 1922 год, холсты Сутина пылятся у Зборовского (у которого только-только пошел в ход покойный Модильяни), продаются ни шатко ни валко

и, можно сказать, за гроши. Холстов так много, что Збо произвел отбор и попросил свою кухарку Полет Журдан забрать пяток к себе на кухню на растопку (наиболее умелые рассказчики с Монпарнаса добавляют здесь, что Полет даже запихнула их в холодную печку, но мы еще выслушаем рассказ самой Полет).

Так вот, в конце 1922 года в монпарнасских «заинтересованных кругах» пронесся слух, что в Париж нагрянул Альфред Барнс. В самом этом имени для всякого голодного, полуголодного или просто обремененного работой, семьей и долгами художника чудились некий проблеск надежды и праздничный перезвон долларов. Ибо человек из простой американской семьи, Альфред Кум Барнс учился в двух университетах в Германии, был химиком на фабрике, изобрел там на пару с одним немцем волшебное дезинфицирующее средство под названием «аржироль», наладил его производство, заработал чертову кучу денег, ввел на упомянутой фабрике шестичасовой рабочий день, много сделал для университетов и для замирения враждебных стран, а в конце концов ушел на отдых — точнее, стал заниматься любимым делом: собирать коллекцию картин и скульптур. Это замечательное занятие, сулящее погружение в мир прекрасного, осмысленные путешествия, приобретение навыков, открытие новых земель, волнующий риск и попутно (хотя и вполне заслуженно) новую удачу и новое обогащение, не говоря уж о безмерном «повышении качества жизни», ибо это и труд и развлечение — до конца дней.

Пятидесятилетний Альфред Барнс уже приезжал в Париж, осчастливил и прославил многих монпарнасских гениев (а заодно и свою коллекцию в Мерионе близ Филадельфии), что-то обещал Жаку Липшицу из «Улья», но теперь ищет что-нибудь из ряда вон выходящее. Вот нашел же москвич Щукин Матисса, а Стайны — Пикассо, вот и ему бы что-нибудь по вкусу... А вкус у него, надо сказать, отменный. И вообще, он не простой денежный мешок, этот Барнс, он еще и психологию изучал в Гейдельберге. Молодой маршан Поль Гийом (щеголеват, но не прост на портрете покойного Модильяни) писал о Барнсе, что это «человек пылкий, демократичный, неистощимый, несгибаемый, очаровательный, импульсивный, щедрый, уникальный». Конечно, лишь недавно открывший галерею маршан хочет польстить великому человеку, но даже если половина из перечисленных им высоких качеств имеет отношение к Барнсу, уже не худо. К Полю Гийому Барнс и направляет свои шаги.

Бесконечно перебирая картины, Барнс случайно наткнулся на единственное полотно Сутина, купленное для себя маршаном. Впрочем, предоставим слово самому совершенно ошалевшему в тот день Полю Гийому: «Доктор Барнс увидел у меня это полотно. “Ого, это же первый сорт!” — вскричал он. Его неудержимый взрыв восторга при виде этого холста круто изменил всю судьбу Сутина, сделал его в одночасье известным художником, за которым стали охотиться любители, фигурой, с которой не шутят: на Монпарнасе он стал героем».

Поль Гийом повел доктора Барнса к Зборовскому, и вот как рассказывает о случившемся кухарка Зборовского Полет Журдан:

«Мне тогда было семнадцать лет. Я была на улице Жозеф-Бара № 3, у Зборовского, когда приехал Барнс: маленький такой старичок в очках. Збо разобрал все, что Сутин привез из Сере. Я спасла от огня штук пять картин и спрятала их у себя в комнатке. Барнс пришел с Полем Гийомом. Ну вот, разложили, значит, Сутина на полу, по пять тыщ и по десять тыщ за штуку. (Раньше-то брали по пять франков за штуку. — *Б. Я.*) Барнс их взял двадцать пять штук (позднее добрал еще штук семьдесят пять. — *Б. Я.*), выбрал те, что были пожирней, понаваристей (конечно же, это означает не только наваристей, но и «пастознее», есть такое слово в словаре, но Полет Журдан все же кухарка была. С другой стороны, она была кухарка в доме, кишевшем живописцами, так что вполне могла бы выражаться, как кандидат искусствоведения. — *Б. Я.*), — пейзажи отобрал и портреты. Тут Зборовский вдруг спохватился: “А где твои картины?” Пришлось их ему вернуть».

Легко понять, что Зборовский поспешил сообщить эту сказочную новость художнику и попросил его прийти повидаться с американцем. Тот пришел, но сцену их знакомства он описал Хане Орловой гораздо позднее с типично сутинской смесью застенчивости, гордыни, неумения быть благодарным, общаться...

«Барнс сидел, он поднял голову и сказал: “Ага! Это и есть Сутин! Ну и ладно”».

Художник добавлял, что последний дурак он был, Сутин, что пошел знакомиться с этим невежей.

На самом деле всем ясно было, что доктор Барнс вовсе не был невежа из филадельфийского захолустья. Он увидел в картинах русского гения из Смиловичей то самое, что разглядел в них раньше пропащий гений из Ливорно, бедняга Модильяни, — «невероятную мощь и проникновенность». Об этом Барнс и написал по возвращении в Америку в журнале «Искусство живописи» (“Art in Painting”). Он написал «о мнимом хаосе и нагромождениях, где на самом деле есть величайшее равновесие линий и красочных масс, которые в их странном устремлении и сочетании рождают мощные, трепещущие ритмы, пронизывающие все полотно от одного края до другого». Американский коллекционер усматривал в полотнах Сутина самые разнообразные влияния — от Домье и Сезанна до Ван Гога и негритянского искусства. Барнс писал также об очень любопытных искажениях натуры у Сутина, о том, какую роль играют руки и лицо его модели в достижении пластического единства. Барнс с изумлением писал о диспропорции черт лица на портретах Сутина (вроде гигантского уха, о котором забываешь в искусном сочетании красок). По мнению Барнса, диспропорции эти превосходят дерзания Матисса, но Сутин, в отличие от Матисса, не организует свою живопись, а целиком отдается своему порыву, словно не задумываясь, как он выйдет из положения. «Сутин достигает результатов за счет цвета, — замечает Барнс, — достигает богатым, насыщенным, смачным колоритом, который объединяет все части картины...»

И еще, и еще, и еще все в том же духе писал доктор Барнс в американском журнале для любителей и художников. Так, в тридцатилетнем возрасте Сутин был замечен истинным знатоком и коллекционером, чье слово ценилось на вес доллара. Доктор Барнс не писал ни картин, ни диссертаций, но ведь и Дягилев не танцевал и даже не ставил балетов.

Теперь-то уж все заметили то, что заметил Барнс (Сутин был поэт цвета и выразитель страданий бедного человечества), и знатоки стали охотиться за его картинами. Как это изменило его жизнь? Он еще ходил некоторое время в своем заляпанном краской велюровом костюме, но потом стал одеваться у Барклая, покупать обувь у Ханнана, носить замечательные сорочки. Кухарка Полет замечала, что иные счета из магазинов на столе у Зборовского достигают десятка тыщ франков. Сутин без конца менял жилье, точно кто-то гнался за ним. Он даже нанял учителя французского и в некоторых труднопроизносимых словах отделался от родного местечкового акцента. Услышав однажды в «Ротонде» его звук «ю», веселый Кислинг презрительно крикнул: «Старый поц, ты что, не можешь говорить как все люди?!»

А «все люди» и не пытались избавиться от наследия идиша. Но, конечно, Сутин был не как все люди с Монпарнаса. Он много читал, он работал над собой. Биографы приводят его изумленную реплику: «Когда живешь в такой грязной дыре, как Смиловичи, нельзя и вообразить себе, что существуют такие города, как Париж. Представьте себе, что я в своем местечке — я, который сегодня так любит Баха, — даже не подозревал о существовании фортепиано».

Мемуаристы нередко вспоминают и о малограмотности, и о «культурности» Сутина, во всяком случае — его стремлении к культуре. («А ты поступи еще и в третий институт», — уговаривала меня младшая соседка Сутиных из Смиловичей, моя бедная мамочка, которой и вовсе не пришлось учиться.)

Художница Ида Карская вспоминала: «Насколько я знаю, Сутин не закончил никакого профессионального учебного заведения. Писал по-русски он с тру-

дом — можно сказать, был малограмотным. Но при этом в нем была подлинная культура мысли и вкуса».

О ком могли думать французские репортеры, озадаченно разглядывая странно-застенчивого нового русского героя Монпарнаса? О Достоевском, конечно. Один пострел так и написал — что этот страдающий Сутин глотает по ночам романы Достоевского. Результат был неожиданным: на тележках торговцев в монпарнасском ресторане появились томики Достоевского.

Сутин и впрямь читал много и по-прежнему много писал картин. Стал ли он счастливее, изменился ли к лучшему его невыносимый характер после избавления от забот о деньгах? Вряд ли. Ни дохлые туши, ни живые лица на его картинах не говорят о счастье, не сулят надежды на спасение. У художника было теперь меньше жизненных забот: его маршан Зборовский с семьей и кухарка Полет заботились об удобствах художника, доставали ему холсты, краски, дохлую птицу и кровоточащее мясо, которые он так любил писать, снимали для него виллу, кормили и поили. Однажды Зборовский отправил Сутина на Лазурный берег на своей машине с шофером. Позднее этот шофер, месье Данероль, вспоминал, что Сутин давал ему читать Артюра Рембо и Сенеку, а вообще Сутин сохранился в памяти шофера Данероля как существо страдающее, на всю жизнь обиженное судьбой.

Это наблюдение не противоречит тому, что пишут о Сутине знаменитые искусствоведы (уже в те годы о нем вышло две монографии). Он был странное, пуганое существо, из страха перед неудачей ухаживал только за старыми и страшными женщинами, боялся взять жену и признать свою рожденную вне брака дочку... Впрочем, у него ведь было свое, не слишком обычное представление о красоте, о дружбе, о благодарности, о порядочности, о радости и, конечно, свое, очень высокое представление о творчестве и о долге художника. Он писал кистью на холсте, сразу кистью, без предварительного наброска и эскиза. Здесь он не был первым. При таком способе (как, впрочем, и при всех прочих) часты отклонения результата от того, что представлял себе и замышлял художник. И когда Сутин глядел на свои новые и старые полотна, его охватывала жажда уничтожения созданного. Готовое творение словно бы насмехалось над ним, унижало его замысел. И тогда он отправлялся на кухню за ножом. Это был акт убийства, очищения, самобичевания, а может, и самоубийства. Эта страсть Сутина была всем известна, иногда она принимала характер болезненной мании.

Но, конечно, во всем, что было написано о Сутине за последние восемьдесят лет, немало измышлений, легенд, противоречивых догадок. Художница Ида Карская вспоминает:

«Некоторые критики проводили параллель (кстати, и нынче проводят. — *Б. Я.*) и находили преемственную связь между Сутиным и Рембрандтом. Сам он такое сравнение не любил: “Ничего подобного! Нет, Карская, не верьте этому. Обо мне пишут всякую чепуху — будто я разбиваю мебель и делаю из нее свои картины, да у меня и мебели-то никакой толком нет. Если же какие-либо параллели проводить, то мне ближе всего Боттичелли. А между Рембрандтом и Боттичелли ничего общего!” Сначала это признание показалось мне странным, но потом я поняла, в чем дело. Рембрандт прежде всего фактурен, и именно фактура организует все в его полотнах. У Боттичелли же все подчинено арабеске, линии, экспрессии сплетающихся, вьющихся линий. Конечно, и у Сутина фактура играет большую роль, но больше всего он любил эту самую “арабескность”. Тела на его картинах как-то так сплетены, так взаимосвязаны, что кажется, будто одно тело рисует другое, одна часть тела как бы проникает в другую, оплетается ею. Вспомним боттичеллевскую “Весну” — там ведь та же идея. Я потом долго изучала этот прием, эту технику. Я сравнила бы манеру Сутина с кинематографическими приемами Орсона Уэллса. У Сутина было что-то от Уэллса: склоненные, наклоненные углы, которые как бы охватывают человека.

...Дочь Модильяни (которую я близко знала) признавалась мне, что творчество Сутина ставит выше творчества своего отца, и я с ней согласна. Модильяни

был декадент: эти длинные шеи, удлиненные, узкобедрые безжизненные фигуры — “искусство для искусства”. В картинах же Сутина пульсировала кровь жизни, он выразил суть окружающего предметного мира и человека. Сутина некоторые причисляют к экспрессионистам. Колористом он был сильным... Но будучи крупной личностью, он выходил за пределы любого направления. Сутин был самородок. Он видел живопись по-своему и по-новому...»

Так вспоминала красивая ученица, поклонница Сутина Ида Карская. Уж она-то получила профессиональное образование. Кажется, медицинское.

Ах, эти дамы, будущие вдовы...

В конце 20-х годов, а также в 30-е годы, вскоре после ранней смерти Зборовского, среди поклонников Сутина видное место занимают супруги Кастэн — прелестная молодая Мадлен и ее муж Марсель. Эти состоятельные люди, владевшие среди прочего имением близ Шартра, были страстными коллекционерами, поклонниками живописи Сутина, они хотели составить богатую коллекцию его картин и приложили невероятные усилия для того, чтобы «приручить» художника, привадить его к дому. В конце концов им это удалось, может, благодаря настойчивости Мадлен, которую даже такой знаток, как Пикассо, называл «самой очаровательной женщиной Парижа». В жизни Кастэнов наступает «сутинский» период, а в жизни Сутина — весьма благополучный «усадебный» период. Не слишком ясно, к каким годам относится их первое знакомство, ибо после американской покупки «в конце 20-х годов», которую упоминает в своих мемуарах мадам Кастэн, Сутин уже не «голодал по три дня» и никто не совал ему украдкой сотню задатка в руку (как это описано у мадам Кастэн), да и сами супруги Кастэн за «Мальчика из хора», написанного в 1925 году, заплатили художнику тридцать тысяч франков. Но так или иначе, Мадлен начинает позировать Сутину еще до 1927 года, а в 1927-м Сутин отправляется с супругами Кастэн в их имение Лев под Шартром. Вот что рассказывала об этом позднее Мадлен Кастэн, благополучно дожившая до девяноста восьми лет:

«Сутин был счастлив сменить атмосферу своей жизни. И если общение с ним было иногда трудным, характер его все же заметно изменился под влиянием нового воздуха, которым он дышал в Леве. Здесь окружающая среда была для него, без всякого сомнения, более тонизирующей, чем на юге Франции, особенно в Сере... Мы постоянно жили надеждой увидеть, как в нем пробуждается желание творить. И тогда мы делали все, чтобы создать для этого условия, однако без навязчивой и чрезмерной предупредительности. Он был сама противоречивость! Сутин отлучался на два-три дня, если был доволен своей работой, — например, уезжал в Амстердам, чтобы увидеть “Еврейскую невесту” Рембрандта. Для тех, кто находился рядом с ним, неожиданность становилась повседневностью. Дорогой Сутин! Какую страсть, какую бездну психологических ухищрений нужно было проявить, чтобы приручить Вас, чтобы увидеть в Ваших глазах потаенный триумф! Я была счастлива чувствовать некоторую свою сопричастность к рождению столь многих шедевров — будь то портрет старой крестьянки, детский портрет или французский пейзаж, облачное или безмятежно-синее небо, — притом, что любая картина обладала взрывчатой силой красочной массы».

Мадлен Кастэн и ее муж настолько успокоили и «приручили» нервного Сутина, что он разрешал им следить за его работой. Благодаря этому мы получили одно из редких описаний творческого процесса, сделанное к тому же влюбленной в живопись (а может, и в живописца) женщиной:

«Я словно вижу его перед мольбертом. Работая, он как бы не находился на земле, что не мешало ему придавать первостепенное значение технике живописи. В руках он держал множество кистей. Как только краска была нанесена на холст,

он отбрасывал кисть — она уже была использована. Отсюда свежесть и необычайная чистота его палитры.

Когда он писал человеческую натуру, он терял представление о времени. Я часто позировала ему. Нельзя было обронить ни одного ненужного слова или сказать что-либо, нарушающее его мысли. Простая фраза могла вывести его из себя. Я вспоминаю его реакцию, когда, не имея ни малейшего желания принизить его талант, мой муж попытался было найти некоторое духовное сходство между одним из его последних произведений и Ренуаром. Был ли Сутин огорчен или сам чувствовал такую близость? Но он в гневе разорвал свою работу».

Ах, какая неосторожность со стороны месье Кастэна! Разве можно гению напоминать о его близости к другим гениям? Разве обмолвился Шагал о своей близости к неопримитивистам, орфистам, кубистам, супрематистам или конструктивистам? Разве стерпел бы Набоков упоминания о Кафке, Прусте или, извините, Газданове?

Впрочем, к маниакальному уничтожению Сутиным своих работ в мирном Леве уже притерпелись. В ту эпоху Сутин резал свои картины, написанные в Сере, жестоко наказывая их за несовершенство. Мадлен Кастэн вспоминает:

«...Сеансы часто заканчивались уничтожением холста. Зловещий звук — и он сам, обессиленный, изнуренный, горестный... В других же случаях — удовлетворенный, но всегда сомневающийся. Сутин звал нас в мастерскую, и это была церемония первого просмотра. Взволнованная, я входила первой, он наблюдал за нами, это был или триумф, или крах. Волнующие воспоминания! Он прятал холст, на котором только что началась жизнь нового, доселе неизвестного произведения искусства, и, глядя на нас, уже знал, что мы желали бы иметь его. Тогда он, характерным жестом поднося палец к губам, как бы призывал нас к молчанию: “Позже, позже мы поговорим об этом”. И тогда для нас начиналась беготня по Парижу с целью найти одно, два, три полотна, написанных им в Сере, — он мечтал их уничтожить. Когда мы приносили ему эти работы, Сутин закрывался у себя, долго рассматривал их и затем рвал и сжигал даже кусочки холста. Только тогда можно было говорить о цене той картины, которую он нам показывал».

Существует немало свидетельств о том, как Сутин охотился за прежними своими картинами, как он их уничтожал. Вот одно из них:

«Вот чудовище, которое хотело меня пожрать! — с этим криком Сутин разрезал картину и добавил: — Если бы я был Рембрандт, я бы снова взялся за кисть. Увы, я всего лишь Сутин».

Часто пишут, что и безумные натюрморты Сутина, и его пейзажи лишь его «автопортреты». Вероятно, так было у Ван Гога, у Жерико.

Мадлен Кастэн отмечала, что работы Сутина, написанные у них в Леве, проникнуты нежностью...

Конечно, искусствоведы не обошли проблему сексуальности сутинской живописи. Считают, что она ощутима во всех его натюрмортах, пейзажах, портретах. А между тем, Сутин почти никогда не писал «ню». Женщины на его портретах некрасивы, одеты по большей части в нелепую «кобеднишнюю» одежду или в то, что называлось «прозодеждой».

Рассказывают, что в Кламаре какая-то уборщица согласилась прогуляться с Сутиным в лесок и хотела переодеться для свидания. Он рассердился и велел ей надеть фартук. Уборщицы, коридорные, пожилые (и некрасивые) хозяйки пансионов, рядовые сотрудницы борделей — это был его контингент. Он не умел ухаживать, уговаривать, не хотел терять время на глупости, стеснялся... Но они и нравились ему такими. А потом в его жизни произошел некий поворот. Он стал модный и богатый гений, не мишень для насмешек, а герой Монпарнаса. Вскоре возле Сутина появляется пара коллекционеров-супругов Кастэн, и в первую очередь его восторженная поклонница Мадлен Кастэн. Может, уже в ту пору состоялось и его знакомство с красивой Мари-Бертой Оранш, бывшей женой Макса Эрнста.

Блистательная хозяйка поместья Мадлен Кастэн была для Сутина истинной аристократкой. Он пишет ее портреты в своем парижском ателье, он провожает ее в церковь, где скромно прячется за столбами, «мечтая, а может быть, и молясь». Он, конечно, влюблен в нее. А она? Откуда нам знать? Если уж дитя богемного Петербурга Ахматова, трижды бывшая замужем и столько понаписавшая стихов о разных своих возлюбленных, не могла открыто сказать (почти накануне своей смерти) о былой влюбленности в Модильяни, чего было ждать от пристойной богатой дамы, доживающей десятый десяток лет в центре квартала Сен-Жермен? Лишь возгласа: «Никогда ни единым словом!..» Никогда, ни единым, ни он, ни она: «Говорят, Сутин был влюблен в меня. Возможно, что так оно и было, однако он всегда был удивительно сдержан в разговорах».

Это правда: он говорить об этом не умел вообще. А дальше — неубедительные, но всем известные формулы: «Он знал, как я обожала моего мужа... живопись всегда была у него на первом плане».

При чем тут муж? Разве Сутин предлагал ей брак? Он вообще ни на ком не хотел жениться — даже на Деборе Мельник, которая родила ему дочь, как две капли воды похожую на отца и вдобавок ставшую художницей. (Кстати, он знал об этом ребенке и даже упоминал его в разговорах, скажем, в разговоре с художницей Идой Карской, пытавшейся успокоить капризничавшего сына: «Карская, да оставьте... сам успокоится. У меня тоже что-то такое есть: не то сын, не то дочь... Вы прежде всего художник. А это вырастет само собой».)

Итак, все, что пишет о Сутине Мадлен Кастэн, не отличается от прочих мемуарных рассказов, и живой ее голос прорывается лишь там, где она вдруг начинает возражать творцам мифов, унижающим ее героя: «Его безобразная внешность? Она также принадлежит к области выдумок. Его лицо преображалось во время беседы, когда он воскрешал для нас некоторые воспоминания своего детства или когда говорил о героях Бальзака, психология которого его увлекала, или же когда он слушал токкату или фугу Баха».

Вот здесь — живой голос. Ко всему этому не забудем о тщеславии красавицы-парижанки (приобщение к великим шедеврам), о ее любви к живописи, о ее страсти (может, одной из наиболее сильных человеческих страстей) — страсти к коллекционированию. (Сутин — важнейший экспонат их великой коллекции. На что не пойдешь ради коллекции?..)

Кстати, весьма одобрительно отзывалась о внешности «калмыка» и красивая художница Ида Карская («Морелла» из знаменитых стихов Поплавского), в 30-е годы боготворившая Сутина-художника (а может, и не только художника):

«Был он красив, но какой-то особой красотой, довольно высокого роста, широкоплечий. Его мечтой было стать боксером. Уже будучи известным художником, он жалел о том, что эта мечта не сбылась. У него были длинные волосы (что тогда было не в моде), и к нему ходила какая-то монахиня делать массаж для предупреждения облысения. Сутин был сноб, но не во всем: он мог держаться щеголем, и при этом пиджак на локтях мог быть разорван... Сутин нес в себе какую-то силу, заставлявшую всех преклоняться перед ним. Но ловеласом он не был, напротив, я бы сказала, боялся женщин: съезжал с квартиры, убегал из ателье, переселялся в отель, чтобы никто не знал, где он живет. Была, к примеру, поэтесса Наташа Борисова. Она ему позировала. Когда она приходила, он не мог вспомнить, как ее зовут: Аня? Маня? Саша? Даша? Он вообще ничего не помнил, был рассеян и равнодушен к внешним обстоятельствам жизни. Поэтесса эта решила стать художницей: рисовала какие-то огромные цветы и подписывала большими буквами “Сутин”. Слава богу, она вышла замуж и бросила живопись...».

Что до самой Иды, то мы узнаем из старческого монолога, что ее муж был в то время в армии... великая вещь — монолог...

Так, может быть, Сутин изведал, наконец, счастье? Сомнительно. Слишком он был закомплексован, недоверчив, подозрителен. Карская это отметила верно.

Молодая художница Мария Воробьева-Стебельская (по ее утверждению, это Горький придумал бедной Маше столь вычурный псевдоним — Маревна), столько раз бывавшая в «Улье», многих там знавшая и многих любившая, рассказывает в своей мемуарной книге о новой встрече с уже разбогатевшим Сутиным. Он мало изменился, все так же канючил и жаловался на жизнь, жалился столь настойчиво, что она осталась с ним ночевать — из чистого гуманизма — и была разочарована. Маревна пересказывает жалобы богатого Сутина в своей мемуарной книжке, но, конечно, ко всем этим «точным» мемуарным пересказам былых разговоров (И. Одоевцева, как известно, заполнила ими два тома) следует относиться с осторожностью. Маревна явно себе «набивает цену». И все же — вот как Сутин 1927 года жалуется Маревне на неустроенность своей жизни:

«Ты мне будешь говорить о женщинах, Маревна? Вот у меня есть теперь несколько подруг среди этих “дам света”. Они заезжают за мной на своих огромных шикарных машинах, чтоб везти меня к ним в гости. Это замужние женщины. Как ты думаешь, чего они хотят от меня? Моих картин, конечно! Они спят со мной, хотя им это, может, противно, — а потом, потом они у меня просят картину, а они стоят двадцать, тридцать тыщ франков, не меньше, а иногда и больше! И если я им даю эту картину, то через два или три года они могут перепродать их за двойную и даже тройную цену. Даже сегодня, если им попадется богатый ценитель, это принесет неплохой навар. Так что, все это просто шлюхи! Я знаю, что я некрасивый и больной. Я даже не могу жизни радоваться, как люди. У меня даже ребенка не может быть. Какой же тогда смысл во всей этой любовной комедии и постельных моих отношениях со светскими дамами? На самом деле они ничуть не лучше, чем девушки с панели...»

«...Как-то вечером мы с ним возвращались из кино, и он захотел, чтоб я с ним осталась. Иногда он просто не мог выносить своего одиночества. Я пробыла с ним всю ночь. Любовью он занимался плохо. Может, он просто робел? Просто у него была большая потребность в нежности и дружбе. Он говорил о себе, о своем одиночестве, о своей работе и своем горьком разочаровании в жизни и в женщинах».

Вот такой рассказ. Конечно, многоопытная Маревна-Воробьева-Стебельская из чувашско-монпарнасской глуши — девушка грубая (я слышал, что забавные мемуары ее недавно вышли по-русски), но, может, воспроизведенные ей жалобы модного живописца Сутина и впрямь отражают его подозрительность, его неспособность к дружбе и любви, его обреченность.

Где вы, друзья?

Он мало-помалу растерял своих старых друзей. Оплакивал (но при этом нередко попрекал) Модильяни, злился на Кременя, с которым рассорился навсегда (часто хулил его живопись), редко виделся с почитавшим его (и тоже вышедшим в люди) Михаилом Кикоиным. Сын Кикоина Жак (художник Янкель, истинное дитя «Улья») так писал о дружбе отца и Сутина: «Если не считать Сутина, к которому он испытывал поистине братское, горячее и восторженное чувство дружбы, у отца моего было не много настоящих друзей. Когда успех принес ему деньги и “будущих вдов”, Сутин перестал узнавать друзей своих тяжких годов. Известна циничная фраза, которую он сказал одному старому другу-художнику, который упрекнул его в том, что он больше не появляется в “Улье”: “Шоферы такси не знают туда дорогу”.

Художники обычно блюдут культ дружбы в юности, а старея, часто замыкаются в себе и в своем искусстве, отгораживаясь от жизни».

Время от времени у Сутина появлялись новые знакомые. Одна из его многочисленных, часто меняемых в те годы студий находилась близ Монпарнаса, на углу экзотического Адского проезда и знаменитой улицы Кампань-Премьер. Там

он и познакомился с соседом-художником Леонардо Бенатовым. Этот тридцатилетний живописец и антиквар (дома его звали Леон Буниатян) был лет на пять моложе Сутина, но успел уже пройти немалый путь. Он родился в армянском (ныне турецком) селении былой Эриванской губернии, лежащем близ тех блаженных, осененных Араратом мест, где полвека спустя автор этих строк отбывал солдатскую службу. Учился он у Машкова и Миганджана в московском училище, потом в мастерской Коненкова во ВХУТЕМАСе, рисовал кубистическое панно по заказу Комиссариата почт и еще что-то красочное на темы «борьбы за мир» для Военного комиссариата и Военных курсов. Управление военных учреждений присудило ему Первую премию за самые воинственные портреты вождей революции, а казна заказала ему очередной портрет вождя мировой революции Ленина. Все эти почести не вскружили голову разумному Бенатову, и, поехав в 1922 году за границу, он благоразумно решил не возвращаться (и тем самым, возможно, избежал судьбы своих знатных моделей). В ту пору, когда он познакомился с Сутиным, Бенатов был уже вторично женат — на дочери живописца Малявина — и жил по соседству, в знаменитом (премированном до войны парижской мэрией) доме № 31 по улице Кампань-Премьер (в том самом, где жили Зинаида Серебрякова, Анненков, Мансуров, Ман Рэй и где я еще бываю иногда в гостях у милой Екатерины Борисовны Серебряковой, дочери Зинаиды Евгеньевны). От второго тестя (Филиппа Малявина) к Бенатову перешла целая коллекция рисунков этого блестящего мастера, и молодой художник решил заняться коллекционированием. Он проникся симпатией к Сутину, они вместе ездили на кровожадные матчи борьбы кэтч, до которых Сутин был великий охотник, и в результате Бенатов даже купил у Сутина картину.

Сутин не слишком всерьез принимал свое еврейское происхождение. Не находя в своих картинах общности с полотнами Шагала или Мане-Каца, не верил он и в разговоры о «Еврейской школе живописи». Когда же скульпторы в «Улье» затеяли издание художественного журнала на идише, то отказались от подписки на этот журнал только Сутин и Цадкин, объявившие, что в общем-то не считают себя евреями. И все же Сутин раньше многих в Париже почувствовал смертельную угрозу, которую нес фашизм Гитлера. Может, оттого, что он всю жизнь прожил в предчувствии смерти, в капкане страха. Передают слова, сказанные Сутиным в ту пору, когда Гитлер обратил свой взор к Франции, завороженной и обессиленной пением коминтерновских сирен о «борьбе за мир»: «Мы прячемся за трупами. Зачем эта игра в прятки, если наша душа разъедена страхом? Людоед с неизбежностью до нас доберется...»

Соседка Хана

До 1937 года Сутин жил на симпатичной улице Художников (rue des Artistes) близ парка Монсури, потом, гонимый вечным своим беспокойством, он переехал в дом № 18 на улочке Вилла Сера, у самой улицы Томб-Иссуар (в том же 14-м округе). Теперь его соседями были Сальвадор Дали, Люрса, американский писатель Генри Миллер и тридцатидевятилетняя уроженка Украины (нынешней Донецкой области) скульптор Хана Орлова. Из всех новых соседей Сутин подружился только с Ханой, которую, вероятно, и раньше встречал иногда на Монпарнасе, может, в обществе Жанны и Амедео. Хана была спокойная, уравновешенная, много пережившая, сильная женщина, талантливый скульптор, уже сделавшая себе имя своими портретами. Она, как и сам Сутин, бежала из еврейской семьи в Париж учиться искусству. Только уже не из России, а из-под Яффы, из Палестины, куда ее семья бежала еще в 1904-м (после знаменитого кишиневского погрома). Хане было в ту пору только шестнадцать. На «исторической родине» семья стала пахать, поднимать первую сельхозкоммуну, а Хану усадили шить для заработка. Она не хотела шить, она хотела лепить, вот и сбежала в Париж двадцати двух лет

от роду, в 1910 году. В Париже она сдала конкурсный экзамен в Национальную школу, где ее стали учить рисунку. А в Свободной Русской Академии (у Марии Васильевой) она училась скульптуре и уже в 1913 году выставила на Осеннем салоне два бюста.

Плотная такая, плечистая девушка с короткой шеей, очень благожелательная и выносливая. В 1916 году Хана вышла замуж за поэта, который ушел на войну и умер в 1918-м во время эпидемии гриппа. С тех пор она одна растила ребенка. Еще в 1915-м она сделала портрет своей соученицы Жанны Эбютерн, будущей подруги Модильяни. Хана рассказывала, что это она познакомила Жанну с Модильяни, а позднее, после гибели их обоих, сняла с Модильяни посмертную маску.

Создается все же впечатление, что до 1937 года Хана не была знакома со знаменитым другом Модильяни Хаимом Сутиным. Теперь он заходил к ней иногда на обед, когда из ее кухни пахло едой. Она не знала, что ему можно есть, а чего нельзя, он ел с аппетитом, ел много, а потом корчился от болей в желудке и назавтра проходил мимо нее, не здороваясь. В эти годы он и слышать не хотел о Модильяни, хулил не только самого покойника, но и его прелестную живопись. В общем, он был «мишигинер», как говорили в украинских местечках, или «мишугинер», как говорили в Смиловичах. И то и другое значит «чокнутый». Но Хану жизнь научила терпимости. И она так много слышала о странностях этого богатого и грязного Сутина, что удивилась, увидев его очень аккуратно одетым. Как раз в эту пору Сутин познакомился в кафе «Дом» с беженкой из Германии Гердой Михаэли, которую он для простоты и благозвучия стал звать мадемуазель Гард. Гард по-французски значит «хранительница», а милая беженка, и правда, по возможности оберегала теперь французского гения от жизненных трудностей. Она даже прибрала у него в доме и постирала его рубашки. Они теперь гуляли вечерами близ площади Данфер-Рошро или уезжали на маршрутном такси куда-нибудь в долину Шеврёз.

Хана Орлова рассказывает, что Сутин подолгу вынашивал в душе новую картину, потом с остервенением писал ее без остановки (под пластинку с записью Баха) и кончал вещь совершенно обессиленный. Однажды она хотела войти к нему во время работы, и он в ярости захлопнул дверь у нее перед носом. Но вечером он зашел к ней, грустно извинился за грубость и сказал, что изрезал свою картину.

Хана рассказывала, что Сутину якобы не дали визу в США, что он уехал в Бургундию, а потом вдруг снова объявился в мае 1941-го и сказал, что он не может поехать в «свободную зону», потому что там он не найдет молока. Чтоб не найти молока во Франции! Ну что с него взять — мишигинер...

Саму Хану предупредили о возможности облавы в декабре 1942 года, и она бежала с сыном в Гренобль, в Лион, а оттуда вместе с Жоржем Карсом в Швейцарию. Вернувшись после войны в Париж, она обнаружила, что мастерская ее разгромлена и не меньше сотни скульптур разбито.

Поплакав и утерев слезы, Хана создает свое горестное «Возвращение».

В 1968 году известный скульптор Хана Орлова справляла свое восьмидесятилетие. В Израиле должна была открыться ее юбилейная выставка. Для обложки каталога Хана выбрала своего трогательного, смешного и трагического «еврея-художника». Она прилетела в Израиль, чтобы включиться в приятные юбилейные хлопоты, но тут пробил ее час. Нельзя сказать, чтоб она умерла вдруг или безвременно: восемьдесят лет тяжкой жизни, полной драм... Просто она умерла скоропостижно. Соседа Сутина она все же пережила на четверть века, потому что в войну ее великий сосед Сутин так и не решился сбежать еще дальше от Парижа и Франции. Он медлил, словно кролик, зачарованный взглядом удава-Гитлера, неизбежностью насильственной смерти.

Вернулся из окопов заранее проигранной левой Францией «странной войны» друг Сутина Миша Кикоин и упрямо нашил на свою одежду желтую звезду

смерти. Разбежались «расово неполноценные» обитатели «Улья». Иные из них, угодив в облаву, начали свой мученический путь к газовым камерам... А Сутин все не уезжал в США и даже не переехал в «свободную зону», где еще можно было уцелеть. Целых две тысячи французов, прятавших и спасавших евреев, насчитал иерусалимский институт Яд-Вашем, специально занятый подсчетом «праведников мира». Две тысячи «праведников» на полсотни миллионов французов — это не так мало. Впрочем, не забудем, что среди этих героев немалый процент составляли русские «праведники» (отец Димитрий Клепинин, мать Мария Скобцова, Ольга Мас...).

Было время, когда Сутин прятался в Париже, и актриса Симона Синьоре-Каминкер вспоминала позднее, что она ходила для него за красками в лавочку художников, где его могли опознать.

Еще в самом начале войны, еще до прихода немцев Сутин поехал в Сиври, где жила Герда, его Гард-хранительница.

Сиври — городок на чудной бургундской речке Серен, среди виноградников, церквей, старинных домов.

Местные жители неплохо относились к странному живописцу, целый день рисовавшему свои словно взбесившиеся деревья. Похоже, что и местный кюре благоволил к блаженному поклоннику природы. Более того, у Сутина даже появился в этом бургундском городке друг-земляк, военный по имени Жорж Грог. Оказалось, что этот унтер-офицер французской колониальной кавалерии (спаги), эскадрон которой стоял до времени в департаменте Йон, — еврей родом из Белоруссии, из-под Минска, что он знает Смиловичи. Однако едва Сутин успел привязаться к этому кавалеристу в красной форме спаги, как Жоржа перевели в Алжир. Сутин писал ему туда письма, и они сохранились, эти письма, донесшие до нас предсмертный голос загнанного живописца. Это утешительно, что дошли до нас не только противоречащие друг другу монпарнасские легенды, но и документы. Вот одно из писем за 1939 год:

«Мой дорогой Жорж!

После твоего отъезда в Алжир мне было грустно, несмотря на присутствие Герды. Из-за этой войны я совсем разболелся, и я просто не понимаю, что тебя заманило в эту французскую кавалерию спаги, разве что их красивые бурнусы — белые и красные. Ах, эта красная форма спаги!

Мы ездим прогуляться в Авалон и Оксер, но я напрасно пытаюсь забыть об этом кошмаре, который меня делает больным. С животом у меня получше, один проезжий врач из призывников дал мне таблетки, которые мне помогли.

В художественных магазинах больше ничего нет — ни бумаги, ни красок. Если сможешь купить мне в Алжире тюбики масляной краски и гуашь, покупай все, что найдешь. Привезешь их, когда приедешь на праздники. Ты меня очень обяжешь. Раввин Ибрагим, которому ты посылаешь привет, передал мне наконец мои семейные документы из Смиловичей. Он, если помнишь, когда-то преподавал древнееврейский в Смиловичах. Он теперь не может туда вернуться, и ему придется работать во Франции. Я встретил также Исаака Спорча из Минска, который работает теперь у одного парижского торговца картинами. Он мне иногда приносит краски, потому что мне без этого просто не выжить. Я видел также Кикоина, который с семьей уехал на Юг. Я не имею никаких новостей о Кремене и Липшице...»

Поразительная история — он ведь никогда не хотел вспоминать проклятую родину. И, швыряя деньги парижским таксистам, ни разу не вспомнил, что там их дюжина голодных ртов, в их домишке, в нищих Смиловичах, никогда не поинтересовался, что там «у них»... И вдруг...

Похоже, что блудный сын Смиловичей, мучимый дурными предчувствиями, все чаще вспоминает теперь свою бедную родину и, несмотря на свой эгоцен-

тризм, мучится угрызениями совести... И они ведь сбылись, все самые дурные предчувствия нервного художника Сутина. И он сам был уже обречен, и его Смиловичи, и его Минск, и Белоруссия, и его Вильно...

...Через месяц после первого письма Сутин писал Жоржу в Алжир о своем преклонении перед Эль Греко, о котором он только что читал книгу и беседовал с местным кюре: «Здешнему кюре он не нравится, потому что он удлинял тело своим персонажам. Но я думаю, он был прав. Он все, что писал, старался идеализировать».

Язва желудка на время перестала мучить Сутина. Он пишет Грогу: «Я был у профессора Госсе, который успокоил меня после осмотра. В жизни не встречал таких добрых людей...»

В январе 1940 года Сутин снова писал в Алжир из Сиври: «Уже пять месяцев неопределенности: немцы то наступают, то не наступают. Доктор Госсе сказал мне, что все начнется весной. Никаких новостей о Минске и Вильне, но ко мне заезжал повидаться Абрамович из Иностранного легиона. Он повез меня в Оксер, где было представление для военных. Там были поединки в боксе и кэтче, которые меня очень интересуют. Я сделал несколько рисунков.

...Чтобы забыть о всех печалях, я гуляю по деревне. Как красивы деревья! Я любовался на днях плакучей ивой, изогнутой ураганным ветром. Какой красивой она была, изогнутая, под дождем! Я уже больше месяца изнываю, ничего не делая из-за отсутствия красок».

Жорж Грог приехал в отпуск и привез Сутину краски. В благодарственном письме, написанном Грогу в конце января 1940 года, художник сделал печальную приписку: «Я оставил у мадам Клэр рисунок Модильяни и другие принадлежащие мне рисунки. Ты заберешь их, если со мной случится что-нибудь».

В середине марта Сутин писал в Алжир из Сиври: «Делаю рисунки, потому что красок больше нет. Да и душа не лежит. Герду забрала полиция. Здешний кюре пришел ко мне, чтоб отдать мне картины. Он удивляется, что я так часто рисую деревья, но что может быть красивей деревьев?»

А вот письмо от 10 мая 1940 года (немцы уже были готовы вторгнуться в Арденны, обойдя идиотскую «линию Мажино»):

«Как ты знаешь, всюду катастрофа... Чтобы забыть об этом кошмаре, я пишу, я рисую, я читаю. Кюре передал мне книжки, которые мне нравятся, — “История Франции” Мишле меня особенно заинтересовала. Виктор Гюго великолепен. Я прочел любопытную книгу Эжена Фромантена, которая называется “Старые мастера”. Увлекательно.

От друзей никаких новостей. От мадемуазель Гард тоже ничего. Если найдешь краски в тюбиках или в коробках, покупай все! Мне нужны.

С очень сердечным приветом.

Сутин».

В феврале 1941 года Сутин покинул свое бургундское убежище и вернулся в Париж. Сперва он поселился в отеле на Орлеанской авеню, потом объявился у себя на Вилле Сера, где его видела Хана Орлова. А в Париже становилось все страшнее. Сутин прятался здесь и там, он продолжал писать новые полотна. Иные из критиков считают, что он обрел новую силу. Конечно, и на новых картинах были деформированные предметы, но ведь он говорил: «Искажение, деформация — это жизнь... это красота».

В ту пору рядом с Сутиным была последняя его «дама из общества» — Мари-Берта Оранш. Биографы намекают, что она была «небескорыстна», что она помыкала гением и что он был у нее под каблуком. Они бежали под Шинон, что в кантоне Индра-и-Луары, жили в тамошних деревушках. Дольше всего жили близ деревни Шампиньи-сюр-Вед, в уголке департамента, который называют Ришельевским (почти как улицу в Одессе), в шести километрах от

местечка Ришелье (описанного еще Лафонтеном в его «Путешествии из Парижа в Лимузен»).

Сутин и его подруга жили в доме у ворот Большого Парка близ дороги, ведущей в Пуан. В сельскохозяйственном этом районе, на его меловых почвах сажали подсолнухи, пасли гусей и коз, в парке высились огромные деревья. Сутин написал здесь три десятка картин.

К этому времени относится ссора Сутина с супругами Кастэн, отказавшимися взять свой заказ. Надо признать, что время для ссоры с «дорогим Сутиным» супруги выбрали вполне удачное. В воспоминаниях Мадлен Кастэн «Мой дорогой Сутин», опубликованных в русском журнале «Наше наследие», уклончиво сказано, что немцы захватили их имение и Сутин перестал к ним ездить: ни слова о ссоре из-за «Дерева в Ришелье» или о том, что Сутин прятался от полиции, что ему грозила гибель.

Может, он и выжил бы, бедняга Сутин, может, избежал бы полицейских облав и печей Освенцима, но переживания и страхи последних лет обострили его язву желудка. В один летний день 1943 года боли стали невыносимыми. Мари-Берта повезла его в Париж на машине, отчего-то с заездом за рисунками (вероятно, к мадам Клэр), отчего-то через Нормандию...

7 августа Сутину сделали запоздалую (а может, и вредную) операцию, а через два дня он умер на больничной койке, не дожив и до пятидесяти лет.

Он был похоронен недалеко от «Ротонды» и Адского проезда, где он жил одно время (да где он только не жил в Париже?). За гробом его шли, среди немногих, Пабло Пикассо и поэт Макс Жакоб, которому тоже суждено было вскоре умереть в концлагере Дранси (католик из Бретани, он все же оказался евреем).

Сутина ждали большая посмертная слава и мощная когорта подражателей (по большей части среди немецких неоэкспрессионистов). Памятник Сутину (работы старого друга из «Улья» литовца Арвида Блатаса) стоит близ Монпарнасского вокзала. О Хаиме Сутине, этом «французском Рембрандте», слышали в разных уголках Европы, но, конечно, не в таких глухих, как белорусские Смиловичи, где он родился по соседству с моей красавицей бабушкой. (В Смиловичах уже несколько лет действует большой, о нескольких залах, музей Хаима Сутина, находящийся под патронажем ЮНЕСКО. — *Ред.*)

Ну, а в «Улье» вам расскажут о Сутине множество легенд (столь же мало достоверных, как и легенды о его местечковом детстве):

— Про зубную щетку помните? А это — как он хотел девочек обогреть и в печурку сунул картину...

— Ту, которая стоила тридцать тысяч франков?

— Это тогда тридцать тысяч. А теперь, небось, триста тысяч или три миллиона. Тогда-то он, впрочем, отдавал ее за три франка...



Они его за «Муху» полюбили...

Надоедливые в обиходе насекомые нередко залетают в поэзию, не разбирая, где философская лирика (вспомним Уильяма Блейка), а где юмористический шедевр. Такая поэтическая «Муха», пожалуй, прославила американского поэта Огдена Нэша (1902—1971). Во всяком случае, многие мои знакомые-американцы знают наизусть стихотворение с таким заголовком. Впрочем, оно и немудрено: в творении сем всего-навсего две строки! Вроде того, что создал Бог муху, да вот забыл нам сказать, ради чего он это сделал.

Просто. В меру оригинально. И — самое главное — подобный текст каждый понимает в меру собственной образованности и начитанности. Не Шекспир, понятное дело, но зато, чтобы «Муху» полюбить, особенного «сostраданья к ней» не требуется.

Не исключено, что именно в этом скрыт феномен непреходящей популярности произведений Нэша. Его стихи — это такой проверенный американский коктейль, три в одном. Во-первых, в его стихах крепкая доза словесной игры (с ног не валит, но ударяет в читательскую голову как полагается). Во-вторых, Нэш — наблюдатель нравов и временами даже социальный критик. *Sapienti sat*, как говорили древние латиняне, умному достаточно (но голова после чтения все-таки не болит). В-третьих, поэтический коктейль Нэша приправлен ироничным юмором. Редкий читатель устоит — в смысле того, чтобы не почитать еще и еще.

В результате получается весьма привлекательная поэзия, которая давно поставила Нэша в первый ряд американских юмористов. Причем, выдвинулся он как-то сразу — прежде всего, благодаря своим смелым словесным экспериментам. Если требуемое слово для рифмы не находилось, Нэш его на ходу придумывал. Судя по его биографии, узковатые горизонты словаря он наловчился раздвигать, сочиняя рекламные тексты.

Делал это для заработка — после того как, проучившись в Гарварде всего один год, бросил университет и, перепробовав множество профессий, оказался в Нью-Йорке. Основным занятием было придумывать рекламные тексты, что размещали в городском общественном транспорте. Кстати, этим ремеслом в той же самой компании пробавлялся до него Френсис Скотт Фитцджеральд — что и говорить, в литературном мире Америки тех лет тесно, как в утреннем нью-йоркском трамвае!

Но как бы там ни было, к тридцати годам Нэш выдвинулся в популярные сочинители юмористических стихов, и популярность его год от года росла — Нэш регулярно выпускал сборники своих произведений, а в промежутках успевал выступать то в радиопостановках, то в университетах США и за рубежом. О его известности говорит один примечательный факт: в 1968 году в журнале «Лайф» появился обширный очерк об игроках балтиморской команды (Нэш переехал из Нью-Йорка в Балтимор и прожил там до конца дней), и фотографии сопровождали не журналистские текстовки, а веселые, «с подковыркой», посвящения Огдена Нэша. А все потому, что только две вещи он самозабвенно любил в жизни — рифмовать и… американский футбол.

Оттого его рифмы и полюбились американцам. В поэзии Нэша полно знакомых среднестатистическому читателю литературных и исторических аллюзий и отсылок, которые без труда поймут все — и даже «не кончавшие гуманитарных вузов». Конечно, в переводе на русский язык приходится что-то менять — на более знакомое и узнаваемое. «Наш» Нэш — он, действительно, выглядит куда большим знатоком русскоязычной культуры, чем в оригинале. Потому и появляются в переводных строках то «Каменный гость», а то и вовсе «знания, которые выработало человечество»...

Подобные переводческие пируэты можно заклеймить с позиций суровой адекватности. Но, по сути, все это читается вполне «по-нэшьему». Хочется верить, что даже самому автору понравилось бы!

ОГДЕН НЭШ

С точки зрения вечности

Так вот на кого я похож

Я вспоминаю всех, в ком ярок гений,
И становлюсь немного сам не свой:
У *них* так много общего со *мной…*
Я тоже гений, в этом нет сомнений.

В латыни я Шекспира мало хуже,
Как Теккерей, я очень даже сноб.
Как Бёрнс, могу хлебнуть винца на ужин,
Да и в обед две рюмочки хлоп-хлоп.

Как Байрон, от страстей страдаю жарко,
Как Донн, о них слагаю резвый стих.
Гляжу на женщин прямо, как Петрарка,
Но, словно Мильтон, слабо вижу их.

Черт подери, в рассказах я что Чосер:
В них вам и ад, и возвращенный рай.
Зато в ответ на вечные вопросы
Твержу одно, как Поуп... и попугай.

Я как Вийон: того гляди зарежу
Редактора. Я сам себя боюсь!
Как Кольридж, я во сне стихами грежу,
Вот только утром записать ленюсь.

Итак, путем доходчивых сравнений
Я доказал, я — классикам под стать.
Есть, кстати, у меня особый гений:
Попробуйте по-*нэш*ьему писать!

Вперед, Шотландия, и чтобы без фамильярностей

У меня есть очень недорогое хобби:
Я Роберта Бёрнса не называю *Бобби*!

Я считаю, что надо блюсти пиетет,
Поскольку Роберт — великий поэт.

Другим-то больше везет: например,
Кто скажет: *Скотт*, прибавляет: *сэр*.

А на *Бобби* Бёрнса мода прилипчива,
И читатели просто теряют приличия!

По пивным ископаемые истуканы
За *хей-хей-Бобби* вздымают стаканы;

А дамы — нет чтоб за чаем скучать,
Начинают с *Бобо* фамильярничать.

Даже те, кому плешь проели гомеры,
Теряют последнее чувство меры.

А в общем, всё люди довольно милые,
Но какие-то слишком уж *бобби*филые!

Допускаю, что можно на чинном рауте
Щегольнуть цитатой из *Бобби*... Саути.

Что ж, бывает, рванет девица в бега,
Начитавшись *Бобби*... Браунинга.

Как стрекочут славные мисс в унисон,
Что им ах-ах-нравится *Боб*... Стивенсон!

В Бобе больше для барышень интереса,
Чем в культе таинственного *Р. Л.С.*'а!

Но за шутки с Бёрнсом я драл бы налог:
Он жил как мужчина, а писал — как Бог.

Чтоб во веки веков сидеть на бобах
Тем, кто сдуру бормочет: *Ах, Бобби, ах*!

У кого, кроме Бёрнса, звончее лира?
Да, пожалуй, только у *Вилли.*
Шекспира.

Быть или не быть, вот в чем вопрос современного образования

Для победы в жизненной битве
    и стратег должен мыслить тактически;
И отрадно мне видеть, что колледжи
    ставят нынче дело практически.
Раз пошло кругом обучение сплошь ноу-хауное,
Пора показать молодежи, что в жизни главное.
Полагаю, что время пришло ректоратам взяться за ум и
Отменить изучение мертвых языков,
    коим учат полумертвые от мудрости мумии.
Пора отставить поэзию
    и глубокомысленные «глядения через призмы»,
Потому что вслед за призмами
    прямиком поналезут в голову всякие измы.
Пусть юнцы зубрят корпоративный менеджмент,
    при этом ежедневно в бейсбол играя:

В результате меньше будет яйцеголовых умников
и устроителей бесплатного рая!
Конечно, у всякого кампуса свои казусы
и свой собственный морок,
Но что лучше: орда радикалов нестриженых
или строй крутобедрых тамбурмажорок?
Кстати,
тренеры меняют теперь составы
чуть не каждую осень,
А отмените классику, и одну команду
можно гонять лет восемь!
Потому что атлетам нипочем не закончить курса
(но недовольные пусть расслабятся, сидя дома).
Не закончат они потому, что некому будет
выписать им по-латыни диплома!

А теперь — скорее! Весь кампус нынче бурлит,
как проснувшийся кратер:
Все бегут разучивать эту …
ну, песню про дерево —
про любимую *Пальму Матер*!

Неизвестное о горгонах

Случилось так, что морская богиня Кето
вышла замуж за некоего Форкия,
Но, похоже, судьба досталась ей
убийственно горькая:
Не раз, наверное, Форкий
ей бурные сцены устраивал,
Выпытывая, в кого это дети пошли —
и Скилла, и безглазые граи,
А особенно три злючки-горгоны.
Хотя, может, и не гены подгадили,
а гормоны.

Однако, поговорим о горгонах...
Даже не кончавшие гуманитарных вузов
Знают, что горгон было трое,
а младшенькую назвали Медузой.
Но далеко не всякий
почетный профессор греческой мифологии
Знает, что сестрички-горгоны
тачали трагедии и даже трилогии.
Начала все это литературное дело Медуза:
на аргонавте приблудном сорвавши злость,
Описала свои впечатления в милой штучке
под заглавием «Каменный гость».
Тут уж ее завистливые сестрицы
разом решили податься в авторы:
«Чем мы хуже сестер Бронте?
Мы будем лучше! Мы — *бронтезавторы*!»

Но младшенькая, даром что миф,
не была бы Медузой,
Если бы не считала сестриц изрядной обузой.
Да как это так? Чтобы в компании
с двумя бесталанными дурами
Сделаться всего лишь какими-то
Горгон-Гонкурами!
Не знаю, чем бы оно все закончилось
на самом деле,
Не случись в ту пору поблизости *Персей* —
как бишь его? — Шелли.

Любовь при республиканцах (или демократах)

Приди, любовь, мы гнездышко совьем
И всем на радость славно заживем,

Хоть ты табличку вешай на стене:
«Семья примерная. XX век, н. э.».

Квартирка чудо, с окнами на двор,
И высоко — не влезет даже вор.

Твой кактус в кадке настоящий шик,
Ему не страшно, что из кранов пшик.

Насчет покушать — это, право, быт, но
Питаться станем дешево да сытно.

А на уикенд, усевшись чинно рядом,
Себя отравим чуть *амонтильядом*.

Раз в месяц буду ездить в при-го-род
Тебе за шляпкой новой (вот же мот!).

Мы отсидим в полупустых партерах
Положенное время на премьерах,

По воскресеньям парой идеальной
Прогуливаться станем в Парк Центральный,

И через год счастливого *жутья*
Своей рукой тебя прирежу я.

Всё не погода!

Не люб мне ветер января:
Вокруг метельный ад.
И корчусь я, и прячусь я,
А зубы сту-ту-чат.

Милей тюрьма, милей петля,
Чем вьюжный ветер января!
Не люб мне мартовский каприз:
То солнце, то мороз.
У всякой мисс гриппозный криз
Плюс авитаминоз.
Да что про март марать стихи?
Сплошные кха! и а-а-апчхи!

Не люб мне августовский жар.
На пляжах все лежат.
Но им нектар лучей — загар,
А мне смертельный яд.
Мне нет жесточе в жизни кар,
Чем пережить ужасный жар!

Не люб мне сумрак октября:
Туманы, ревматизм.
Средь бела дня труба ревмя
Ревет и портит жизнь.
Слетает сонный листопад...
Я вовсе осени не рад!

Вот если б летом дул муссон,
А в стужи вдруг жара!
Прямой резон на сей сезон
Не пожалеть пера.
Иначе, что ни говори,
Нет проку петь календари!

Эй, приятель, что там у нас со звездами?

Похоже, недаром успеху поэты пропели так много песен!
Потому что в розу превратиться мечтает
наираспоследняя плесень.
Видать, и самый завалящий ангел
метит исключительно в херувимы,
И самая бестолковая театральная статистка
жаждет пробиться непременно в примы.
Словом, любой к успеху всю жизнь стремится!
Только не всякий знает, как подступиться…

Одни уверены, что их ждут шикарные рестораны,
лимузины, и даже, простите, брильянты,
Если они будут упорно откапывать
преждевременно зарытые в землю таланты;
Другие высчитывают наикратчайший путь
в роскошные Отель-Паласы и Ритцы,
Совершенно не заботясь о том,
чтоб на службу вовремя утром явиться.
Одни, после трудового дня, упорно овладевают
знаниями, которые выработало человечество,

А другие изучают бесспорную разницу
в темпераментах блондинчества и брюнетчества.
Короче, искателями успеха до краев переполнен свет:
Причем, половина повторяет: *Да*!
А другая твердит: *Нет*!
Но если те, что говорят *Нет*, говорили бы *Да*,
и наоборот, все равно 99% остались бы
точно теми же, кто они есть,
потому что, с точки зрения вечности,
Это очень правильно, так как если бы всех вдруг настиг успех,
то кто бы тогда кому завидовал, а потому все бы
начали пытаться достичь еще большего успеха,
чтобы кто-то начал, наконец, завидовать их успеху —
и так далее, и далее, и далее, и далее до бесконечности.

Ибо если каждый из нас решит на звезду равняться,
То звезд на небе точно не хватит, нечего сомневаться.

Семь ступеней духовного развития миссис Мармадьюк Мур

Миссис Мармадьюк Мур в свои десять лет
(Тогда еще просто Джемайма Мэтт)
Росла на природе, вольным дичком:
Две тощих косички торчали торчком.
Джеми умела сквозь зубы плевать
И знать не знала, что значит врать.
Гоняла на велосипеде со свистом
И молиться ездила к *методистам*.

В двадцать лет, чиста и стройна,
Пленила мистера Мура она.
Он дал отставку подружкам прежним
И стал ей мужем, богатым и нежным.
А исповедальное «господи Боже»
Сменилось местом в театральной ложе.
Наряды, выговор — все по-другому.
А церковь? Да та, что *поближе к дому*!

Тридцать! Резвится проказник-Амур:
С хористкой спутался мистер Мур.
Соблазну противиться долго не смог,
И ополовинел брачный чертог.
Ведомая пылким сердечным томленьем,
Миссис Мур предалась размышленьям
И вновь обрела потерянный рай
В веселой вере *Бахай-Бахай*.

Сорок! Пусть брошена, как и прежде,
Но еще копошатся в душе надежды:
Хной приукрасив седеющий скальп,
Мадам поспешила в предгорья Альп

К профессору мудрому, в древнюю Вену,
Чтоб всё постичь (за разумную цену).
Итогом паломнического рейда
Стало Евангелие от... *Фрейда*.
Пятьдесят! Теперь миссис Мур меценатка:
На деньги щедра, на новое падка.
В хозяйкином вкусе вполне уверясь,
В ее салон, как семга на нерест,
Идут косяком и грек, и индус,
Что в целом крепит артистический вкус.
А скорбные рассужденья о Боге
Терпит тренер по *раджа-йоге*.

Шестьдесят! Подступает возраст матроны:
В изобилье печаль, в недостатке гормоны.
Пора подумать о свободе совести,
Чтобы печатать откровенные повести,
Покуда Бог не призвал обратно,
Надо покаяться (лучше печатно!).
Миссис Мур, издав непечатный клич,
Пустилась в *религиозный китч*.

Таков сей путь, что уже измерен.
Что дальше — неясно. Но автор уверен:
Дойдет миссис Мур до семидесяти,
И появится новый кумир на пути.
Ведь бог един, но — во многих лицах:
Найдется какому лицу помолиться.
Когда никого в постели под боком,
То жизнь поневоле выходит *богом*.

Предисловие и перевод с английского
Юрия Маслова.



АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Настоящий рай — Молодечненский край

Вторая столица Минщины

Если добираться в Молодечно не электричкой или «маршруткой», а давней дорогой, которая когда-то была главной транспортной магистралью, связывающей Минск с этим городом, а потом и с Вильно, то справа, недалеко от деревни Мясата, можно заметить четыре валуна, которые являются своего рода памятником Старовиленскому тракту. На одном из них, своей формой напоминающем карту Беларуси, установлена мемориальная доска, на которой выбиты строки народного песняра Янки Купалы:

Мінск, Маладзечна, Вільня...
Як жа знаёмы шлях гэты.
Змерыў яго я калісьці,
Як шукаў шчасця па светах.

Однако не одному Ивану Доминиковичу был «знаёмы шлях гэты», а и Сымону Будному, Михалу Клеофасу Огинскому, Денису Давыдову, Николаю Гоголю, Владиславу Сырокомле, Якубу Коласу и многим другим — фамилии их «напоминает» мемориальная доска на третьем валуне. Этот список продолжен и на четвертом валуне. Если первые три были установлены еще в 1979 году, то этот появился значительно позже, в 1995-м. Он дополнил списки тех, кто до этого не был назван. Появились новые фамилии заслуженных людей — наших близких современников.

Просматривая перечень фамилий, ловишь себя на мысли, что со временем, наверно, здесь появится мемориальная доска, а на ней фамилии тех, кто сегодня (дай Бог им здоровья!) плодотворно работает на молодечненской земле, в том числе и начальника отдела культуры Молодечненского райисполкома Александра Романовича.

Именно благодаря Александру Викторовичу город Молодечно стал настоящей культурной столицей Минщины. Да, по сути, и не только столичной области. В районе 89 учреждений культуры, в которых работает около 900 человек. 49 коллективам художественной самодеятельности присвоено почетное звание «народный» или «образцовый». Есть и несколько профессиональных: областной драматический театр, областной театр кукол «Батлейка», музыкальное училище имени М. К. Огинского. В Молодечно размещается и Минский областной краеведческий музей.

Все культурные достижения города — безусловная заслуга в том числе и начальника отдела культуры Молодечненского райисполкома Александра Викторовича Романовича.

Когда в 2005 году произошло объединение города и района в одну административно-территориальную единицу, все учреждения культуры перешли в подчинение Романовичу.

Александр Викторович с гордостью рассказывает:



Цветы от Александра Романовича.

— Мы в состоянии провести любое мероприятие на самом высоком уровне. Да и то, что местом проведения некоторых из них, имеющих областной, а то и республиканский статус, выбирается именно наш город, говорит само за себя. Знаете, сколько мероприятий областного, республиканского и международного уровня проводится у нас в год? — задает он вопрос и, не ожидая ответа, продолжает: — Никогда не догадаетесь. Сто!

Самое главное среди них — Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, который проходил уже десять раз и вошел в пятерку самых значимых в Беларуси наряду с такими, как «Славянский базар в Витебске», «Листопад», «Дожинки» и Республиканский фестиваль национальных культур в городе Гродно.

Недавно отметил свое десятилетие региональный фестиваль эстрадных исполнителей «Адна зямля». Идея проведения его родилась в Молодечно не случайно. Как известно, когда-то этот город являлся областным центром и объединил нынешние Молодечненский, Воложинский, Вилейский и Мядельский районы Минской области, а также Ошмянский, Сморгонский, Островецкий, которые теперь относятся к Гродненщине. В качестве названия фестиваля взят девиз «Рэгіянальнай газеты», выходящей в Молодечно, который так и звучит — «Адна зямля». Первый такой фестиваль прошел в поселке Чисть. После этого он «переезжает» из района в район. Те, кто получает Гран-при, занимают призовые места (а это самые-самые, ибо в состав жюри входят такие известные деятели культуры, как профессор Евгений Гладков, композиторы Эдуард Зарицкий, Валерий Иванов), могут без вступительных экзаменов поступать в музыкальное училище имени М. К. Огинского. Многие из них стали профессиональными исполнителями — выступают в составе Национального государственного оркестра под руководством Михаила Финберга, на телевидении.

Большим авторитетом пользуется и фестиваль «Гучаць цымбалы на зямлі Купалы», который также рожден благодаря стараниям Романовича и его соратников.

Обо всем этом можно рассказывать долго и подробно. Как и о лучших учреждениях культуры, работающих на селе. В равной степени и о коллективах художественной самодеятельности, созданных при них. Однако правильно говорится: не объять необъятное. Надо выбирать нечто одно.

— Зачем далеко ходить? — на лице Александра Викторовича появляется улыбка.

Я сразу догадываюсь, что он имеет в виду: отдел культуры находится во, простите за невольную тавтологию, Дворце культуры, а там, как я узнал от Романовича, работает более 30 различных коллективов, в том числе художественной самодеятельности. В год проводится около 300 разных мероприятий. Да и само здание — не просто загляденье, а сказка.

И встал красавец Дворец

Директором Молодечненского Дворца культуры работает Светлана Сороко. Хотя слово «работает», пусть и не преднамеренно, но несколько приуменьшает значение того, какую активную деятельность проводит эта миловидная женщина на такой ответственной должности. Все же правильнее сказать, Светлана Григорьевна не работает в культуре, а живет ей. Она своим задором, энергией воодушевляет тех, кто вместе с ней занят одним общим, притом, очень важным делом — пропагандирует прекрасное.

Сама родом из Слуцкого района, деревни Сороги, а Слутчина, как известно, один из наиболее богатых на таланты уголков на белорусской земле. Так что как бы самой природой изначально были заложены в ней творческие задатки. Поэтому долго не задумывалась, куда поступать — выбрала культурно-просветительское училище, окончила отделение хорового пения. Позже, заочно уже, в Белорусском государственном университете культуры и искусств, который окончила с красным дипломом, приобрела еще одну важную профессию, которая для нее ныне особенно ценна — специалист по менеджменту.

В чем-то схож с биографией Сороко и жизненный путь заместителя директора по организационно-массовой работе Галины Акулёнок. Галина Владимировна — тоже выпускница училища, с той только разницей, что по профессии — хореограф. Она также заочно получила диплом о высшем образовании. В том же БГУКИ. Вместе со Светланой Григорьевной работали еще в районном Доме культуры. И вот судьба опять свела вместе.

К слову сказать, Молодечно не сразу «пришло» к своему прекрасному Дворцу культуры. Этот город долгое время не имел места для проведения масштабных культурных мероприятий. Приходилось для этой цели задействовать различные учреждения культуры и даже образования. Условия при этом, конечно, были далеко не лучшие. Не говоря уже о том, что некуда было приглашать для выступления звезд эстрады и других профессионалов высшего класса. Дело сдвинулось с мертвой точки только в 1989 году, когда в центре города начали возводить по оригинальному проекту давно желаемый Дворец культуры.

Но это, как известно, было далеко не лучшее время для такого грандиозного строительства, поэтому из-за отсутствия должного финансирования работа была приостановлена. Возобновилось строительство только в 2001 году — после того, как Молодечно посетил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Возведение Дворца велось очень быстро, и уже в 2002 году он был торжественно открыт.

В храме как в храме

Даже теперь, по истечении восьми лет, Светлана Григорьевна с большой радостью рассказывает о Дворце, в котором работает. С таким воодушевлением, будто он только-только справил новоселье:

— Наш Дворец стал сердцем культурной жизни не только города, но и всей столичной области, своего рода визиткой региона. Его значимость трудно переоценить, ибо наш город часто ассоциируется именно с Дворцом культуры — настоящим храмом искусства и красоты. Под его крышей работают музыкальные, хореографические, театральные коллективы, кружки изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Здесь бережно хранят традиции и зарождаются новые, самые смелые проекты. Творческая жизнь здесь смогла расцвести сотнями разнообразных оттенков, засветиться радугой на небосклоне культуры. А еще можно просто сказать — это НАШ ДВОРЕЦ. Так мы его называем с большой гордостью. Иногда, — продолжает Сороко, — можно услышать, что работать в культуре легко: праздники, конкурсы, фестивали. Не жизнь, а сплошная песня. Но так может говорить лишь тот, кто не знает, каким кропотливым и сложным

является наш труд, сколько усилий он требует от каждого. При подготовке любого мероприятия все нужно предусмотреть, ни в чем не ошибиться, чтобы достичь желаемого результата. Невольно вспоминается одна легенда…

— Какая?

— Как-то у двух человек, которые занимались одним и тем же делом, спросили, чем они заняты. Один из них ответил, что он просто носит камни. А вот другой тихо сказал: «Я строю храм». Стремление создать храм и сохранить его, зажечь огонек в душе человека, увидеть необычное в повседневном стало делом нашей жизни. Жизни, воодушевленной искусством, творчеством, искренней любовью к людям.

Во Дворце культуры работает пять отделов, каждый из которых вносит ощутимый вклад в общее дело, а это, если сказать коротко, к тому, о чем говорила с таким энтузиазмом Светлана Григорьевна, — чтобы в храме искусства всегда был праздник. Нелишне эти отделы назвать: культурно-зрелищных мероприятий и информационный, который возглавляет Алла Яцина; культурно-досуговой деятельности — руководит им Елена Соколовская; традиционного искусства и любительского творчества — тон в нем задает Наталья Царь; художественной самодеятельностью заправляет Валентина Жавнерович, а отделом по работе с детьми и молодежью — Татьяна Тарасова.

Такая вот творческая пятерка получается. Деятельная, активная, инициативная. Поэтому и результаты налицо. Впрочем, разве иначе может быть, если за дело берутся женщины? Те, которые всегда и во всем придерживаются неписаного правила: если работать — так работать, если отдыхать — так отдыхать. А поскольку их работа и связана с организацией досуга для других, открывается широкое поле деятельности. Не в последнюю очередь в области художественной самодеятельности. Одни названия коллективов уже много говорят о себе: образцовый хореографический ансамбль «Сонечныя праменьчыкі» (руководитель Людмила Борисевич), народный театр музыкальных ассоциаций «Метаморфозы» (режиссер Андриан Борткевич), студия бального танца «Каскад» (руководитель Александр Драгомиров), студия эстрадного танца «ВиЗоВи» (ее возглавляет Виталия Новаш), народное клубное объединение ветеранов войны и труда «Адпачынак» (руководитель Мария Баландина), народное клубное объединение «Майстар», кружок инкрустации соломкой (руководит Ольга Маслова), клубное объединение «Экодом» (руководитель Ирена Ханевская), народная студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства (руководитель Галина Сушко), образцовая студия эстрадной песни «Спяваем разам» (возглавляет ее Елена Атрашкевич), образцовая эстрадная студия «Живой звук» (руководитель Дмитрий Сушко) и другие.

Но особая гордость молодечненцев — образцовый любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Спадчына», организатором и неизменным руководителем которого является Иосиф Сушко.

Надел земли, да в придачу гармошка

Разговариваешь с Иосифом Фомичом и невольно ловишь себя на мысли: вот бы о чьей жизни и творчестве рассказать в известной серии издательства «Мастацкая літаратура» «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». Сразу же, правда, приходит и другая мысль: конечно, сделать бы это хорошо, да беда вся в том, что на всех заслуживающих такого пристального внимания книг не «наберешься». Можно, правда, подготовить в названной библиотечке и коллективный сборник, в котором нашлось бы место и Сушко, и другим, кто, подобно ему, также вдохновенно работает на ниве культуры, а некоторые, по-настоящему одержимые своим делом, и в других отраслях… А пока о таком сборнике только мечтается, не лучше ли сразу перейти к тому, что легко сделать реальным.

Итак, рассказ о человеке, который не только является гордостью земли молодечненской (кстати, Иосиф Фомич почетный гражданин города Молодечно), его

имя хорошо знакомо далеко за ее пределами. Человеке, о котором можно сказать, перефразируя известное высказывание, что путь его прошел через жизненные тернии к звездным высотам творчества.

А истоки его сегодняшних достижений, конечно же, из детства, которое прошло в деревне Прудники Поставского района. По нынешнему территориальному делению. Тогда же это была Западная Белоруссия, которая, как известно, входила в состав Польши, поэтому никаких районов и в помине не было. Но что маленькому Ёсипу, как ласково называли его в семье, до всех этих территориальных делений. У него были свои интересы. Как и у любого деревенского мальчишки. Хотя жизнь сельской детворы особым разнообразием не отличалась. Не до того было крестьянам, чтобы покупать своим мальчишкам и девчонкам какие-либо игрушки. Наиболее любознательным из них самим приходилось решать, во что бы поиграть. Ёсипка Сушко как раз относился к их числу. Однажды, когда ему было то ли четыре года, то ли уже пять, мальчик вместе с отцом зашел в амбар. Поскольку его все интересовало, он начал осматриваться по сторонам. Вдруг взглянул вверх и под самой кровлей увидел гармошку.

— Папа… — загорелись его глаза.

Не успел Ёсипка договорить, как отец догадался, что он имеет в виду, и поспешил достать гармошку.

— Неужели играть будешь? — засмеялся Фома Иосифович.

— Буду, — уверенно, нисколько не сомневаясь, ответил мальчик.

Отец ничего на это не сказал. Мол, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Хочет гармошку, пусть она у него будет. Правда, у отца мелькнула мысль: может быть, и научится играть. Сам же когда-то пробовал играть, но вскоре не до занятий стало. Земельный же надел немалый — 60 гектаров. Не до музыки, поспевай только обрабатывать землю. Впрочем, не было бы гармошки, не было бы и этого надела. Появились они после того, как его отец, а Ёсипки, естественно, дедушка из Петербурга вернулся, где долгое время швейцаром в ресторане работал. Платили неплохо, да и чаевых было немало, так что заработанных денег хватило, чтобы обжиться. Да еще и на «музыку» осталось.

Хотя и не подрос, но большой спрос

Ёсипка же тем временем начал осваивать музыкальный инструмент. Поначалу родители с недоверием отнеслись к его занятию. Но прошло всего несколько дней, как сын, на их удивление, начал легко подбирать на гармошке нехитрые мелодии. Некоторые такты ему и отец подсказывал. Хотя в основном все делал сам Ёсипка. Как говорится, на лету схватывал. «Откуда ты у меня такой?» — не мог нарадоваться Фома Иосифович.

— А когда состоялся ваш первый концерт? — не удерживаюсь я от вопроса, внимательно слушая Сушко.

— Когда? — переспрашивает Иосиф Фомич и уверенно отвечает: — Мне тогда лет шесть было.

— Неужели запомнили? — не верится мне.

— А как не запомнить? — Сушко не скрывает удивления. — Отец мой, как и другие сельчане, с раннего утра до позднего вечера трудился на своем наделе. Из-за работы света белого не видел. Но отдохнуть хоть немного надо. Вот и начали мужики у кого-либо собираться в картишки переброситься. Отец обычно брал меня с собой. На деньги играли. Я же сидел тихонько и наблюдал за игрой. Да еще денежки подсчитывал, поскольку отцу, нужно сказать, очень везло. И вдруг, непонятно почему, он начал раз за разом проигрывать. Незаметно от его выигрышей ни гроша не осталось. От горя я так разревелся, что меня, как ни старались, никак не могли успокоить. Тут-то отец и нашелся. «Знаете? — обратился он к товарищам. — А мой Ёсипка хорошо на гармошке играет». — «Не может быть? — удивились

те. — Ведь совсем дитя еще». — «Надо проверить», — сказал кто-то и побежал в нашу хату, откуда вернулся с гармошкой. Увидел я ее, сразу плакать перестал. И, конечно же, начал играть. Да так, что у всех вызвал восхищение.

Дальше — и того больше. Научился Ёсипка играть польки, краковяки, вальсы. Да так хорошо, что его стали приглашать на свадьбы и другие сельские торжества не только односельчане. Вскоре слава о юном гармонисте из Прудников далеко окрест пошла. Из-за того, что к его малолетнему сыну такое большое внимание, отец очень радовался. Но иногда, когда за Ёсипкой приезжали из соседней деревни, не хотел отпускать его.

— Мужики, — иногда произносил он в сердцах. — Разве я играть не умею?!

— Уметь-то умеешь, — успокаивали Фому Иосифовича сельчане, а то и жители соседних деревень. — Но такие, как ты, муз*ы*ки и у нас есть. А Ёсипка любому фору даст.

— Да он мал совсем. Устанет, — хватался отец за эти доводы, как за спасительную соломинку.

— А мы его долго играть не будем заставлять, — слышалось в ответ. — И накормим, и спать уложим. И транспорт за ним пришлем.

Фоме Иосифовичу ничего не оставалось, как согласиться. Назавтра, рано поутру, около избы Сушков останавливался возок, устланный лучшим сеном. Ёсипка, одев свою праздничную, вышитую национальным орнаментом рубашонку, с гармошкой в руках выходил из дома, чтобы отправиться на свою очередную гастроль.

Без вины виноватый

Продолжал Ёсипка играть и тогда, когда пошел в школу. В польскую, естественно, ибо других не было. Однако не одними знаниями овладевал. Вернее, старался не только усвоить то, что предлагала учебная программа. Совершенствовал и свои познания в музыке. Фома Иосифович, поверив в то, что призвание его сына — в музыке, приглашал к нему известных в окрестностях музыкантов — Шпилевского, Махниса, Мадрида, чтобы поделились с ним некоторыми своими секретами.

Ко времени освобождения Западной Белоруссии Ёсипка успел окончить четыре класса. Вместе со всеми радовался приходу советской власти. И, конечно же, принял самое активное участие в концерте, приуроченном к этому празднику. Исполнял Сушко и хорошо знакомые ему мелодии, но начал с «Интернационала», мелодию которого подсказал ему политрук из военкомата, приехавший задолго до начала этого торжественного мероприятия. Потом концерты проходили часто, поскольку регулярно проводились различные смотры художественной самодеятельности. Ни один из них не обходился без участия Иосифа Сушко. Учителя, понимая, что из-за такой занятости у него не всегда остается время для занятий, к любимому ученику относились снисходительно. Все-таки его успехи на музыкальном поприще делали школе честь.

Но только казалось, «что весна будет вечной». Началась Великая Отечественная война. Правда, Прудникам повезло. Не было массовых расстрелов, и те, кто не ушел на фронт или в партизаны, работали на своем хозяйстве. Этим занимался и Фома Иосифович. Как-никак, а десять ртов в семье. А в 1943 году узнал Сушко-старший, что в Поставах открылась учительская семинария. Не задумываясь послал в нее на учебу Иосифа. Хотел, чтобы в люди вышел талантливый сын. Оказалось же, что сам-то, по сути, и заманил его в западню.

Это стало известно после того, как Белоруссию освободили от немецко-фашистских захватчиков. Мало того, что Иосиф учился в учебном заведении, открытом гитлеровцами, так еще являлся членом Союза белорусской молодежи. Никто не собирался разбираться, что Фома Иосифович, а тем более его сын, были далеки от политики. Никто не принимал в расчет того, что юного Сушко в эту профашистскую организацию заставили вступить. В результате в декабре сорок

четвертого вместе с одиннадцатью учениками и учителями был обвинен в измене Родине. Все очутились в вилейской тюрьме, где целый год ожидали суда. За это время всякое довелось перенести. Да и едва не умер, заболев тифом. Правда, следователь все же жалел его. Однажды даже не удержался, в сердцах произнес: «Будь на то моя воля, дал бы тебе ремня да и отпустил домой». Но другие считали иначе. Хотя сам Иосиф вряд ли полностью понимал, в какой сложной ситуации оказался. Иначе не сказал бы на суде:

— Если моя вина в том, что учился в семинарии, играл на гармошке в самодеятельности, ходил в церковь, то признаю ее.

Хотя в чистосердечном признании, скорее всего, проявился характер. Ибо ни один из тех, кто вместе с ним проходил по этому делу, на такой шаг не отважился. Директор же семинарии как никто другой понимал, чем грозит обвинение по 63-й статье. Поэтому, когда услышал, что каждому из них дали «всего» по 10 лет лишения свободы, при выходе из зала суда едва не танцевал: ожидал, что кого-кого, а его обязательно расстреляют.

Но для Иосифа и 10 лет стали шоком. Получил-то он не просто десять лет, а десять лет строгого режима.

Бамовец — не по своей воле

Впереди была перевалочная тюрьма в Орше. Как сложится дальнейшая жизнь? — над этим задумывалось большинство из тех трехсот человек, которые оказались — даже подумать страшно! — в одной камере. Хотя были и те, кто к такой жизни привык — головорезы, убийцы, грабители… Впрочем, они относились к Сушко с сочувствием. И не столько из-за того, что жалели — Иосиф выглядел значительно моложе своего возраста. Он хорошо пел, а песни становились той отдушиной, которая позволяла забывать о тюрьме и на какое-то время словно возвращаться к прежней жизни.

Отбоя от просьб не было. И то спой, и это. И он с удовольствием пел самые разные песни. Но особенно часто звучала «Далеко в стране Иркутской». Словно напоминала о том, куда вскоре ляжет их путь. Хотя поначалу Иосиф мог оказаться среди тех, кого распределяли в тогдашний город Молотов (ныне Северодвинск) Архангельской области. Но как раз в это время Сушко находился в больнице. Лечащий врач пожалел Иосифа и предложил очередному «покупателю», чтобы тот взял его с собой. Заверил, что такой «подарок» он вскоре оценит, поскольку этот парнишка, несмотря на хилость и невзрачный вид, хорошо поет и играет. Тот согласился.

Впереди была Москва. Потом Красноярск. Следом Иркутск. А дальше — чистое поле посреди тайги близ города Тайшет Иркутской области, где тюремное начальство приказало срочно строить еще одну тюрьму. Да не просто тюрьму, а целую колонию. Одно из многих мест нахождения осужденных. Такие тюрьмы в послевоенное время, как и в довоенное, росли, словно грибы после дождя. Кстати, эта строилась с самыми благими намерениями — начиналось строительство Байкало-Амурской магистрали. Правда, через некоторое время оно было приостановлено.

Колония же появилась строго по графику. Через какой-то месяц стояли ровными рядами бараки. Был даже клуб. Вроде бы все так, как и бывает при создании нового населенного пункта. Но только здесь была своя специфика: по периметру натянуты ряды колючей проволоки. Через определенное расстояние стояли вышки с часовыми, при которых находились натренированные овчарки, готовые по первому же приказу разорвать того, кого не остановила пуля. Стреляли же часовые не задумываясь. Шаг вправо или шаг влево расценивался как побег. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Иосиф Сушко, хотя и не успел по-настоящему стать бамовцем, зато горя хлебнул в избытке. Но одновременно и понял, что мир не без добрых людей.

Или пан, или пропал

Особенно ощутил это в конце 1948 года, когда политических решили содержать отдельно от уголовников, создав для них специальный лагерь, получивший номер «7» и называвшийся «Заозерный». Да еще начали завозить сюда осужденных по 63-й статье со всего Советского Союза. Таких «врагов народа» набралось более чем достаточно. Однако высокое начальство пошло дальше, решив создать художественную самодеятельность на таком высоком уровне, чтобы и «на гражданке» многие могли позавидовать. Тем более что сделать это было не так и трудно.

В местах не столь отдаленных оказались и артисты с именем, выступавшие до этого на лучших профессиональных сценах страны. Вместе с ними при деле оказался и Сушко. Заключенный № 297, успевший освоить такие профессии, как печник, землекоп, токарь, кровельщик (старался так, что некоторые его рекордсменом называли, даже успел поработать помощником прораба), пригодился и как гармонист. Конечно, с гармошкой он и до этого не расставался, но теперь получил право репетировать в каптерке. Чтобы через некоторое время стать баянистом… оркестра.

«Какой еще оркестр может быть в колонии?» — предвижу ваше недоумение. Да самый обычный. Конечно, поначалу и сам Сушко об этом не догадывался. Позволили, уединяясь, играть — и на том спасибо. Однако у тюремного начальства к этому времени уже созрел план создания центральной концертной бригады Байкало-Амурской магистрали — «приезжай ко мне на БАМ, тебе песню я дам». Неважно, что она будет звучать в неволе. Важно, что она зазвучит.

План этот был осуществлен в начале 1949 года. Концертную бригаду возглавила народная артистка РСФСР Лидия Баклина, теперь уже бывшая меццо-сопрано Большого театра оперы и балета СССР. Да и другие «враги народа» оказались под стать ей. В бригаду, состоявшую из хоровой и хореографической групп, оркестра, солистов, вошли бывший руководитель оркестра Московского государственного цирка Павел Долматов, пианистка Татьяна Барышникова, композитор Юлий Хайт — тот, который написал песню «Все выше и выше…», а приземлился там, куда Макар телят не гонял, а также солист Большого театра оперы и балета СССР Александр Кравцов, многие артисты Театра оперетты из города Николаева.

Да вот беда: баяниста в народный оркестр никак подыскать не могли. Предложили кандидатуру Сушко, но начальник лагеря замахал руками: «Какой из него музыкант!» Видимо, кого-то другого имел на примете. А скорее всего, ожидал пополнения, ведь судебные процессы продолжались. Тогда Баклина на свой страх и риск сказала Иосифу:

— Ты будешь играть!

К слову сказать, Сушко долгое время был музыкантом-самоучкой. Нотной грамотой, естественно, не владел. Когда же перешел на баян, тоже не спешил осваивать ноты. Благо, имея чудесный музыкальный слух, без особых трудностей подбирал разные мелодии. Была и еще одна причина, почему он не спешил осваивать нотную азбуку: часто болел, попадал в больницу. «Не жилец я на этом свете», — все чаще беспокоила его тревожная мысль. Особенно тревога усиливалась после того, когда, откашлявшись, чувствовал во рту привкус крови.

— Доктор, у меня туберкулез? — осмелился, наконец, поинтересоваться у врача.

— Не волнуйся, — обнадежил тот, — у тебя всего-навсего тяжелое воспаление легких, — сказал он таким тоном, словно это была обычная простуда. — Вылечим тебя. На ноги поставим, но и сам не сдавайся. Борись за жизнь! — прозвучало как наказ.

После этих слов к нему сразу вернулась жажда жизни. Сразу же появилось и желание изучать ноты. Как же иначе, если такое знание в дальнейшем обяза-

тельно понадобится. Заключенные, любившие своего музыканта, подарили ему толстую, в самодельном переплете тетрадь. У Иосифа Фомича она сохранилась. На первой странице обложки он написал, хотя и с ошибками: «Классика — воспитатель музыканта». Внизу дополнено, правда, уже чужим почерком: «а народное творчество — школа музыканта». Осваивал же з/к № 297 только серьезную музыку — произведения Римского-Корсакова, Глинки, Моцарта, Дворжака, Рахманинова, Брамса, Бизе и других известных композиторов.

И вот ведущий концерта объявляет:

— Шестой вальс Шопена. Соло на баяне исполняет Иосиф Сушко.

Что чувствовал он в этот момент, словами невозможно передать. Как и трудно представить, что было на душе у Баклиной. У белорусов насчет такой ситуации есть хорошая пословица: «Ці то пан, ці то прапаў». Не «пропали» ни сам он, ни Баклина. Более того, оба вышли из этой непростой ситуации победителями. Даже тот начальник, который был против кандидатуры Сушко, не удержался.

— Молодец! — вырвалось у него, и тут же приказал: — Берите его баянистом в оркестр!

А тут еще начальник культурно-воспитательной части (КВЧ) Леонид Тюпин, оказавшийся земляком, родом из Полоцка, поддержал его кандидатуру. Да еще и приставил к нему консультанта, который помогал в овладении профессиональным мастерством. Им стал бывший директор Венской оперы, а ныне уборщик в колонии. Инвалидность не позволяла ему заниматься какой-либо другой работой.

Выступали вдвоем с самой Руслановой

Однако на седьмом небе от счастья Сушко оказался несколько позже, когда в лагере появилась та, чью песню еще перед войной знала вся страна. И стар и млад с восхищением пели: «Валенки да валенки, ой, да не подшиты, стареньки». Да и в войну часто звучала эта замечательная русская народная песня, которую с таким воодушевлением исполняла Лидия Русланова. Лидия Андреевна неизменно включала ее в свой армейский репертуар, преодолев с концертными бригадами сотни фронтовых дорог, и даже выступала в поверженном Берлине на ступеньках Рейхстага. Вдруг «оказалось», что она в это время занималась «контрреволюционной деятельностью», и в 1945 году ее репрессировали.

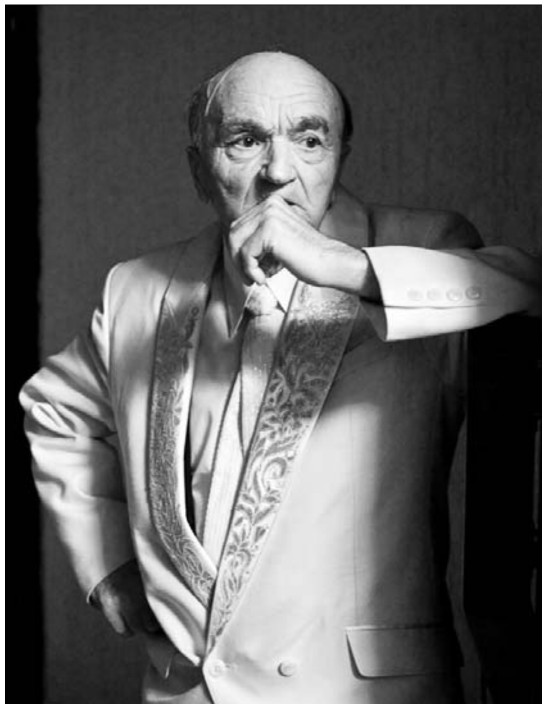
Преодолев немало, теперь уже и тюремных дорог, Русланова очутилась там, где продолжал свою «отсидку» Сушко.

— Даже не верилось, — вспоминает Иосиф Фомич, — что это легендарная певица, когда впервые увидели ее в лагере. Хотя, — добавляет он, — держалась она гордо. Шла под конвоем, не теряя чувства достоинства. Но как не увязывались ее манто, чудесный шарфик с тюремной действительностью! При первой же встрече так подробно начала рассказывать о себе, что даже, чего раньше никогда не было, отменили репетицию. Когда спросила, кто будет ей аккомпанировать, назвали меня.

Обращаясь к своему прошлому, он, добрейшей души человек, как говорится, зла не таит. Хотя это может показаться странным для тех, кто привык снимать сливки с того, что советское прошлое характеризуется далеко не с лучшей стороны, Иосиф Фомич пережитое вспоминает даже с некоторой радостью.

— Знаете, — рассуждает Сушко, — не жалуюсь на свою судьбу. И ни разу мне не пришлось сожалеть о том, как она со мной обошлась. Может, для кого-то и странно прозвучат мои слова, но это настоящая удача, что жизнь подарила мне встречу с такими талантливейшими людьми. Пусть даже в лагере. Я играл с известными музыкантами, аккомпанировал самой Руслановой.

Произносит имя Лидии Андреевны с особым почтением. Ведь репетировали они вместе около года. Да и выступали вдвоем неоднократно. Особенно же



Иосиф Сушко.

запомнился ему большой концерт, который давали для начальства всех лагерей Советского Союза. Казалось бы, Лидия Андреевна должна была стараться как никогда. Ведь мог бы найтись высокий чин, который, восхитившись ее выступлением, сделал бы все возможное, чтобы сняли с нее клеймо «врага народа».

Однако и на этом концерте Русланова проявила свой характер. Исполнила только три песни и, как ни аплодировали ей, больше на сцене не показалась. Говорили, что за кулисами еще в сердцах бросила: «В Москве надо было меня слушать». Такое проявление гордости для нее не прошло бесследно.

Как-то после очередного концерта пришла на репетицию грустная. Поинтересовались, в чем причина, а она тяжело вздохнула:

— Быть беде. Зеркало разбила, а это плохая примета.

Надо же было так случиться, что в судьбе прославленной певицы и в самом деле произошел поворот. К сожалению, не в лучшую сторону. Отправили Русланову из лагеря в известный Владимирский централ — тюрьму, в которой для заключенных были особо строгие условия содержания.

И для самого Сушко, даже по тюремным меркам, настали далеко не лучшие времена. В 1952 году концертную бригаду расформировали, а это означало, что для него, как и для других артистов, больше не было никаких послаблений. Даже его любимый баян забрали. Начал Иосиф от пережитого на глазах чахнуть. Пожалели его товарищи по несчастью. Нашелся среди них один мастер-удалец, который из обрезков ткани, искусственной кожи, пуговиц, да и из много чего другого (не зря говорят: голь на выдумку хитра), сделал самодельный баян.

Почти как настоящий получился этот необычный музыкальный инструмент. Только не издавал звуков. Но Иосиф не обращал внимания на такой недостаток. Главное, можно было «играть», перебирая клавиши, тренируя пальцы. И мысленно подбирая ту или иную мелодию. Да и ночью, никому не мешая, можно было тренироваться. Днем же этот «баян» старательно прятал. Донести же никто не решился. Больно уж любили сокамерники Сушко.

Если браться за дело, то с полной отдачей

ГУЛАГу Иосиф Фомич отдал восемь с половиной лет. В прошлом осталась детская наивность, когда, прощаясь с матерью в ноябре 1945 года, успокаивал ее: «Не плачь, мама, все равно убегу оттуда». Забылись обиды, нанесенные в тюрьме теми, кто привык командовать в камере, навязывать свою волю, не принимая во внимание, что вместе с ними находится, можно сказать, ребенок. Но запомнилось, что нашлись те, кто заступался за него. Не забывается и первая награда за примерный труд. Найдя ее однажды среди пожелтевших бумаг, долго не мог прийти в себя, перечитывая строки: «Штаб соревнования и ударничества Центрального авторемонтного завода строительства МВД СССР награждает рекор-

диста завода токаря Сушко Иосифа Фомича за высококачественный труд, сознательную дисциплину и активную общественную работу».

А разве можно забыть, как проводили его на волю?! Рецидивист из Борисова, у которого судимостей было на 45 лет, снял с руки свои часы и не задумываясь отдал их «земеле». Еще один пахан подарил бостоновый костюм. Кто-то ради него распрощался со своим пальто, кто-то — со свитером. Каждый расставался с ним, словно с родным. Знакомые же охранники, у которых отдыхал в Тайшете две недели, уговаривали: «Куда тебе ехать? Оставайся, и здесь можно жить». Оказалось, и среди них были порядочные люди.

Таких порядочных людей нашел и по возвращении в родные места. Без каких-либо проволочек работники тогдашнего Даниловичского райисполкома (был тогда такой район, ныне Даниловичи входят в состав Поставского района) предложили ему должность художественного руководителя Воропаевского Дома культуры, а это недалеко от его родной деревни.

За работу взялся с таким энтузиазмом, что буквально через несколько месяцев это учреждение культуры стало победителем на областном смотре художественной самодеятельности, а вскоре получило Диплом 1-й степени и на Республиканском конкурсе. В 1957 году Сушко был удостоен чести представлять Молодечненскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Правда, эта поездка могла и сорваться.

Дело в том, что для того, чтобы получить путевку в столицу, нужно было сначала успешно выступить на областном конкурсе. Однако по какой-то причине об этом из Молодечно сообщили поздно. Встал вопрос, как добраться в областной центр. Начальник управления культуры Сергей Пронько выход нашел: договорился с авиаторами. Ему пошли навстречу, и почтовый самолет забрал Иосифа Фомича прямо из Воропаева, а уже из Молодечно, победив в конкурсе, Сушко и поехал поездом в Москву.

В этой истории интересен еще и такой факт. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда БССР только 1 ноября 1963 года отменила приговор Военного трибунала от 30 ноября 1945-го. Получалось, что на Всемирный фестиваль Иосиф Фомич ехал не реабилитированный. Конечно, этого соответствующие органы не могли не знать, но поездке не препятствовали. Понимали: едет большой талант, а такому грешно ставить преграды.

Кто ему на этот раз покровительствовал, Сушко не знает, однако уверен, что ему, несмотря на все сложные перипетии судьбы, все же везло. Так было, в частности, и тогда, когда приехал поступать в Молодечненское музыкальное училище. Казалось бы, какая может возникнуть проблема. Но проблема была: в школе он завалил экзамен по геометрии. Директор училища ко всему отнесся с пониманием. Поверил, что Иосиф Фомич пересдаст этот экзамен осенью, и сразу принял на второй курс.

Было это в 1959 году. Так и учился Сушко, совмещая учебу с работой методиста областного Дома народного творчества. Кроме того, воссоздавал некогда прославленный Лебедевский хор, один из старейших коллективов художественной самодеятельности на Молодечненщине. Усилия быстро дали результат. Этот коллектив, превратившись в хоровую капеллу, буквально через три года получил почетное звание народного.

А еще, работая в капелле, Иосиф Фомич нашел свое семейное счастье. Его избранницей стала одна из лучших певиц. Кстати, моложе его на 11 лет. Да разве при взаимной любви возраст может быть помехой? Работая швеей на фабрике «Комсомолка», Мария Михайловна, следуя примеру мужа, поступила в музыкальное училище, а позже создала на заводе силовых полупроводниковых вентилей коллектив художественной самодеятельности, ныне известный как народный ансамбль песни и танца «Белорусочка».

Родилась по-настоящему творческая семья. Сын Геннадий тоже музыкант, ныне возглавляет Чистинский Дом культуры. Дмитрий руководит образцовой эстрадной студией «Живой звук». Его жена Инна — дирижер. Внук Иосифа Фоми-

ча Игорь учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств и одновременно работает в оркестре Белорусского государственного цирка.

Иосифу Фомичу немало дало и знакомство, творческие контакты с такими светилами национальной культуры, как Лариса Александровская, Рыгор Ширма, Геннадий Цитович. Они увидели в нем яркий народный самородок, поэтому и помогали всячески совершенствоваться, становиться на ноги. Конечно же, такая забота ему очень помогала. Одновременно понимал, что нужно оправдывать высокое доверие, на деле доказывая, на что способен.

«Спадчына» — этим сказано все

А в 1960 году Сушко создал при городском Доме культуры г. Молодечно ансамбль песни и танца «Спадчына», став его художественным руководителем. Благодаря удачному сочетанию в одном лице талантов музыканта, аккомпаниатора, аранжировщика, песенника и артиста Иосиф Фомич добился такого исполнительского уровня, что уже через три года этому коллективу было присвоено почетное звание «народный», а в 1970-м ансамбль стал лауреатом премии Ленинского комсомола Белоруссии. Шесть же лет назад за творческие достижения, высокое исполнительское мастерство, активную концертно-гастрольную деятельность, вклад в развитие и популяризацию национального искусства «Спадчына» получила звание «Заслуженный самодеятельный коллектив Республики Беларусь». Сам же Сушко в 1998 году был награжден специальной премией Президента Республики Беларусь в номинации «За достижения в эстетическом и нравственном воспитании белорусского народа и пропаганду духовных ценностей», а ансамбль через год стал стипендиатом специального Президентского фонда.

В репертуаре «Спадчыны» более 400 произведений. Это песни белорусских композиторов, народные песни и танцы, а также шутки, частушки. Постоянно в репертуар входят и песни, написанные самим Иосифом Фомичом или обработанные им, а это более 50 произведений. Особой любовью у зрителей пользуются такие песни, как «Што ж ты мне сэрца параніў», «Над ракою Ушою», «А мне ў шчасце верыцца», «Слаўся, народ Беларусі», «Чарнобыльская рана», «Ночка летняя мая…», «Песня добрым людзям». И конечно же, вряд ли найдешь такого зрителя, которому бы не захотелось очередной раз послушать песню «Маладзечна, сэрцу дарагі…», которая воспринимается и своего рода приглашением в этот прекрасный уголок земли белорусской. Автором музыки также является Сушко, а слова написал Вячеслав Шнуркевич. Вроде бы и простая песня, но так берет за душу:

Прыязджайце, людзі, песні нашы чуці,
Горад наш цудоўны паглядзець.
Скажа кожны стрэчны: тут, у Маладзечне,
Можна сапраўды памаладзець.

Положил Иосиф Фомич на музыку и стихотворение участницы ансамбля «Спадчына» Лилии Степной «Спявай, маё сэрца, спявай». Это своего рода гимн тому, что передается из поколения в поколение:

Чароўныя, родныя песні
Пяшчотна кранаюць душу,
Спявалі іх нашы прадзеды,
І я іх у сэрцы нясу.

Если бы появилась такая необходимость, «Спадчына» могла бы давать концерты на протяжении нескольких дней, при этом нисколько не повторяясь в репертуаре. Интерес вызывает и программа, носящая общее название «Поры



Всегда прекрасная «Спадчына».

года». Она состоит из отдельных композиций, взаимно дополняющих друг друга, что позволяет отобразить основные народные традиции и обряды. На сцене словно присутствует сама жизнь белоруса: «Калядная варажба», «Гуканне вясны», «Кірмашовыя замалёўкі», «Хрэсьбіны», «Вячоркі».

«Спадчыну» хорошо знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Мастера молодечненской самодеятельности с успехом выступали во многих странах. Ансамбль является лауреатом международных фестивалей народного творчества, проходивших в Болгарии, Венгрии, Литве, Польше, Италии. Аплодировали «спадчынцам» в Звездном городке, во Кремлевском дворце съездов в Москве.

Даже при всем желании трудно назвать только основные их концерты, ибо «Спадчына» давно принадлежит к тем коллективам художественной самодеятельности, которые, даже достигнув больших творческих высот, являясь всевозможными лауреатами и победителями, никогда не почивают на лаврах. Конечно, у каждого артиста этого коллектива присутствует высокое чувство долга, не позволяющее выступать вполсилы. Сам Сушко не мыслит без любимого дела своей жизни. Как же в таком случае не равняться на него! И еще на одно хочется обязательно обратить внимание: Иосиф Фомич чудесно владеет родным белорусским языком. Всегда пользуется им в повседневности. Это также хороший пример для подражания.

* * *

В одной из самых популярных белорусских песен, слова которой написал Алесь Ставер, есть такие замечательные строки: «Каб любіць Беларусь нашу родную, трэба ў розных краях пабываць». Хотя, думается, для этого не грешно лучше изучить и саму нашу страну. В таком случае можно начать с Молодечно, а знакомство с ним — с Дворца культуры. Редко где найдешь еще такое созвездие народных талантов. Особенно же повезет, если удастся попасть на очередной концерт. Они же в этом храме искусств проходят регулярно.



НАДЕЖДА СИВЧУК

...Любовью своей сильны

Общественное объединение «Белорусский союз женщин» работает с 1991 года. В рядах Белорусского союза женщин — свыше 174 тысяч женщин со всех уголков страны. «География» сотрудничества: Союз женщин России, Общество женщин Литвы, Союз женщин Вьетнама, Консорциум женщин-предпринимателей Индии, Всеобщий сирийский союз женщин, Федерация кубинских женщин, Совет женских организаций Кореи, Национальный Совет женщин Украины, Всекитайская Федерация женщин. Белорусский союз женщин — член Всемирной ассоциации сельских женщин.

Ах, как же легко мыслилось… Дерзко и витиевато. Озорно даже. Но как… «неподъемно» тяжело оказалось стройно «положить» все на бумагу. Вот тут-то и сковало. Спутало. И нет уже той понятной, ясной легкости. Откуда-то выплыла отчаянная досада и обидная оценка себя. О простых, хороших вещах… надо просто…

И точно. Откладываю в сторону, безусловно, хорошие, нужные книжки. Теория?! Вычитала, вызубрила Аристотеля, его трактовку «гражданского общества»: возможно оно лишь в «правильном государстве», где все граждане — участники общественной жизни и действуют обязательно «в интересах общей пользы»…

Отложила в сторону сочинения очень интересного писателя, давно умершего, более столетия назад, но труды которого небесполезны для современной читающей публики, — «Нравственные основы жизни» Франциска Рудольфа Вейсса.

Этот всемирно известный швейцарец избрал предметом своих исследований человека с его нравственной деятельностью, обнаруживающейся в самых обыкновенных событиях повседневной жизни: «Таков я, таковы наши побуждения и поступки…» Время ушло далеко вперед, как и ушли далеко вперед естественные науки, вопрос о значении женщины в обществе, взгляд на общественные отношения. Но даже с позиций времени нельзя не согласиться с размышлениями писателя о гражданском обществе: «До сих пор мы рассматриваем человека как единичное лицо или только в самых тесных сношениях обыденной жизни с исключительно близкими лицами. Взглянем же на него теперь в обширном кругу жизни общественной или гражданской. Жизнь эта до того сложная машина, что общее понятие можно получить, только внимательно рассмотрев ее происхождение, цель, механизм, приводящий ее в действие…»

Отложила в сторону и трактовку сущностной характеристики гражданского общества в изложении современных ученых: «Это система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и межличностных отношений, которые создают условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов и через которые выражаются и реализуются частные интересы и потребности — индивидуальные и коллективные».

Беру «на вооружение» память. Думалось ли так высоко, апеллировалось ли к таким понятиям, как «институт гражданского общества», когда на исходе XX века, в ноябре 1999-го случилось обивать пороги уважаемого ведомства (поиск нужного адресата «подсознание» выдало моментально — Белорусский детский фонд). Ноги несли интуитивно «на свет», маяк — личность Владимира Степановича Липского. Все в республике знают, что «як бы там ні было, ён выслухае, параіць, дапаможа». Наверное, это и есть ощущение, притяжение личности, ее

совести. Помню, как в той ситуации Владимир Степанович «редактировал» чужие поступки: «Не-не, вось з гэтага тэлефона пратэлефануй… Ён там у Міністэрстве аховы здароўя працуе, але ж і ў нас, у калегіі дзіцячага фонду… А зараз ідзі і прасі. Але ж перад Новым годам… На вось цукеркі. Усё ж не з пустымі рукамі…» Столько таких горемык, ситуаций прошло через «руки» (читай сердце) Липского. Судьба лишь одной беды белорусской семьи Гущи чего стоила — что для мамы, что для девочки. Пройти тернистый путь борьбы за жизнь ребенка, бесконечные операции, подступающее отчаяние и… неверие кругом. (Именно в тот период страдальческой борьбы мама была лишена работы!) Но верила и шла вперед мать, верил и как мог помогал председатель Белорусского детского фонда! Замерла спустя годы в восхищении страна, когда через все тернии, испытания, время, по ходатайству Белорусского детского фонда Президент страны высокой наградой оценил мужество матери…

Точно так же не взываешь к заоблачным материям, не уповаешь на термин «институт гражданского общества», когда вспоминаешь об общественном совете по нравственности. Просто вспоминаешь достойных людей, представляющих Совет. Определяешь: верю — не верю. Верю!

Любое дело, большое и малое, немыслимо без личности человека, который стоит за ним. Это примерно то же, на чем было воспитано мое поколение: «Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин…» С такими мыслями я шла на беседу с ярчайшим человеком, женщиной, знаковой личностью — членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем правления ОАО «АСБ Беларусбанк», председателем общественного объединения «Белорусский союз женщин» Надеждой Андреевной Ермаковой.

Излишне, должно быть, напоминать сегодня, что белорусские женщины являются мощной созидательной силой общества. Многие из них достойно представлены во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни страны. Безусловно, в сегодняшнем мире быть наравне с мужчинами непросто. В основе этого равенства в стране лежат общепризнанные международные нормы, закрепленные в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларации и Платформе действий Всемирной конференции по улучшению положения женщин, итоговых документах Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке», Декларации тысячелетия.

Повышению статуса женщины, защите ее прав и интересов служит Национальный Совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь.

А среди важнейших задач социальной политики, обозначенных Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на Третьем Всебелорусском народном собрании, — реализация Национальной программы демографической безопасности: повышение рождаемости, снижение смертности и укрепление семьи. А реализация задач немыслима без заботы о здоровье населения, увеличения продолжительности жизни, укрепления нравственных основ семьи.

Думаю, не будет возражений по поводу несложного умозаключения. Да, все так. Но никакие Декларации и Платформы не помогут состояться знаковой женщине, если нет Личности. Сегодня общественная организация «Белорусский союз женщин» немыслима без ее председателя Надежды Андреевны Ермаковой. Под стать ей собрался и коллективный женский разум. Каждое имя на слуху: А. П. Морова, Р. А. Давидович, А. Н. Бурова, А. В. Миколуцкая, Г. А. Начевкина, Л. П. Гринько, В. И. Качан, Г. К. Аверкина, Л. А. Черепанова, Л. В. Толкачева, Н. В. Котковец, М. И. Карпенко, С. Г. Савина и многие-многие другие замечательные женщины нашей страны.

Как «одним махом» рассказать о масштабе копилки добрых дел этих женщин? Это с их подачи, по их инициативе организовываются особые встречи. И «география» помыслов уже широка. Белорусский союз женщин организовывает особые Рождественские встречи, и местом их проведения была и Бобруйская школа-интернат, где воспитывается 150 детей, и государственное учреждение образова-



Надежда Андреевна Ермакова.

ния «Жодинский детский дом». Здесь собрались все — руководство города, священники, активисты Белорусского союза женщин, приемные родители. Были приглашены и родители, забывшие о родительском долге. Накануне всем им были разосланы письма. Цель? Далеко не формальная. Призвать биологических родителей включить резервный механизм и переосмыслить свое мировоззрение, изменить себя, отношение к детям. В Бобруйске говорили о главном — предназначении человека на земле. Созвучным вечной теме был фильм «Встреча с Вечностью», который предложила посмотреть игуменья монастыря Святых жен-мироносиц матушка Раиса.

Представители «Союза женщин» участвуют и в координационном Совете по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и Белорусской православной церковью. По итогам конкурса «Женщины года» в 2009 году почетного звания была удостоена в номинации «За духовное возрождение» игуменья Гавриила из Гродненского Богородице-Рождественского монастыря.

…А еще женщины-фермеры, жены фермеров, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, сельские труженицы, которых объединяет активная жизненная позиция, создали свою общественную организацию «Сельчанка» в составе Белорусского союза женщин.

На одной из встреч-семинаров сельчанки занимались-учились делу эстетическому, далеко не бесполезному на селе — современному ландшафтному дизайну.

А кто знает о том, что в Калинковичах Гомельской области на Полесье открылся замечательный музей «Славные женщины Калинковичской земли»… Да мало ли что может создать Женщина, всей душой стремящаяся обустроить, изменить к лучшему мир! Именно с этой ноты начинается наша беседа с Надеждой Андреевной Ермаковой.

— Уважаемая Надежда Андреевна, где-то в году 2007-м случилось быть свидетелем торжества в горисполкоме, где чествовались руководители предприятий — победители городского смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы. Была официальная, праздничная фотосъемка. Обязательная в таких случаях суета победителей. Нельзя было не заметить, не почувствовать внутреннего порыва при этом действе. Все желали встать рядом с Вами — победителем конкурса (и не только!), лидером, знаковой Личностью. Каков путь к тому, что определяют сегодня термином «сделать себя»?

— Однозначно, наверное, и не ответишь… На первую часть вопроса — наверно, рядом со мной хотели стать, в первую очередь, мужчины (Надежда Андреевна смеется). Хотя на мероприятиях официальных, торжественных, таких, скажем, как День Победы, День Независимости, я с удовольствием разделяю стремление почтенных «людей» в военной форме стать рядом с заслуженными боевыми генералами.

Каков путь? Да я об этом и не думала. Делала свое дело. Шла да и шла. Именно поэтому, должно быть, так получилось. Но когда такой вопрос возника-

ет и делаешь анализ с позиций прожитых лет — никогда у меня даже в мыслях не было стремления добиться того, чтобы где-то кому-то хотелось встать рядом с тобой. Как всякой женщине хотелось, чтобы рядом был надежный мужчина. Вот это самое главное. И не получилось. А постоять рядом с носителем высокой должности, подстроиться (это разные вещи — рядом идти, работать, шагать в ногу!), запечатлеться на фотографиях… Думаю, это проблема определенного рода людей…

…Тема Белорусского союза женщин? Кто-то в стране знает, что такое союз женщин, кто-то не знает. И заслуга не в членстве, принадлежности к организации. Сегодня про каждую хорошую мать можно сказать, что она герой. Потому что родить, вырастить ребенка и в мир пустить достойным человеком — не просто. Участвовала в акции, инициированной «Белой Русью» — Дети Свободы. Поздравляли мам в 6-й клинической больнице, дата рождения детей которых выпала на День Независимости. И еще раз ощутила явственно: самое сложное — вырастить из малюсенького ребеночка не просто физически здорового, но и внутренне, душевно и духовно здорового человека, грамотного, трудоспособного и желающего приносить пользу.

Мне очень приятно осознавать, что в решении этих задач сегодня в нашей Беларуси рука об руку идут государство и церковь. Наш Президент рядом с духовенством — православным, католическим… Пришло осознание того, что только восприятие Истины и Бога может дать высокую духовность.

— Надежда Андреевна, помню Ваше давнее интервью одному женскому журналу, где Вы озвучили тему, по большому счету, философскую: соответствие формы и содержания. Вы говорили о высоких корпоративных требованиях к внешнему виду, одежде ваших сотрудников... Знаете, это очень заметно на облике служащих даже в самых отдаленных филиалах «Беларусбанка». Это то, с чего начинается дисциплина, самодисциплина и рядовой труженицы, и высокопоставленного чиновника. В связи с этим позвольте вопрос. Вы производите впечатление европейской женщины: безукоризненно эстетичной, с несильно выпяченным чувством собственного достоинства, ухоженной... Как это удается с Вашим объемом работы и темпом жизни?

— В первую очередь про определение европейская. Ну конечно, в центре Европы родилась и живу. Как нам быть с этим? И если взять оценку посла Великобритании, о которой вы упомянули, что европейскость — это не слишком выпяченное чувство собственного достоинства. Наша Беларусь тоже не выпяченная, спокойная, аккуратная, красивая, степенная. И по природе. И по менталитету народа. И по всему тому, что сделано руками наших людей. У нас нет кричащих, сумасшедших, высоченных зданий. Есть 20-этажки, так это в силу необходимости.

Что касается работников «Беларусбанка». Мы ориентированы на работу с населением. Неотъемлемая часть профессионализма — соответствие кодексу профессиональной этики. Это и одежда, и если хотите, настроение… Что касается председателя правления ОАО «Беларусбанка» — это тоже одно из неписаных условий: председатель должен выглядеть прилично. Да, я за собой ухаживаю, трачу время… Если на экранах телевизоров появится руководитель банка с удручающим видом, то у людей возникнет вопрос: возможно, с банком плохо, быть может, население подумает о том, что пора забирать вклады из этого банка… (Надежда Андреевна лукаво смотрит и задорно смеется.)

— Надежда Андреевна, в гимне Белорусского союза женщин, текст которого написала Валентина Поликанина, есть хорошие трогательные слова:

И пусть ветра бушуют на планете,
Мы не сдадимся, наш удел таков.
Мы — женщины, и значит, мы в ответе
За детский смех, за счастье стариков.

Не каждое общественное объединение удосужилось озвучить систему задач и целей в гимне — хорошем, человеческом, женском...

На посту председателя «БСЖ» какие «бури» случались? В чем приходилось не сдаваться? Что получилось? Что реализовалось?

— Белорусский союз женщин я возглавила после трагической гибели Тамары Николаевны Дудко, первого председателя Союза женщин. Из 11 предложенных кандидатур было решено остановиться на моей. Я, конечно, сомневалась, но аргументы были веские. По долгу службы ты вхожа в высокие кабинеты. А для авторитета, результативности работы Союза женщин это очень важно. Пришлось согласиться. Потом общественная работа затянула.

Конечно, получается меньше из того, что хочется. И главная проблема: пока не удалось втянуть в эту работу женщин всех предприятий, организаций страны… Хотя на основных есть ячейки, есть женсоветы. Не получилось пока продуктивной совместной деятельности с органами местной власти по работе с женщинами, которые бросают своих детей, пьющими женщинами… Для того, чтобы заставить человека переосмыслить, — надо больше общественного влияния.

— Уважаемая Надежда Андреевна, «БСЖ» проводит замечательный конкурс «Женщина года», где это высокое звание присваивается во множестве номинаций: «За лидерство и успешное руководство», «За активную общественную деятельность», «За достижения в воспитании детей», «За благотворительность и милосердие», «За женское мужество», «За вклад в духовно-нравственное возрождение», «За вклад в возрождение села». Красивая, торжественная церемония в академическом Большом театре оперы и балета. И в ней участвуют 52 женщины со всех регионов. На сцену поднимаются представительницы совершенно разных профессий, судеб: генеральный директор ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» Н. Манько, инвалид детства 1-й группы Е. Василевич награждается «за женское мужество», начальник департамента исполнения наказаний С. Походова...

Ваше личное восприятие победительниц и номинантов? Чья судьба, деятельность стоит особняком? Что, на Ваш взгляд, общего между заслугами перед обществом игуменьи и начальника исправительной колонии?

— Наверное, сила духа. И у той женщины, которая, будучи инвалидом, без рук и ног, родила. Решиться родить, и не просто родить, еще и воспитать без чьей-то помощи. Это величайшая сила духа! И у игуменьи, матушки Гавриилы из Гродно, своя сила духа — не такая простая ее миссия на земле. Очень непростая. Сколько ей приходится трудиться — и физически, и духовно. И постоянно быть с людьми, нести в мир чистое, светлое. Сила духа и у женщины, начальника тюрьмы! Она не просто ежедневно видит злых осужденных, преступников, но старается их перевоспитать. Это не формальный подход — выполнила свою работу и ушла домой. Сила духа женщины направлена на то, чтобы выстоять, работать и выполнять свой долг так, как и матушка Гавриила, по большому счету, нести чистоту и свет, то, что должна нести в мир женщина.

Из участниц конкурса «Женщина года» меня больше всего поразила бабушка, которая войну прошла, всю жизнь трудилась не разгибаясь, но и теперь бодренькая, с непокоренной волей к жизни — О. А. Андросик, ветеран Великой Отечественной войны, сельчанка из Жабинковского района, номинантка конкурса «За силу духа и стойкость характера». И какими словами напутствовала она всех: любите эту жизнь, любите себя, любите людей, страну любите….

— Сегодня «БСЖ» является авторитетнейшим институтом гражданского общества, и его усилия направлены на решение одной из благороднейших задач — укрепление института семьи, охрану материнства и детства, нравственных ценностей государства. В нашей стране проводится множество акций. «В Беларуси — ни одного брошенного ребенка», «Женщины против пьянства



Н. А. Ермакова с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом.

женщин», «Мир Вашему дому», «Наши сердца больным детям». Не все знают, что идея внести в государственный календарь День матери принадлежит Белорусскому союзу женщин. Как обстоит дело с Днем отца? С инициативой создания Совета по вопросам женщин, семьи и детства при Президенте Республики Беларусь?

— Днем матери в государственном календаре — вот этим, действительно, можно гордиться, это заслуга Союза женщин. Праздник стал общегосударственным, полюбившимся.

Создание Совета при Президенте — не так это просто. И сегодня я бы не сказала, что в этом есть крайняя необходимость. Вопросы, которые могли бы решаться в этом Совете, у нас в стране решаются.

День отца? Идея есть. Но мы ее еще как-то не обработали. Не все придерживаются мнения, что такой праздник нужен. Хотя Союз женщин, лично я, считаем, что это был бы неплохой праздник.

Как нужен и праздник Святых Жен-мироносиц, православный женский день, в основе которого — почитание жертвенной любви, преданности, ответственности, величия силы духа слабой и такой сильной женщины. Продвижению в общественном сознании этого праздника мы посвятили «круглый стол» «Миссия женщины в духовно-нравственном развитии общества» в мае этого года.

И еще стране нужен один праздник, который предложила матушка Гавриила. Два года назад он учрежден в России и отмечается 8 июля, в день памяти святых Петра и Февроньи Муромских — День семьи, любви и верности. «…На твердом основании Любви и Верности, и да дарует Вам все благое и потребное — для жизни достойной и праведной». Вот каким путем надо идти! Верность, Дети, Дом, Очаг, Семья, Любовь, Традиции. Вот такой праздник государству надо учредить. Но праздники в административном порядке не рождаются. Их надо выстрадать...

— В планах Союза женщин — республиканский музей матери. Каким Вы его видите?

— Это большие деньги. Поэтому мы пока не ставим вопрос так, что он должен появиться в определенном году. Это здание, помещения, экспонаты. В районных городах это проще...

Разбогатеет страна и музей будет. Республиканский музей матери — явление особенное... Специалисты придумают.

— Надежда Андреевна, насколько результативно используется женское движение страны в диалоге с общественностью других стран, государств в продвижении авторитета Беларуси, участии в международных проектах? Помнится, мое поколение выросло на прекрасных гуманистических устремлениях: «посол доброй воли», «посол мира»...

— У нас много соглашений и меморандумов с женскими организациями разных стран. Активное сотрудничество с Федерацией женщин Китая, Союзом женщин Вьетнама. Ждем приезда женщин Узбекистана. С Всеобщим сирийским союзом женщин у нас подписаны соглашения — обмениваемся делегациями, показываем, передаем опыт. К сожалению, не можем похвастаться контактами с Западной Европой. Хотя есть совместный проект со Швецией. С Россией раньше было более интенсивное сотрудничество. Хотя с Союзом женщин Московской области у нас и доселе тесные взаимоотношения. Как и с Украиной. Мы открыты к сотрудничеству.

...Посол доброй воли, посол мира — это актуально во все времена. Если взять историю христианства — апостолы Иисуса Христа были, наверное, такими послами, которые шли в мир проповедовать добро. В любое время женщины, если захотят, способны на самую высокую дипломатию... Невзирая на то, что мужчин переубедить очень сложно — там свои высокие материи, которые не всегда доступны женскому уму. Женщина воспринимает душой. И она способна по природе своей нести в мир доброе, светлое, чистое, чтобы в мире вырастить своих детей.

— Надежда Андреевна, вспоминается тема интересной передачи на телеканале Национальной государственной телекомпании «Жизнь как жизнь» по темам: «Чего мы не знаем о своих детях», «Седина в бороду, бес в ребро», в которых принимали участие активисты Белорусского союза женщин. Идут ли к Вам женщины с подобными бытовыми проблемами?

— Разумеется. В конечном счете из всего этого и соткана человеческая жизнь. Ко мне приходят женщины. И наши сотрудницы. Пишут о бытовых ситуациях. Все бывает, и куда от этого деться? Не все можно изменить, не во всем можно помочь. Вот последняя ситуация. Работник на глазах у всех побил жену. Нельзя так...

— Надежда Андреевна, каково женщине быть руководителем высокого ранга, быть наравне с сильными мужчинами? Каково быть настоящей женщиной (правда, о Вас так говорят)? Какой слабостью Вы «убиваете наповал» сильных мужчин?

— …Силой (Надежда Андреевна смеется). Я свыклась, работая, постоянно бывая среди мужчин, и никогда не позиционирую, не оцениваю себя женщиной. Я равная среди равных коллег. И когда мужчины публично могут проявлять знаки внимания, то все это я воспринимаю как этикет. Внутреннего порыва здесь не возникает и возникнуть не может. И меня правильно понимают — так должно быть...



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

Природа вошла в его сердце как Родина...

(Город в жизни Ивана Шамякина)

Я родилась 8 октября 1948 года в Минске. За два месяца до моего появления на свет родители приехали в столицу и поселились на частной квартире в маленьком деревянном домике болотистой Комаровки — теперешней улице Якуба Коласа. Отец начал учиться в Высшей партийной школе, старшая сестра Лина пошла в первый класс. Она пишет в своих мемуарных заметках о том времени: «На Логойском тракте снимали комнаты Андрей Макаёнок, Пётр Василевский, Алексей Кулаковский. Папа с ними подружился. Они приходили к нам. В теплое время беседовали в вишневом садике о политике, экономике страны, писательских делах. Когда случались холода, шли к кому-нибудь из них, поскольку у нас было очень тесно». Жили еще бедно, но уже не голодали, как в первые послевоенные годы. По утверждению той же Лины Ивановны, семья Шамякиных переезжала из деревни в город с большими надеждами и верой в счастливую жизнь. Она и правда делалась не только все более комфортной, но и воистину счастливой. Я еще застала это ощущение, царившее в семье, в среде знакомых и родных, вообще в стране. Никакими словами невозможно выразить удивительную атмосферу того времени.

В 1950 году родителям дали две комнаты в общей квартире вместе с писателем Алексеем Кулаковским на улице Карла Маркса, вблизи вокзала. По свидетельству Лины, жили там необычайно дружно, интересно, шумно. У Шамякиных родился долгожданный сын Саша, у Кулаковских — третий из сыновей Коля. Наша семья стала покупать кое-какие вещи: приобретенные тогда родителями шкаф, письменный стол и металлические кровати и сейчас стоят на нашей даче в Ждановичах.

Уже где-то в 1952 году мы с Кулаковскими разъехались. Шамякины получили трехкомнатную квартиру на первом этаже дома на углу проспекта (тогда существовал только один проспект) и улицы Комсомольской. Эту темную квартиру напротив клуба имени Дзержинского я уже сама хорошо помню. Причем, наиболее запомнившийся эпизод из того периода жизни — день смерти Сталина. Мне четыре с половиной года. Окна нашей квартиры выходили не на проспект, который еще только строился, хотя многие дома уже стояли, а на улицу Комсомольскую. К нам никогда не заглядывало солнце. А в тот день еще и не зажигали свет — почему-то мама считала это кощунством. День мрачный, холодный. Помню голос Левитана по радио — такой трагический, что брал за душу и малых детей. Ко мне привели мою подругу Люду Карпову, дочь писателя Владимира Карпова, и мы сидели с ней под столом, пугливо наблюдая за взрослыми. Им было не до нас, они выглядели необычно и странное говорили, так что нам делалось страшно.

Потом я, как и все вокруг, плакала, но совсем по иной причине — своей, детской: у меня имелись красивые — широкие и блестящие — цветные ленты в жиденькие косички, едва ли не главное мое на то время материальное богатство; их забрали, перевязали ими все вазоны с комнатными цветами и отнесли на площадь (теперь Октябрьскую), где возвышался огромный, массивный, десятиметровый, памятник Сталину. Домой мама, ее младшая сестра Клава, студентка мединститута, жившая с нами, и моя сестра Лина вернулись поздно, безмерно уставшие — как я сегодня понимаю, от общей атмосферы: на площади стоял

сплошной стон, время от времени в толпе вспыхивали истерики, некоторые люди даже теряли сознание. Необходимость утешать меня освободила моих близких от какого-то ступора, в котором они пребывали весь этот день. А отец в своих воспоминаниях рассказывал, что когда он 5 марта зашел к своему другу Андрею Макаёнку, чтобы поплакать вместе с ним, то с удивлением и негодованием увидел того сидящим вместе с Алексеем Русецким за столом, пьющим водку и от души хохочущим над очередным анекдотом.

В 1954 или в 1955 годах (точно не помнила даже Мария Михайловна Карпова) мы поселились снова же на улице Карла Маркса, но в доме под № 36, где большинство квартир заняли семьи литераторов. Тут мы прожили пятнадцать незабываемых лет, пожалуй, самых счастливых в моей жизни. Да и в жизни родителей — также.

Дом тогда нам, детям, казался огромным, а был всего только пятиэтажным, на три подъезда. Между вторым подъездом, где наша семья жила на четвертом этаже, и первым, где оказалось много наших друзей, можно было пройти не только по двору, но и по чердаку и даже по подвалу. Среди нас, детей, наибольшим авантюризмом и жаждой приключений отличался сын писателя Тараса Хадкевича Леня. Под его руководством мы и осваивали чердак и подвал, придумывая множество историй о шпионах, разбойниках, а также разные мистические ужасы.

В доме сначала были плиты, топившиеся дровами (в квартиры наших друзей в Киеве уже давно был подведен газ). Дровяные сараи находились во дворе — именно на том месте, где сейчас кинотеатр «Пионер». В одном из сараев мы создали свой штаб (увлекались «Тимуром и его командой» Аркадия Гайдара), а атаманом у нас был тот самый Леня Хадкевич, человек, способный на самые невероятные приключения и выдумщик романтических историй. Правда, мы все этим отличались. Когда в доме провели газ и разрушили плиты, то уничтожили и сараи, начав строить кинотеатр.

Сегодня наш бывший дом, который частично заходит и на улицу Энгельса, испорчен «пещерой» — входом в метро, а тогда там помещался книжный магазин, занимая большую площадь, чем в наше время. По диагонали от входа в магазин — Государственный академический театр имени Янки Купалы, который в нашем детстве как раз перестраивался и в результате приобрел современный вид (сегодня его снова перестраивают, возвращая прежний облик). Квартал напротив нашего дома и одновременно напротив театра, ограниченный с четырех сторон улицами Маркса, Энгельса, Ленина и проспектом Сталина (ничего себе наборчик имен!), был почти закончен, только уже после нашего вселения достраивался кинотеатр «Новости дня», сегодня это — Малая сцена Купаловского театра. Почти рядом с кинотеатром, на углу улицы Энгельса и проспекта, на протяжении более десяти лет стояла с тележкой одна и та же продавщица мороженого, у которой мы, все дети большого квартала, покупали удивительно вкусное, разных сортов и совсем недорогое мороженое. А напротив, через улицу, у входа в Театральный сквер, — тележка с газированной водой: одна копейка без сиропа, четыре копейки с сиропом — грушевым, вишневым, малиновым. Куда до них разным ядовитым кола, пепси и фантам!

Сквер выходил на центральную площадь города, на которой еще возвышался памятник Сталину, созданный Заиром Азгуром в 1952 году. Его с огромным трудом сорвали танками по приказу Хрущева в одну ночь 1962 года, и я помню какое-то смущение взрослых от этого необычного акта. Вообще-то политические разговоры звучали в нашем доме постоянно, и многие писательские оценки, данные друзьями отца тогдашним политическим деятелям, запомнились очень хорошо. До сего дня я, как никто из моих коллег-женщин, интересуюсь историей и политикой и знаю их намного лучше, чем многие из мужчин... Притом, функционером, общественным деятелем я никогда не была. Может, потому и не была, что со времен детства знала обратную сторону того, что так красиво высматривало с фасада. Писатели, художники, актеры (и какие среди них имена!) в те годы — мои школьные годы — собирались у нас очень часто (наша семья считалась, да

и вправду была, одной из самых гостеприимных среди писателей), едва ли не каждый день, и обсуждали они почему-то не художественные проблемы, а именно политику. Разговоры с упоминанием одних и тех же имен невольно западали мне в память. И то, что как открытие объявлялось в конце 80-х годов — в эпоху «перестройки», — я слышала из уст разумных людей еще за двадцать лет до этого.

Характерный штрих: все, кто приходил к нам домой, обычно начинали разговор такой фразой: «Иван, слышал новый анекдот?» И рассказывал анекдот — действительно, каждый раз новый и обязательно антисоветский. Анекдоты — тогда необычайно популярный жанр — смело рассказывали мы друг другу и в школе. Много позже, уже в начале 80-х, помудревший Андрей Макаёнок говорил мне, что антисоветские и антиславянские анекдоты сочиняют в специально созданных на Западе центрах под эгидой ЦРУ. Естественно, я тогда не верила в эту, по моему мнению, несусветную чушь, удивляясь, что и Макаёнок заразился коммунистической пропагандой. Однако последующие события показали мою феноменальную наивность, чтобы не сказать жестче. Еще интересная деталь: отец, как правоверный коммунист, заботился о нашем идеологическом воспитании и боялся при детях высказываться открыто, а моя мама и Макаёнок — просто даже нарочно дразня боязливого Шамякина — всячески пытались донести до нас, детей, правду. С моих лет пятнадцати Андрей Егорович начинал рассказывать какие-то необычные вещи уже непосредственно мне, видя мою заинтересованность. От него же, а не от папы, я узнала некоторые, самого разного свойства, факты из биографий многих писателей — белорусских, русских, советских. Но отец просил меня никогда и никому сведения о белорусах не озвучивать. И вот я сохраняю в памяти трагедии жизней — сохраняю, может, последняя из писательской генерации золотого века литературы...

Я остановилась на Театральном сквере. Как ни удивительно, мы, дети, не очень часто в нем гуляли — он был излишне для нас респектабельный. В студенческие годы — другое дело. А в детстве именно двор таил в себе множество удивительных мест. Какой же он сегодня — сплошь заставленный машинами — маленький, неинтересный, убогий!

Возвращаясь от Центральной (теперь Октябрьской) площади по улице Энгельса, мы проходим сквер и театр имени Я. Купалы. Далее, через дорогу, тогда существовала большая чугунная ограда, окружавшая территорию, которая примыкала к строгому и величественному по архитектуре зданию ЦК КПБ (сегодня Администрация Президента), а рядом примостилось двухэтажное, с цоколем, здание тогдашнего Союза писателей Белоруссии. Здесь работали наши отцы, лучше сказать, это был их родной — без преувеличения — дом. Само здание в каком-то смысле историческое: в нем во время оккупации Елена Мазаник убила наместника Гитлера в Беларуси — гауляйтера Кубэ. После войны дом перестроили и отдали писателям. Потому и жилье для них построили рядом, как раз напротив.

Удивительно уютный был Дом Союза писателей в то время, притягательный для писателей — тогда было их немного, не более ста человек. И практически каждый день они заходили в свой Союз — в библиотеку, поиграть в бильярд, просто пообщаться. Здесь проходили многочисленные и очень интересные мероприятия, на которые приглашались разные заезжие знаменитости. Организовывала встречи и концерты жена замечательного поэта Аркадия Кулешова — Оксана Федоровна, деловая, очень энергичная женщина, энтузиаст своего дела, совсем не похожая на сдержанного мужа. Хорошо помню некоторые устроенные ею вечера, например, встречу с одним из авторитетных московских либералов, из тех, кто сосал, как говорится, двух маток — и официальные посты занимал, премии получал, и носил кукиш в кармане, диссидентствовал, — Сергеем Образцовым. Может, потому хорошо его помню, что он был кукольником, директором Театра кукол. Но беседу он вел как раз со взрослыми и даже затребовал, чтобы детей вывели из зала. Некоторые из нас, впрочем, остались. А удалиться нам нужно было потому, что говорил он на темы политики, вспоминал 30-е годы. Оксана Федоровна однажды устроила и вечер самодеятельности детей писате-

лей. Я как раз вела концерт. Однако запомнились не номера, а выставка рисунков сына детского писателя Алеся Якимовича — Юрия. Уже взрослой я приобрела его исследование о деревянном зодчестве Полесья, во многом открывшее мне глаза на наше архитектурное богатство. Очень талантливый был человек.

До открытия в 1957 году здания Музея Янки Купалы экспозиция размещалась на площадях Союза писателей. Читатели, возможно, не поверят, но это правда: я, маленькая, сидела на коленях у самой Владиславы Францевны Луцевич — вдовы Янки Купалы! Я хорошо помню внешность, фигуру, манеру говорить тети Влади, как все взрослые ее называли. А младшими школьницами мы с Людой Карповой, идя из школы, всегда заходили в музейные залы с их удивительной атмосферой — уже тогда для нас поэтической. Это был ритуал, наш собственный обычай — посещение сакрального места, где нас любили и приветливо встречали. А ведь и вправду тянуло! Предчувствовали, что ли, свою судьбу? Мы усаживались прямо на пол, на ковер, и баба Владя, сидя в каком-то старомодном кресле, рассказывала нам разные истории из детства Янки Купалы или читала его стихи. Я настолько привыкла к экспозиции музея именно в помещении Союза, что мне тяжело было видеть те же вещи, бюсты и портреты в другом доме. Со слов Люды Карповой, потому что я сама почему-то этого не помню, расскажу один эпизод из нашего раннего детства. Уже когда началось строительство музея на улице Янки Купалы, Владислава Францевна водила нас с Людой на место их бывшего дома, сгоревшего в начале войны. Копаясь в земле, мы нашли осколок цветной фарфоровой чашки, над которой тетя Владя даже плакала, а потом подарила нам по тонкой книжечке «Хлопчык і лётчык» Я. Купалы с ее автографом.

Рядом с Союзом писателей вниз по Энгельса — приземистые двухэтажные строения, хозяйственные службы ЦК КПБ, в частности, на углу улиц Кирова и Энгельса — столовая ЦК, куда я ходила на обед уже будучи молодой преподавательницей филфака. Когда возводили новые здания ЦК (теперь — резиденция Президента), ликвидировали столовую и снесли Союз писателей (правда, помогли построить дом, в десять раз больший прежнего, на улице Фрунзе, 5).



Иван и Татьяна Шамякины. 1951 г.

А далее, через улицу Кирова, — наша школа № 2 (сегодня в этом здании один из корпусов больницы Управления делами Президента). Напротив школы размещался Театр юного зрителя. Ниже школы и театра шли небольшие кирпичные дома довоенной, а некоторые еще и дореволюционной постройки, позже значительно измененные. А еще ниже, за трамвайными путями, примыкая к реке, — загадочная и даже страшная для нас, воспитанных девочек, Лодочная улица — место ритуальных побоищ всех местных хулиганов.

Это и было наше пространство, фокус нашего детства; на

перекрещивании с ним наших судеб формировалась удивительная реальность, которая живет сегодня только во сне...

Как чувствовал себя Шамякин в нашем квартале, не «жал ли ему он плечи»? Нет, квартал по своей уютности как-то соотносился с папиным кабинетом, тоже очень уютным. Вообще все кабинеты в домах, где жил Шамякин, он обустраивал, естественно, «под себя», и они всегда оказывались лучшими помещениями и в квартирах, и на дачах.

Жизнь Шамякина, как и нас, детей, проходила, кроме других близких улиц — центральных в Минске (Ленина, Кирова, Маркса) — в значительной степени на улице Энгельса: в Союз писателей он ходил каждый день, примерно к 14 часам дня. А вот задерживался до вечера. Писал не утром, как в Терюхе, а ночью; по утрам же, когда мы были в школе, отсыпался. Сам страдал от такого режима, но он сложился сам собой, когда отец убедился, что ночью ему лучше работается. Наши дни — это школа, кружки Дома пионеров, часто Театр юного зрителя, а после открытия «Пионера» мы почти каждый день наведывались в кино. Особенно запомнились летние вечера в мои уже подростковые годы, когда от жары открывались двери в кинозале, и я из своей комнаты, окна которой выходили непосредственно на кинотеатр, слышала волнующую музыку «Неуловимых мстителей»: кинолента шла, помню, особенно долго, и когда вышли две следующие серии, их повторяли все вместе снова и снова.

Романтика (пусть и спорная) «Неуловимых», с одной стороны, и гриновских «Алых парусов», с другой, увлечение туристическими походами, путешествиями в дикие, неосвоенные места, споры «физиков» и «лириков», книги фантастики, песни бардов, первые полеты в Космос... Вот реалии наших школьных лет. Этим и еще многим-многим другим — не менее захватывающим и интересным — мы тогда жили.

Вторая половина 50-х — начало 60-х годов — удивительное, неповторимое время. Обычно о нем говорят как о «хрущевской оттепели», хотя сегодня мы знаем, сколько глупостей натворил этот пустомеля, гробокопатель, невежда. Прекрасная эпоха — для моей собственной судьбы, да и для судьбы родителей — буквально «золотой век». Но я, в отличие от многих других ностальгирующих «шестидесятников», в том числе собственного отца, не связываю ее с личностью Хрущева. В нашем доме часто гостили украинские и московские писатели, знавшие Никиту Сергеевича даже лично, встречавшиеся с ним в разные годы и в разных ситуациях, потому я имею представление о нем с детства, а не по апологетическим и часто, мягко говоря, не совсем правдивым современным воспоминаниям. Кроме свидетельств наших гостей-писателей в последнее время появились и архивные материалы, которые доказывают вину собственно Хрущева в убийствах тысяч и тысяч людей. Он был настолько обуреваем террором в 30-е годы, что, оказывается, Политбюро специальным решением ограничивало его «деятельность». Но то, что выяснилось для многих сегодня, повторяю, я знала еще в 60-е годы от непосредственных свидетелей трагедии. И я не понимаю, почему Шамякин, также зная все факты, а главное, подоплеку, всегда был и оставался лояльным и снисходительным в отношении Хрущева. Отец прощал тому абсолютно все — потому что «кукурузник» не допустил террора. Что и говорить — серьезный аргумент, в ответ на него я всегда в споре с отцом умолкала. Но сегодня смотрю иначе, с высоты, так сказать, всех последующих событий. Доклад Хрущева на XX съезде партии о своем предшественнике, его обвинения, не подтвержденные судом над Сталиным, развязали цепь последующих за этим беззаконий, которые, в конце концов, привели к совершенно нелегитимной ликвидации СССР, то есть преступлению беспрецедентному, которое вообще по цинизму не с чем сравнить, и к нынешнему, как говорят в народе, «беспределу». То есть Хрущев начал — Горбачев и его последователи в России закончили. Но неизменно от хаоса в России страдаем и мы — белорусы: зараза очень легко из РФ проникает к соседям.

Атмосферу нашей жизни в 50-е годы определяли совсем не хрущевские, часто абсолютно глупые, бездарные, вопиюще недемократические решения в

экономике и культуре, а что-то совсем иное: скорее всего, сохранившийся еще с войны дух товарищества, взаимопомощи, память о совместно пережитой беде. Сохранилась инерция всеобщего подъема и энтузиазма, тот тон и тот темп жизни, который был взят в конце 40-х и в 50-е годы. Мы почему-то забыли многочисленные стройки того времени, создавшие, в конце концов, неповторимый центр Минска; становившиеся все более прекрасными окрестные улицы, проспект, парк имени Горького, куда любили мы ходить и семьей, и большими дружескими компаниями; посадки деревьев на улицах и в нашем дворе; постоянные субботники, от которых не бурчали, над которыми не ерничали, как принято ныне на российском телевидении, а выходили на них охотно и работали дружно, весело.

Особый дух царил и в нашем доме. Все же принадлежность к одной корпорации многое определяет в быту. Придя из школы и не застав родных дома, мы спокойно могли пойти обедать к соседям, особенно к тем, у кого были свои дети. Взрослые не жалели времени, чтобы и рассказывать нам разные истории, и читать, часто свои произведения, и водить на экскурсии, на рыбалку. Нередко случались и воспитательные акции, скажем, в отношении моего брата Саши, который держал на чердаке голубей и вылезал, гоняя их, прямо на крышу дома. Его, в свою очередь, гонял Янка Брыль, который вместо отца — Шамякина, вечно занятого на работе, — стаскивал неосторожного Сашу с опасной крыши. Я и с будущим мужем своим познакомилась благодаря голубям: к брату приходили такие же любители погонять птиц, и среди них — Слава. Вообще же молодежь из десятка кварталов (от площади Победы до стадиона), кто учился в школах № 2 и № 4, а значит, тут же и жил, все прекрасно знали друг друга. Целыми дворовыми коллективами мы играли в «казаков-разбойников», бегая непосредственно по улицам, поскольку машины по ним проходили тогда очень редко. К нам во двор, где было много девочек, приходили ребята из других дворов играть в волейбол. Вместе мы ездили на трамвае купаться и плавать на лодках по Комсомольскому озеру. Постоянно обменивались книгами. Очень много редких книг, которые привозил отец из Москвы, мне не вернули. Тогда я на это не обращала никакого внимания, сегодня — немного жаль, таких уже не купить. Удивляюсь своим родителям: почему они так легкомысленно относились к тому, что мы постоянно что-то, особенно книги, выносили из дома? Впрочем, и мои дети поступали подобным образом, и я так же смотрела на это сквозь пальцы.

Вспоминая детство и юность, не могу не отметить определяющую особенность нашей жизни — дух заинтересованности, энтузиазма, жажда познания, стремления овладеть разными умениями: и модели строить, и фотографировать, и путешествовать, заниматься с животными. Характерно, что и взрослые жили с таким же настроением: сами жадно постигали мир и нас заинтересовывали, приучали. Помню, как на трех собственных автомашинах Шамякины, Карповы и Хадкевичи путешествовали по Белоруссии. Родители стремились показать детям самые красивые и загадочные места республики. Однажды мы даже ночевали в Беловежской пуще. А вообще на машине нас постоянно вывозили на природу, весной и осенью, да даже и зимой (летом всегда были в Терюхе): просто посидеть у костра, попечь на нем сало, картошку; в лес за подснежниками, за вербой, за грибами, на реки посмотреть ледоход — обычно на Березину, Неман. Ездили чаще всего компаниями: Шамякины, Макаёнки, Василевские, Кулаковские. Насколько у знаменитых уже тогда писателей сохранилось еще мальчишество, говорит такой факт: с полными машинами детей Шамякин и Макаёнок налаживали на шоссе гонки, не уступая друг другу дорогу. Уговоры жен не помогали.

Возвращаюсь к дому № 36. В двух из трех подъездов жили в основном писатели. В частности, в нашем: на втором этаже — Михаил Климкович и какой-то очень важный генерал милиции, на третьем — Василь Витка и Петро Глебка, на четвертом — мы, Шамякины, и Иван Мележ, на пятом — Янка Скрыган и Янка Брыль. Наш подъезд считался привилегированным, так как в нем находились четырехкомнатные квартиры — достаточно большая роскошь для того аскетического времени (как и машины почти у каждого из писателей). Во втором

подъезде — по количеству больше квартир, но не такие большие — двух-трехкомнатные. На фоне общей катастрофической нехватки жилья писатели жили, можно сказать, по-пански. При этом, однако, сохраняя лучшие традиции народного жизнеустройства. Все друг друга знали, постоянно встречались, переходили из квартиры в квартиру, вели частые беседы, вместе готовили еду, женщины каждый день сидели на лавочках в тогда уютном дворе, рядом с ними играли дети. Сегодня я называю тогдашнюю нашу жизнь коммуной. Двери городских квартир не закрывались — как и в деревенских домах того времени. Теперешние домофоны, решетки, массивные замки, камеры видеонаблюдения — никому из нас такое и в страшном сне не снилось. Среди жен писателей почти все отличались скромностью, характерной для белорусок мягкостью, душевностью, приветливостью. Моя мама дружила с Марией Михайловной Карповой, с женой Ивана Громовича — тоже Марией, с женой Кастуся Киреенко Лидой, Всеволода Кравченко — Дусей. В семье Евдокии Емельяновны Кравченко, сестры Пимена Панченко, где-то в году 62-м произошло большое несчастье: ее муж поехал в составе туристической группы во Францию и в Париже выбросился из окна отеля. Помню многочисленные версии этого происшествия, так и не раскрытого. Чтобы помочь несчастной женщине с тремя детьми, руководство Союза писателей дало ей работу библиотекаря. Я любила заходить к ней в библиотеку, часто меняла книги, а через много лет ее дочь Ольга стала моей студенткой.

Патриархальное и во многом даже коллективное воспитание спасло нас от приобщения к богемной молодежи, о которой так колоритно в своих мемуарах недавно рассказал Александр Станюта — сын знаменитой Стефании Станюты. Мы знали о «стилягах», но не тянулись к ним, относились к убогим с пренебрежением, иронией. Никто из нашего дома не шлялся под гостиницу выпрашивать у зарубежных туристов всякие никчемные безделушки; особенно не увлекались, кстати, и «Битлами», хотя эстраду любили — и советскую, и зарубежную. Кстати, все лучшее из зарубежного искусства знали хорошо. На стенах наших комнат висели портреты Хемингуэя и Че Гевары, мы часто ходили на зарубежные фильмы — а показывали тогда только высокохудожественные, действительно, киноклассику. Мой отец выписывал журнал «Америка» (правда, по разнарядке ЦК), старшая сестра, хорошо знавшая французский язык и бывавшая во Франции (у нее есть автографы Пикассо и Ива Монтана), читала еженедельник «Юманите диманш», постоянно покупала женские журналы стран народной демократии — «Уроду», «Ладу», «Божур». Вообще жили исключительно насыщенной жизнью. В детстве — разные игры, лично я любила играть в лапту и прятки. В 60-е годы — одержимость произведениями фантастики, научными открытиями и космосом, фотографией, пешими походами (обошли, например, вокруг Нарочи).

Отношения отца с соседями были исключительно дружеские. Он вообще органически не был способен ссориться, выяснять отношения, даже язвить. Но все же, когда к нам заходили соседи, — Янка Брыль, Иван Мележ, позже Иван Науменко, — я видела, что Шамякин, при всей приязни к коллегам, чувствует себя как-то не в своей тарелке. Не потому, что он, человек среднего роста, выглядел жалко по сравнению с высоченными друзьями, а потому, что они всегда чувствовали большую уверенность в себе, чем мой отец — внутренне застенчивый человек. Немного опасался он и их шуток, от которых не всегда мог так же остроумно отбиться (если рядом оказывался Макаёнок, то с ходу — за Шамякина — отражал он). Очень легко и комфортно папа чувствовал себя с Янкой Скрыганом, живущим на пятом этаже, удивительно интеллигентным, мягким, доброжелательным ко всем людям, в том числе к намного более молодому Шамякину, и с Петром Глебкой, нашим соседом снизу, также старшим коллегой. Я дружила с дочерью Скрыгана Галей. Мама, в свою очередь, очень подружилась с тещей Ивана Мележа Клавдией Яковлевной, а затем, с 1964 года, когда в квартиру Мележей переехал Науменко, с женой Ивана Яковлевича — Ядвигой Павловной. Шамякин дружил с Иваном Науменко до конца жизни, хотя они — очень разные по характерам. Однако своеобразие каждого из творцов — и есть, по-моему, глав-

ная наша культурная ценность. Иван Яковлевич в университете руководил моим дипломом, потом кандидатской диссертацией, затем, уже сам будучи академиком, оппонировал докторскую, то есть дал мне дорогу в науку. С его сыном Павлом нам сейчас прекрасно работается на одной кафедре. Кстати, то, что дружеские связи продолжаются во времени, в потомках, я тоже считаю чрезвычайно важным явлением в жизни белорусского общества...

Соседи-писатели обычно заходили к Шамякиным по вечерам или по выходным. Чаще всего говорили о новоприобретенных книгах. Причем, подписные издания нам носили на дом — была тогда такая услуга. И сейчас помню эту пожилую хрупкую женщину, терявшуюся перед именитыми авторами; родители всегда ее щедро вознаграждали, ведь ей приходилось таскать тяжелые фолианты. Однако далеко не все соседи по подъезду так поступали.

Наши семейные развлечения я описала — это выезды на природу, очень часто вместе с семьями друзей отца. В целом же быт — самый обыкновенный. У родителей на К. Маркса, 36, была четырехкомнатная квартира. Нам тогда она казалась огромной. Но на самом деле выглядит просто убого по сравнению с нынешними элитными. Прихожей практически в ней не было, кухня крохотная. Когда папа был на работе или в командировке, я любила проводить время в его кабинете: придя из школы, забиралась в кресло и читала. Мы на двоих с Линой делили небольшую комнату, выходившую окнами во двор, но обычно я старалась сестре не мешать. Саша размещался в зале (он же — столовая), где у него стоял аквариум, клетки с попугайчиками и другими птицами, жил ежик. В семье долго сохранялся обычай совместных завтраков, обедов и ужинов, с полной сервировкой стола. Очень часто, да почти постоянно, приезжали пожить родственники из провинции, едва ли не ежедневно приходили и минские родные.

Я не считаю, что быт того времени был тяжелым. Наоборот, во многом он видится более простым и приспособленным к нуждам рабочего человека, а не владельца шикарного автомобиля, под которого сегодня строят огромные супермаркеты, но абсолютно не учитывают возможности пенсионеров и людей, лишенных автомашин. В то время в каждом квартале были маленькие магазинчики. Например, около нашего дома, на улицах Маркса и Ленина, размещались совсем небольшие торговые точки — «Хлеб», «Молоко», «Рыба», «Овощи-фрукты». Хозяйки посещали и близкие гастрономы, имевшие собственные, данные населением, названия: «Под часами», «Центральный». Там, где теперь здание БелТА, на улице Кирова, находилось общежитие пединститута и магазин, который все называли «На ступеньках». В 50—60-е годы продуктов было полно. Ясно, что колбас было не пятьдесят сортов, может, десять, но зато каких вкусных, из натурального мяса! В магазине «Рыба» на улице К. Маркса, который и сегодня, к моему удивлению, все еще сохранился, икра стояла в бочках, часто продавали раков. В магазине «Молоко» на углу Энгельса и Ленина — фантастически вкусную ряженку, сливки, сметану — все в стеклянной посуде. Одно время из этого магазина носили молоко на дом, ставили под двери. А корреспонденцию доставляли три раза на день прямо в квартиры, и почтовые отделения работали без обедов и выходных дней. И фрукты, хотя и не в красивых корзиночках, продавали на каждом шагу, причем, наши — белорусские. Да, не всегда чистыми руками насыпали продавщицы какую-нибудь черешню или клубнику в пакеты, но все было, как правило, свежим. Помню полки в магазинах, занятые сплошными рядами венгерских овощных консервов типа лечо и особенно вкусных болгарских компотов из черешни, вишни, персиков. Поскольку современные читатели вряд ли мне поверят, обращаюсь к свидетелю — известнейшему русскому писателю Владимиру Солоухину, отнюдь не просоветскому деятелю, а монархически настроенному русофилу, из семьи раскулаченных крестьян. В 1968 году в эссе «Третья охота» он, например, писал: «И вот теперь, когда за витринами магазинов лежат греческие маслины, копченая рыба, куропатки и даже мясо кальмаров...» и т. д. Или в его же «Черных досках»: «Так и охотник может купить тетеревов или глухаря в магазине Центросоюза, где продают не

только тетеревов, но медвежатину, лосятину, зайчатину и даже торгуют благородными оленями, составляющими, бывало, предмет королевской охоты». Конечно, он имел в виду Москву. У нас вряд ли лежала медвежатина, хотя помню, что иногда дичину в магазинах потребкооперации покупали. Сортов конфет (а я их знаток!) фабрики «Коммунарка» в специализированном магазине около ГУМа продавали не меньше, чем сегодня, но намного более вкусных. Мы часто ходили в кафе «Весна»: разных видов пирожных там было примерно десять-двенадцать, особенно вкусные — безе и «Наполеон».

Домашняя пища того времени простая, без особых изысков, еще близкая к деревенской, но количество блюд достаточно велико. К праздникам готовили крабовые салаты (крабов тогда было полно), холодец; кроме того, маме особенно удавалась грибная икра из засушенных, собранных нами, боровичков — настоящая грибная икра и получается только из сухих грибов. Перед Новым годом Шамякин и Брыль ездили в Раков на деревенский базар покупать молочных поросят. Сегодня мои дочери к каждому празднику готовят все более изысканные блюда. Однако все большее количество ингредиентов, часто экзотических, необходимо, если говорить честно, для того, чтобы придать хотя бы какой-то вкус все более и более пресным продуктам промышленно-автоматизированного производства. Помню, в 1963 году Шамякин прилетел из США и привез нам попробовать американский хлеб. Он был совершенно как резина. К такому состоянию пищи приближаемся и мы. Однако обертки все красочнее. Прогресс, как говорится, налицо.

Не тот я человек — кто меня знает, чтобы обращать такое пристальное внимание на еду. Но пишу специально, намеренно — для моих одногодок, которым странно изменяет память, и они не помнят или не желают помнить того, что видели собственными глазами, а утверждают только ту невероятную глупость, а главное, подлость, которую им скажут по телевидению. Какое-то духовное очмурение. Конечно, я хорошо понимаю, что пишу о столице, притом, о центре города — его витрине. Мой муж родился и провел детство в Барановичах: ему запомнилось, как его семья однажды случайно достала кумпяк мяса, как аккуратно его готовили и потом, священнодействуя, резали буквально прозрачными дольками. А отец его, между прочим, был первым секретарем обкома комсомола (в то время Барановичи — областной город). Но этот факт говорит о том, что в начале 50-х годов вели полуголодное существование все — и партийные работники вместе с народом переживали ту же нищету. Это уже при Хрущеве началось разложение правящей верхушки, бюрократия все больше и больше добивалась привилегий для себя. Позднее, живя каждое лето в Терюхе Гомельского района, мы питались исключительно по-деревенски — картошка, блины, рыба, молоко, яйца, грибы — и не нуждались ни в каких магазинах. Если что, скажем, гости, ехали в Гомель на рынок. Уже в 70-е годы в той же Терюхе, где я жила без родителей, и никто рыбу нам на дом не приносил, как во времена Шамякина, мы покупали хлеб, колбасу, консервы, конфеты в деревенском магазине, в котором полки — это правда — не гнулись от разнообразного ассортимента; деревенские жители ожидали, что «выбросят», но никто, понятно, не голодал. Люди жили небогато, но и потребности их были невелики. Проще сказать, нормальные были потребности, и они худо-бедно удовлетворялись. Однако почему нужно постоянно мусолить факт нашей бедности: ведь недавно пережили войну, шло интенсивное строительство, обновление державы! А главное, и в других странах Европы простой человек жил так же тяжело; неужели не помнят мои одногодки и люди постарше фильмов итальянского неореализма?! Последние лет двадцать нам глаза застит несчастная колбаса, но не помнятся ни отстроенные в рекордные сроки города, ни бесплатно полученное образование, ни квартиры от государства, ни изданные книги и за них гонорары, которых сегодня, кстати, не имеем! Все об одном и об одном — пустые полки! Пустые полки появились уже в эпоху перестройки, когда активно готовилось разрушение СССР. Ведь не станут же отрицать мои современники, что буквально мгновенно после реформ Гайдара все возникло как по мановению волшебной палочки. Значит, в стране все было. Было, но припрятывалось.

Я повторяю: в 50-е — начало 60-х годов в центре Минска ни мы, ни наши соседи никакого дефицита не знали. Да, здесь жила элита, но для нее и пишу — именно она больше всего голосит о голодном прошлом. О деревенской еде я вспоминаю вообще, как об утраченном рае. Да даже обычные городские продукты были натуральные и здоровые, без консервантов и генных модификаций. Сам Шамякин писал о 1948 годе, когда он с семьей только приехал в Минск: «Сколько было самых разнообразных колбас! И теперь чувствую их запах! Краковская, полтавская, московская! Икра, рыба, крабы. Ешь — не хочу. Откуда взялось через три года после войны? Мало покупали? У людей не было денег? Частично так. Крестьяне сидели на голодном пайке. А рабочие — ничего. За 1200 рублей стипендии, которые я получал в партшколе, можно было небедно жить нам, четверым, — родилась Татьяна».

Первый продовольственный кризис на моей, Татьяны, памяти — 1962 год. Закономерный итог дурной политики неуча Хрущева, поднявшего народ на освоение целины и оставившего без техники и молодых рабочих рук извечные сельскохозяйственные районы. Да и на целине ветер быстро разнес плодородный пласт; в результате оглушительный шум закончился пшиком. Тогда из магазинов исчезли булочки, белый хлеб; видно, это потянуло за собой и остальную цепочку. Пшеницу стали возить из Америки. Дальше — больше. Торговые работники очень быстро скумекали, как легко можно заработать на дефиците, и начало исчезать то одно, то другое. «Взять из-под прилавка» — слоган того времени. В 70-е годы, когда пошли нефтяные и газовые шальные деньги, сложилась практика «выбрасывания» импорта (а его было достаточно) в конце месяца и распределения продуктовых пайков на предприятиях и организациях. Причем, это были не те пайки времен «перестройки», над которыми издеваются по телевидению, изображая дело так, будто при социализме именно так, и только так, всегда и было, а в самом деле деликатесы. В результате на полках магазинов стало-таки, мягко говоря, пустовато, но в частных холодильниках полно продуктов. При иудушке Горбачеве бюрократическая и торговая мафия уже в государственном масштабе спровоцировала дефицит буквально всего — в то время как склады трещали от товаров. Но они распределялись так же несправедливо, как сегодня зарплаты.

Я знаю, что вызываю огонь на себя. Но подчеркиваю: я описываю быт творческой элиты, не стремясь охватить другие слои общества. Правда, хотя элита, действительно, жила совсем материально неплохо, но сверхзапросов не было. А главное, она, в отличие от теперешней, еще ощущала свою неотделенность от народа, единосущность с ним. Мне родители постоянно напоминали, чтобы я, не дай бог, даже вида не показывала, из какой семьи, не считала себя лучше других, была как можно скромнее. В результате они явно перегнули палку — у меня вообще развился комплекс неполноценности и неприметности, который я с большим трудом преодолеваю на протяжении всей жизни.

Напомню еще относительно одежды. Конечно же, люди в 1955 году не ходили сплошь в сером, как показано в кинофильме «Стиляги», — это полный бред. Такого рода киноопусы — агитпроповский буржуазный продукт для зомбированной российским телевидением молодежи, которая и советские кинофильмы, типа «Карнавальной ночи», уже никогда не смотрела и не смотрит, считая безбожной архаикой. В то время мужчины ходили в серых, черных, коричневых, синих костюмах, летом предпочитали белые, легкие, из чесучи. Очень часто в то время можно было увидеть на мужчинах вышитые сорочки, в Украине — почти поголовно, однако и в Белоруссии в городах отнюдь не редкость. Расшитые женские блузки отходили в прошлое, однако у моей мамы была одна, вышитая ею собственноручно, на мой теперешний взгляд — абсолютная роскошь. Мои тетушки в деревне еще ходили в вышитых фартуках и, конечно же, обязательно в платочках. Мама мало интересовалась нарядами, но все же положение жены знаменитого мужа обязывало. Поэтому у нее было несколько цветастых платьев из крепдешина и креп-жоржета, для выхода в гости и в театр — синее панбархатное платье и блузка из бордового панбархата, блузки и халаты из натурального китайского шелка. Когда мои уже повзрослевшие дочери увидели некоторые

бабушкины старинные вещи, они были восхищены их стильностью. Но современная молодежь, воспитанная на гламуре, в большинстве своем не имеет представления о стильности, такое понятие сегодня недоступно пониманию. Однако моя мама — все же особый случай, как и жены других писателей, тогда очень прилично зарабатывавших. Вообще-то одежды у простых людей было совсем немного. Покупка нового платья или костюма, а тем более пальто — целое событие. Я помню все свои платья и пальто — от раннего детства до студенческих лет — именно потому, что их было очень мало. Родители не считали нужным нас, маленьких, наряжать. В младших, да даже и средних классах, одно платьице на лето, в остальное время школьная форма, в том числе на утренники, в гости, в театр, дома — фланелевая пижамка. Когда в мои одиннадцать лет мы поехали на курорт в Дубулты, у меня было одно платье и кофточка, и я поражалась то ли с внучки, то ли с поздней дочки Мирзо Турсун-Заде, моей одногодки, которая постоянно меняла наряды, и не только не по-восточному одевалась, а вообще на западный манер. Привычка к минимализму в одежде, воспитанная родителями, укоренилась достаточно глубоко, так что в моем отрочестве, когда родители, повернувшись на 180 градусов, уже стали «навязываться» с нарядами, было поздно: я выбрала свой стиль — везде и всюду в черной юбке, черной водолазке, на которой металлический кулон, на ногах — туфли-лодочки. Меня всю жизнь раздражало большое количество тряпок в шкафу. Впрочем, как и множество посуды, вообще вещей. Когда мы с мужем начинали жить самостоятельно в своей квартире, то ее украшали две картины и три вазы, причем, вазы в одном стиле. Совершенно так, как у нас в Терюхе, где было две одинаковые вазы и фарфоровая статуэтка парубка с дивчиной. Другие сувениры, подаренные нам украинскими друзьями, мама раздавала родственникам, а то и вовсе деревенским ребятишкам, которые постоянно толклись у нас во дворе. Однако как бы ни стремился к простоте, за жизнь обязательно обрастаешь вещами, в основном подарками, на ценность которых проецируется личность человека, их подарившего. Иное дело с одеждой. По-моему, положение с одеждой в 50-е годы — самое правильное, можно сказать, идеальное. Но, конечно же, небольшой гардероб должен быть не от бедности, как тогда, а потому, что сам человек сознательно ограничивает себя, мало обращает внимание на наряды.

В 50—60-е годы быт, чего снова-таки не знает молодежь, менялся очень быстро. Менялись и условия жизни в нашей семье. В 1961 году родилась моя младшая сестра Олеся, а в 1963 году вышла замуж Лина. Меня переместили в зал, а Сашу в кабинет. Жизнь приняла не такой размеренный и респектабельный характер, как раньше, но все же даже теснота не ощущалась. Повторяю, комфортом мы не были избалованы. Годами спать на раскладушке — норма. Я любила убирать квартиру, но допустила одну непоправимую ошибку. Стараясь придать жилью как можно более современный вид, я повыбрасывала всю атрибутику, приобретенную родителями в 40—50-е годы, поскольку она, с моей точки зрения, была мещанской. Представляю, как жалели родители те сувениры, которые напоминали им о молодости, которые были им подарены, но все же они ни слова мне не сказали. Уже сама я позже горевала о тех вещах. А сегодня, когда у меня практически ничего не сохранилось от родителей, — тем более...

В 1968 году, на третьем курсе, я вышла замуж. Через год отцу дали пятикомнатную квартиру — бывшую квартиру Сергея Притыцкого — в доме № 11 на улице Янки Купалы, напротив парка имени Горького. Там родители и жили до конца жизни. Мы же все, кроме Олеси, оставшейся с родителями и сегодня живущей с семьей в их квартире, постепенно разъехались, но еще до 1974 года, когда уже и брат Саша был два года как женат, жили все вместе. Причем, жили очень дружно, весело, активно и духовно богато. Где те незабываемые годы, куда все подевалось?



ЗИНАИДА ДРОЗДОВА

Время толстых романов

Размышляя сегодня о тенденциях и перспективах развития романа не только белорусского, но и мирового, мы не можем не заметить многоликость и разнообразие этого жанра, борьбу в нем традиционных и новаторских тенденций. Мы видим попытки современных писателей-экспериментаторов разных стран разрушить традиционную романную форму, модернизировать ее, замечаем стремление их к новым повествовательным стратегиям, формальным играм с языком, к эстетике «гибридных форм».

Сегодня нередко слышатся пожелания, чтобы писатели волновали умы читателей не содержанием, а новыми формами. Так, патриарх элитного «нового романа» француз Ален Роб-Грийе, создатель группы романов с репутацией нечитаемых, пишущихся для «избранных», отрицательно высказывается насчет сюжетной литературы, отдавая предпочтение «новому» «новому роману», получившему название «минималистский роман», который, на его взгляд, обладает исключительной жизненной энергией. «Минималист» Жан-Филипп Туссен наиболее соответствует его представлениям о творчестве. Минималистский роман, как правило, небольшой, иногда не более сорока журнальных страниц, строится он как цепь «клипов», «мгновенных жизненных картинок», написанных с помощью минимальных художественно-изобразительных средств. Представители этого направления показывают «человека без свойств», лишенного индивидуальности, своей «истории», так как жизнь его протекает однообразно, бессобытийно.

Много шума в литературном мире произвело творчество писателя-новатора Володина с его «бутафорской фантастикой», магией выдумки и воображения, открывающее направление в современной французской прозе, названное «максимализмом». В белорусской романистике что-то похожее на «максимализм» французов видим у Ю. Станкевича, в художественном мире которого наблюдается контаминация голосов людей полярных взглядов, ангелов, присутствуют сны и видения.

Современный белорусский роман для того, кто не ленив и любопытен (вспомним пушкинское «Мы ленивы и нелюбопытны»), тоже может быть интересным своими поисками в области формы. Достаточно назвать роман-миф В. Козько «Бунт незапатрабаванага праху», исторический роман А. Наварича «Літоўскі воўк», такой образец христианской литературы, как роман В. Ковтун «Пакліканыя» (о святой преподобной Евфросинии Полоцкой). В. Ковтун возвращает жизнь забытому сегодня, редкому в мировой литературе типу романа, посвященному святым Божиим угодникам, который напоминает традиционные жития святых, но дает более развернутую и свободную картину их внешней и внутренней жизни. В классической французской литературе подобным по жанру произведению В. Ковтун является повесть Г. Флобера «Легенда о святом Юлиане Милостивом». Интересны в плане формы мистические романы и повести А. Козлова и некоторые другие произведения белорусских авторов.

Белорусский роман стремится быть интересным и познавательным, и даже, подобно романам известного французского писателя Жюля Верна, научным, приключенческим, чему красноречивый пример — романы писателя, доктора филологических наук, профессора, академика Национальной академии наук

Владимира Гниломедова. Выпущенная издательством «Мастацкая літаратура», его трилогия, состоящая из романов «Уліс з Прускі» (Мн., 2006), «Расія» (Мн., 2007), «Вяртанне» (2008), уже успела привлечь внимание многих читателей, в том числе критиков и литературоведов, доброжелательно и высоко оценивших писательский труд. Среди таких отзывов можно назвать рецензию «Падарожжа беларускага Уліса ў прасторы і часе» (ЛіМ, 2007, 27 апреля) и статью Валентины Локун, где рассматриваются все три романа, под названием «Проза Уладзіміра Гніламёдава» (Полымя, 2009, № 2). Роман «Уліс з Прускі» совершенно справедливо стали называть энциклопедией крестьянской жизни Беларуси начала XX столетия. Правильно было замечено и то, что по этому произведению можно изучать этнографию и историю белорусского народа. Согласитесь, такой лестной характеристики удостаиваются редкие произведения.

Писатель зарекомендовал себя знатоком старинных обычаев белорусов и россиян, американцев и евреев, талантливым этнографом. Описания празднования важнейших церковных праздников, свадеб, других торжеств занимают довольно значительное место в трилогии Гниломедова. Песни хором, переплясы с частушками, другие массовые сцены — все это изображено сочно, ярко, правдиво. В них ощущается запах времени, виден и каждый отдельный человек, глубоко и полно раскрывается его индивидуальность.

В первой книге «Уліс з Прускі» писатель успешно связывает познавательность с занимательностью. Само название «Уліс з Прускі» содержит намек на увлекательность, приключения. «Улисс — это Одиссей в латинской транскрипции, — поясняет автор. — Не знаю, напоминает ли мой главный герой Левон Кужаль чем-нибудь Улисса или Одиссея, но это тоже путешественник, которого учит жизнь. В определенном смысле это роман-воспитание. Интересно показать человека в ошибках, утратах, разочарованиях, удачах, неудачах и т. д.» (ЛіМ, 2007, 19 окт., с. 4).

Подобно гомеровскому Одиссею главный герой романа «Уліс з Прускі» оказывается скитальцем и переживает ряд приключений как в плавании, так и во время семилетнего пребывания в Америке. Отправляясь в путь, он надеется на скорое возвращение на родину, но ему приходится преодолеть ряд препятствий, чтобы достигнуть этой цели: заработать деньги непросто и в Америке. Белорусский романист как бы повторяет отдельные сюжетные ходы и ситуации известного произведения древнегреческой литературы. Дома главного героя Гниломедова ждет своя Пенелопа, правда, не жена, а пока еще невеста Ганна, вокруг которой, как и вокруг гомеровской героини, вертятся женихи. Особенно докучает ей Трахим. Ганна долго медлит с замужеством, но в отличие от Пенелопы, оказывается духовно менее крепкой, она принимает сватовство Трахима. Прекрасная нимфа Калипсо, как помним из Гомера, удерживает Одиссея семь лет на своем волшебном острове. У героя Гниломедова тоже есть все шансы стать пленником иной нимфы, напоминающей ему его первую возлюбленную, — хозяйской дочери Аннет. Но, как и легендарный Одиссей, Одиссей или Улисс из Пруски, преодолевает это искушение, остается верным своей невесте. Весть о замужестве Ганны ускорила отъезд Левона на родину, хоть он и собирался еще немного побыть в чужих краях.

Но роман Гниломедова «Уліс з Прускі» — не литературный ремейк, не тень классики, а абсолютно самостоятельное произведение, хоть названием автор и попытался отразить постмодернистскую тенденцию «переосмысления вечных сюжетов».

Роман «Уліс з Прускі», как и вся трилогия, — это свежий взгляд на мир. Америка начала столетия глазами молодого белоруса-крестьянина… Уже одно это достойно интереса и внимания. Прусковцу Левону любопытно, как живут люди в стране с репутацией богатой, свободной и справедливой, чем они дышат, чем интересуются, как хозяйничают, работают, какими проблемами мучаются, как развлекаются и т. д. Все это читатель узнает из первого романа трилогии. О своих впечатлениях об Америке главный герой будет рассказывать односель-

чанам в романе «Расія». И многое будет непонятно прусковцам: «Выходзіла, што яны з Цімохам вярнуліся не з іншай краіны, а як бы з іншай планеты». Хочется поправить автора статьи о прозе Гниломедова В. Локун, которая несколько односторонне, как-то по-советски трактует тему Америки в «Улісе з Прускі»: «Природному славянскому миру, гармоническому по своей внутренней сущности, — пишет она, — противопоставляется мир «рукотворный», ненатуральный — мир Америки, поданный через восприятие Левона: «Амерыка — гэта Вавілон, тут змяшаліся ўсе народы, нацыі». Особенно удивляла героя существующая там «нейкая адчужанасць», когда «нікому да цябе няма ніякай справы» (Полымя, 2009, № 2). Да, есть и эта сторона в восприятии Левоном Америки. Но есть и другая. Вспомним финал романа «Уліс з Прускі», когда Левон возвращается из Америки. Возвращается, как замечает автор, другим человеком. Везет энергию нового опыта, мышления: «Пакідаць Амерыку з яе багаццем і незвычайнымі магчымасцямі, дэмакратычнымі правамі і свабодамі — гэта і сапраўды варта было жалю. Гэтая краіна і яму магла даць разгарненне для жыцця. <…> Розныя моманты давялося перажыць, нават і вельмі цяжкія, усяго паспытаць, але, можа, самае галоўнае — яму ўдалося глытнуць і адчуць смак свабоды. Моцны напітак! Можна сказаць, лекавы, здольны абудзіць у чалавеку веру ва ўласныя сілы, годнасць і незалежнасць». Восхищение Левона Америкой не останется незамеченным у Кленовика, который скажет: «— Я бачу, ты сваёй Амерыкай захоплены, а мы зробім жыццё лепшым, чым у Амерыцы!»

В одном из интервью писатель признается, что прототипом его главного героя Левона Кужаля является его дед Леонтий Михайлович Степанюк. Биография последнего, все основные события его жизни нашли отражение в романах — учеба в народном училище в местечке, поездка в Америку и семилетнее пребывание там, беженство, жизнь в России, участие в Первой мировой войне (даже эпизод романа «Россия», где рота Левона осуществляла разведку боем, не выдуман), ранение в левое плечо, лечение во фронтовом госпитале, где сохранить руку помогла ему дочь Льва Толстого Александра Львовна, работавшая там сестрой милосердия, возвращение с фронта к матери и сестрам в Самарскую губернию. Далее следовали неимоверно тяжелые годы революции и гражданской войны, засухи и голода 1920—1921 годов. И, наконец, получение польских виз и возвращение на Родину с молодой женой Феклой, прототипом которой была бабушка писателя, жизнь в условиях социального и национального давления со стороны польских властей.

Время развития действия в романах В. Гниломедова — целое тридцатилетие. На первой же странице первого романа хроники «Уліс з Прускі» Куземка, один из самых колоритных персонажей, сообщает, что «двадцатое столетие началось! Двадцатое!». Заканчивается произведение возвращением Левона из Америки в родную Пруску, когда он на корабле встречает новый, 1914 год.

Второй роман, «Расія», охватывает время с 1914 года по 1922-й. Только один год прожил Левон после возвращения из Америки в родных краях. Наступал немец, и царь дал приказание православным людям ехать на восток, в Россию. Таким образом, Левон со своими земляками, уроженцами Брестчины, стали беженцами и пережили в России революцию, гражданскую войну, многочисленные мятежи и восстания, бесконечные смены власти. Наконец, в 1922 году, пленбеж сообщил беженцам о разрешении из Минска на выезд, на их возвращение на родину.

Третий роман — «Вяртанне» — рассказывает о прибытии жителей Пруски после семилетнего беженства в России в Западную Беларусь, оказавшуюся, согласно Рижскому договору, уже в другом государстве — Польше. В нем повествуется о том, как Левону и его односельчанам пришлось заново налаживать хозяйство, обживаться при новых порядках и давлении польских властей, о неспокойной, тревожной, полной политических страстей и борьбы жизни в возрожденной Польше, о курсе коммунистов на вооруженное восстание с целью возобновить на «кресах» свое государство — белорусское, а затем отказе от этого курса и поисках легальных форм работы.

Автор эпопеи (есть все основания назвать эту пока еще трилогию эпопеей) продолжает работу над этим произведением, признается, что им написана четвертая книга, в которой читатель вскоре сможет прочитать о дальнейшей судьбе полюбившихся героев. Эта книга охватит военное время.

Говоря о своих романах, писатель признается: «Мне хотелось показать человека XX столетия, или точнее, человека в течение времени минувшего столетия» (ЛіМ, 2007, 19 окт., с. 4).

В трилогии Гниломедова освещаются самые разные сферы жизни западных белорусов — бытовые, социальные, экономические, политические, психологические, семейные, религиозные и т. д. И не только белорусов, но и русских, американцев, поляков, евреев. Главный герой романа Левон Кужаль — сельский человек, жизнь которого тесно соприкасается с природой. Его глазами читатель видит внешнюю, видимую жизнь иных народов, через его впечатления рисуется и духовный пейзаж отдельных людей, народов и эпохи.

Характер Левона Кужаля, с одной стороны, предстает перед нами как уже знакомый по произведениям белорусской классики — вспомним Василя Дятлика из «Полесской хроники» И. Мележа, Михала из поэмы «Новая земля» Я. Коласа. Этих трех героев роднит любовь к земле, редкое трудолюбие, умение хозяйничать, терпение, духовная крепость. Но каждый из них — ярко выраженная индивидуальность со своим складом души, своим именем, биографией, своими страстями, своим живым лицом.

Портрет Левона Кужаля — портрет выразительный, запоминающийся. В нем открыто много нового, личностно-неповторимого. И американец, мистер Бузук, и россиянин Илья Александрович, у которого работает Левон во время беженства, неизменно отмечают трудолюбие и честность, а также смекалистость и добросовестность работника. «Беларусы на прызбе не сядзяць», — повторяет американскому хозяину Левон слова своего дяди.

Главный герой трилогии Гниломедова — человек внешне сдержанный, практично-заземленный, но внутри его живет поэт-романтик, жаждущий познать мир, увидеть новые континенты. Отъезд его в Америку вызван не только желанием заработать деньги и рассчитаться с долгами, но и жаждой новых впечатлений.

Обратим внимание на то, что даже серьезное чувство к Ганне не останавливает Левона: в самый разгар их любви он бросает девушку и едет в далекую Америку, но собирается вернуться. В трилогии есть страницы, посвященные интимным отношениям героя с противоположным полом. Романист не отказывается, говоря словами В. Маяковского, писать «про это». Он поэтизирует свежесть чувств своих молодых героев, их приобщение к тайне телесного единства, желание скорее изведать неизведанное. Погружение автора в телесность выглядит естественным и оправданным. Левон вступает в мир взрослых, его манит новизна физиологических ощущений, но он чужд сугубо чувственного отношения к женщине. Им руководит не желание искать наслаждения, он чутко и бережно относится к любимой. В Америке Левон все время помнит о ней. В чертах милой Аннет, хозяйской дочери, он ищет полюбившиеся ему черты прусковской Ганны. Ему нравится Аннет, его тянет к ней, но он не переступает границ дозволенного, хоть американка и готова раскрыть для него свои объятья.

У Левона Кужаля какое-то врожденное чувство добра и зла, четкие нравственные ориентиры, которые помогают ему делать правильный выбор, совершать добрые поступки. Много разумного и поучительного для себя и своего народа видит он в жизни американцев. Хозяин мистер Гритько, у которого он работает, живет зажиточно, дом — полная чаша, по воскресеньям с семьей обязательно посещает церковь, дома читает Библию, молится перед едой, но предпочитает любить далеких «дальних», а не ближних своих. К своему работнику негру Букеру относится более чем неприязненно, дает ему приказ пугать ворон: «Відаць было, што жыццё адвучыла фермера спагадаць каму-небудзь…», — такое заключение делает Левон, узнав об этом нелепом приказе. Да и другими поступками

и словами американцы уступают прусковцам, когда он сравнивает и меряет их по своей шкале ценностей.

«Размова за сняданкам прымусіла задумацца, Лявонку падалося, што прускаўцы больш востра адчувалі дабро і зло, больш чуйна рэагавалі на іх праявы, чым гэтыя людзі, паміж якіх ён знаходзіўся».

К Левону с уважением относятся и «паны»: «Пра Кужаля кажуць, што гэта шляхетны чалавек», — так аттестует его в своем дневнике молодая полька, аристократка учительница панна Хелена. В понятие «шляхетны» эта патриотка своей нации вкладывает, конечно же, какую-то врожденную интеллигентность Левона, его умение достойно держаться с людьми, соблюдать этикет, сдержанность.

Думается, именно Левон является у автора «глубокой совестью» («глубокая совесть» — так назван Иван в «Братьях Карамазовых» Достоевского). Его отношение к бунтам, революциям и войнам резко отрицательное. Ему, вечному труженику, не понять людей вроде Кленовика, поддавшихся призрачным мечтам о создании рая на земле без Бога. Левон хорошо понимает, что стать на путь революции означает стать на путь ненависти и злобы. Но он далек от того, чтобы навязывать свои взгляды другим людям. Он не поддакивает Кленовику, будучи несогласным с ним, но и вовремя останавливается в споре, избегая «бесплодного пре-прения», «пустой преки» (Л. Боровой): «Госць прадоўжыў сваю тэму:

— Цяпер галоўнае, браце, хто — каго! Ніякая дэфензіва рэвалюцыі не спыніць. І ніхто не спыніць! Наш ідэал — барацьба. Мы змагаемся за простага чалавека, каб яму было добра, каб яго не душылі буржуі ды капіталісты!

<…>

— Ну, вядома, без ахвяраў не абысціся… Кроў струменіцца! Але за ідэю, браток, не страшна будзе і памерці…

— А калі яна няправільная — ідэя тая? Калі яна, скажам, недаказаная? — устрапянуўся раптам Лявон.

— Партыя, брат, не памыляецца!

Лявон нічога не адказаў, толькі паціснуў плячыма і ўздыхнуў».

У него уже был опыт — увиденное и пережитое им и его односельчанами в России, где большевики решили перестроить жизнь к лучшему, осчастливить людей, а на деле устроили кровавую бойню.

Левон тоже не может не задумываться о том, каким путем должен пойти белорусский народ, чтобы обрести счастье. Но он напрочь отвергает революцию, считая, что белорусов спасет трудолюбие.

Эти слова, в сущности, кратко характеризуют жизненную программу главного героя трилогии Гниломедова. Левон работает не только над производством материальных благ, не только по хозяйству, но ведет и невидимую работу над преобразованием собственной души, стараясь побеждать зло в своем сердце.

Важнейшие глубинные черты характера Левона раскрываются и проверяются в семейных, родственных чувствах. Он нежный и чуткий сын, верный, любящий, попечительный о доме муж, заботливый и внимательный брат. Доброжелательно, хоть и строго относится Левон к Феклиному сыну Васе. Лишь однажды возникли в нем злобные, звериные чувства к пасынку, и он избил его, о чем потом постоянно жалел. Левон умеет постоять за себя и свою семью. Стремясь жить в мире с людьми, он способен в то же время дать отпор, применить силу к обидчикам.

Владимир Гниломедов скромно назвал свое произведение семейной хроникой в духе барокко, подчеркивая мозаичность, фрагментарность своей, как он выразился, «писанины». Но заметим, что семейной проблематикой оно не исчерпывается. Человек исследуется в романах писателя «не только в семейных, дружеских, классовых, профессиональных, философских, но и в связи с жизнью народа в целом, с его историей в данный период» (А. И. Чичерин).

Каждый избирает то, что ближе его сердцу. Вот Кленовик. Он готов умереть за свою идею, безжизненную, неправильную, разрушительную. Он принадлежит к тем людям, которые, стремясь достигнуть вечной истины, идут, говоря словами

великого русского классика Н. Гоголя, «искривленными, глухими, непроходимыми, заносящими далеко в сторону дорогами» и, «влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти» (прямым путем, которым нужно идти, Гоголь считал путь, который указывает Евангелие).

Андрей Кленовик не считает себя заблудившимся. На его взгляд, заблудившиеся — это все кто угодно, но не он, и тем более не партия. Автор трилогии не однажды подчеркнет, что герой осознает свою исключительность, гордится, что он революционер. Его умиляет и чуть не доводит до слез «Революционный катехизис», по которому он и старается жить: «Революционер — человек обреченный, — гаварылася ў ім. — У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени… Чувства должны быть подавлены в нем единою холодною страстью революционного дела…»

Кленовик — бунтарь, но и мечтатель, поверивший в рожденный в начале двадцатого столетия миф о всемогуществе науки, в волшебную сказку о коммунизме, коммунистическом рае, рае без Бога: «— Паглядзіш! Мы вызвалім чалавека ад хвароб, палепшым яго прыроду, гатунак, і нават смерць прымусім адступіць! Не верыш? Мёртвых ажывім! Так, ажывім! Гэта будзе, калі хочаш, новая папуляцыя, новы, чысты, стэрыльны чалавек!» Эти мечты по-своему «заражают» Левона. И он даже готов восхищаться теми качествами Андрея, которых нет у него: «Андрэй, Андрэй… Бадзяешся ты, дружа, па людзях і сам пакутуеш! А зрэшты, што такое жыццё чалавека, як не вечнае падарожжа? Можа, у гэтым і сэнс жыцця?»

Образ Кленовика — один из самых ярких и запоминающихся образов романов Гниломедова. Он сродни и Павке Корчагину Н. Островского, и Башлыкову из «Полесской хроники» И. Мележа, и некоторым другим персонажам русской и белорусской классики.

Кленовик не рисуется своим аскетизмом. Он горит любовью к революции, ему скучны, кажутся однообразными семейные будни, работа по хозяйству, он жаждет борьбы. Больше всего он боится стать ненужным революции.

Писатель создал множество ярких, живых портретов, интересных, самобытных характеров, людей с разными понятиями о нравственности. Левон, его мать Мариля, дед Кирилл, сестры Тоня, Федорка и Барбарка, Ганна, Трахим, Фекла, Татьянка, Фролка, Михаил Касяткин, Афанасия, Илья Александрович, Александр Ильич, Кленовик, Куземка, Костя, Неробеев, отец Ипполит… Названные персонажи имеют более подробные характеристики. Но и другие, не являющиеся центральными, даже эпизодические, не лишены у Гниломедова печати личной неповторимости. Многочисленные портреты его романов раскрывают еще и коренные свойства натуры самого писателя — жизнелюбие, восприятие жизни как чуда, удивление жизнью, восхищение обаянием человека.

Созданные пером Гниломедова портреты отличаются друг от друга и своим основным пафосом, и темой. Они передают и врожденное, неизменное в человеке, и привнесенное временем. Лица человеческие у романиста выражают свое время, свою эпоху, ее антигуманность.

Интересно понаблюдать за всем этим на примере одного из портретов — ну, скажем, портрета россиянина Татьянки. Первая фраза, слетающая из уст Татьянки, «Праваслаўныя, чай?» относится к прибывшим беженцам. Вопрос о вере, таким образом, небезразличен герою. Впоследствии мы именно от Татьянки услышим слова о будущем святом земли российской — Иоанне Кронштадтском. Чудайкин — такова фамилия Татьянки — говорит о нем с уважением и верой в то, что он не допустит забастовки в России, говорит так, как будто лично знает Иоанна Кронштадтского. Он восхищается чудесами, творимыми этим Божиим угодником, называя его, еще живого, святителем, пророчески угадывая его путь. Этим самым раскрывается простота сердца, открытость добру, вера Татьянки в чудесное. Это поначалу нравится и россиянам, и прусковцам. «Таццянка — гэткі, як наш Кузёмка», — скажет о нем после первых встреч с ним мать Левона. К восприятию его как чудака располагает и рассказанная автором комическая история о его крещении,

когда пьяные кумовья, забыв пол ребенка, сказали священнику, что это девочка, и тот нарек его Татьяной. И хоть после, вследствие ошибки, священник переименовал его в Татиона, тем не менее, женское имя Татьянка навсегда срослось с героем.

При первом появлении в романе «Россия» Татьянка Чудайкин предстает перед нами человеком низенького роста, с морщинистым лицом, похожим на печеное яблоко, бедно одетым: «Апрануты ён быў у кароткі зіпунок са шматлікімі латкамі, а абуты ў лапці з аборамі. На галаве — злінялая шапка, на нагах — старыя апоркі. У вачах — спакой і нейкая як бы бессэнсоўнасць». Последняя деталь — бессмысленность в глазах — уже как бы предваряет то, во что потом выльется характер Татьянки, его поведение.

Примкнувший к большевикам Татьянка, выбранный председателем коммуны, начинает обнаруживать новые черты характера, которых прежде, кажется, и не было, — чувство превосходства над другими людьми, злобу, жестокость.

«Возомнив себя заслуженным революционером, Татьянка решил и фамилию свою переделать, приставив к своей прежней еще и другую — Жорес — в честь пламенного французского революционера, а также потребовал себе кожанку.

Мариля, мать Левона, являющаяся в романах «Уліс з Прускі» и «Расія» как бы компасом, показывающим отклонение от должного направления в нравственном пути встречающихся ей людей, с неприязнью смотрит на Татьянку: «Марыля недалюблівала Таццянку. — Абармот! — сказала яна. — Вечна смяецца — дзёснамі гэтымі сваімі бяззубымі. Зморшчыцца, як печанае яблыка, і смяецца». Конечно же, не внешняя некрасивость отталкивает Марилю, а душа этого человека. Неспособный к руководству коммуной, безразличный к любому труду, не отличающийся большим умом Татьянка вскоре был отстранен от председательства и «разжалован» в пастухи, но из кожи вон лез, чтобы вновь выбиться в начальство.

И заключительный эпизод, в котором мы видим Татьянку, уже не выглядит неожиданным, придуманным. Читатель подготовлен к восприятию Татьянки, участвующему в разрушении церкви, сбрасывающему с церкви кресты. Из лагеря верующих Татьянка легко передвинулся в лагерь богоборцев: «— У нас новая жызнь зацяваецца — без папоў! — радасна паведаміў Чудайкін-Жарэс. — Колькі можна народ опіумам травіць!..» — такова предпоследняя фраза Татьянки.

Гниломедов-портретист умеет дать «предварительную формулу» героя, в экспозиции героя обнаружить его этический потенциал. Интересен в этом отношении портрет Фрола. Вначале он показан глазами Левона, который уже слышал нелестную характеристику в его адрес от хозяина Ильи Александровича и Афанасьи, что тот «отлеживается», не хочет работать: «Уразілі яго жоўтыя, як у ката, вочы, скуласты, з пагардлівым выразам, твар. Чымсьці ён быў падобны на амерыканскага індзейца. Сутулы. На спіне быў невялікі горб». «Голас яго нейкі нецярплівы. Як бы нешта знутры чалавека спальвае, — падумаў Лявон…»

«Пагардлівы выраз твару», желтые, как у кота глаза, нетерпеливый голос — эти детали не раз будут повторены с разными вариациями автором «Расіі», выявляя самое существенное в образе Фролки — злобу, мстительность, непрощение обид, необычайную жестокость и бесчеловечность Фролки, убивающего «по праву классового самосознания» своего бывшего хозяина и благодетеля Милягина.

Этот портрет является еще и как бы живой иллюстрацией слов святого преподобного Нила Мироточивого, который в своих поучениях утверждал, что все смуты, революции и непорядки происходят от злопамятства, это значит, гордого осуждения недостатков ближних, неуважения к родителям, начальству и т. д.

Придавая большое значение деятельности человека, изображению окружающей его среды, Гниломедов с не меньшим интересом следит за нравственной стороной общественных проблем, за нравственными переживаниями человека, за жизнью его совести. Люди, посвятившие себя революции, разрушению старого мира, отвергают и прежнюю мораль, основывающуюся на евангельских истинах. Кленовик, как и другие революционеры, выше всего ценит в женщине не жену и мать, а товарища по борьбе. Вот он смотрит на красавицу Елизавету, любуясь

ею и удивляясь тому, как все-таки борьба украшает женщину. Но в его отношении к женщине скрыт и ницшеанский взгляд на нее, как на «игрушку для отдохновения воина». Ни о какой любви и верности в отношении к женщине он и не помышляет, одобряя Скомороха, имевшего любовные связи не только с Елизаветой, но и с другими женщинами: «Не адна яна ў яго, мусіць. І правільна. Старая мараль для нас не ўказ!» Осмеянию подвергаются и многие другие христианские заповеди. Упраздняется даже само понятие человеческой совести, названной недавно умершим старцем Паисием Святогорцем «самым первым Священным Писанием, данным Богом первым людям».

В романах Гниломедова промелькнет множество женщин, самых разных по характеру, по возрасту, по социальной принадлежности. Но одним из самых привлекательных женских образов трилогии является образ Феклы, жены Левона. Не сложилась ее семейная жизнь в венчанном браке. Бражничество, измены, скандалы и издевательства Александра Ильича, ее мужа, разрушили их союз, уничтожили любовь. Только сын Вася и связывал этот уже почти распавшийся брак. В душе Феклы внезапно возникает любовь к другому — к беженцу Левону. Вначале героиня сопротивляется этому, на взгляд многих, греховному чувству к чужому мужчине. Ведь она мужняя жена. Но сознает она и то, что имеет право оставить того, кто был ей неверен, ведь великий сердцевед Иисус Христос единственной причиной для развода назвал вину прелюбодеяния, супружескую измену. Фекла борется за свое счастье, пытается строить отношения с Левоном, тоже полюбившим ее.

Портрет Феклы написан светлыми, лирическими красками. Подан он в основном глазами Левона, не только любующегося ее броской физической красотой, но и стремящегося постичь тайны ее души. «Не высокая і не нізкая. Не худая і не тоўстая. Чарнявая, як і большасць у гэтым краі. Маладая. Ружавашчокая. Прыгожая». <…> Плечы і спіна, круглыя і моцныя, як налітыя, падкрэслівалі ўсю яе стройную постаць, гнуткую ў стане. На абліччы — лёгкі румянец. Чымсьці няўлоўным яна нагадвала Ганну. Вялікія вочы. Доўгія пяшчотныя вейкі. Поўныя, як некалі ў Ганны, рукі. У куточках рота прытаіліся вясёлыя складачкі. Пры ўсёй звычайнасці выгляду было ў ёй — гэта Лявон заўважыў адразу — абаянне, сардэчнасць і нейкая неўтаймоўнасць. Яму раптам здалося, што яна выпраменьвае нейкае ўнутранае святло ці нават ззянне. Ён нават і колер адчуў — блакітны. «Прыгожая!» — адзначыў ён у думках».

Интересно это определение цвета, которое излучается Феклой. Голубой цвет считается в православии цветом Богородицы. Думается, писатель выбрал этот цвет неслучайно. В Фекле действительно очень много от женщины-христианки — умение прощать, любить, жертвовать собой, считаться с другими, приветливость, скромность, воздержание, милосердие. Если бы не сын, то Фекла поехала бы на фронт сестрой милосердия. Эта простая неграмотная женщина наделена удивительным душевным тактом, рассудительностью и умом. Для Левона она — друг, помощник, человек, делящий жизненную ношу, любимая.

Фекла умеет создать вокруг себя тепло и уют. Именно у нее собираются беженцы, потому что она слывет гостеприимной хозяйкой. Неудивительно, что ее полюбили золовки и свекровь. Она умеет красиво танцевать, петь, умеет постоять за себя, поставить на место разных негодяев. Вынужденное венчание в церкви (польские власти, блюстители порядка, приказали повенчаться, не преминув добавить, что лучше бы было им перейти из православной веры в католическую) воспринимается ею как Божье благословение, как очень важное и необходимое событие в ее жизни.

Вообще, все женщины Гниломедова, даже эпизодические, выписаны выразительно, отчетливо, ярко.

Конечно, все люди чем-то похожи друг на друга в жизни. И в литературе. Например, Афанасия, первая свекровь Феклы, многими чертами характера напоминает шолоховскую Ильиничну. Как и героиня «Тихого Дона», она является примером терпеливости, жизненной стойкости, мужества. Как и Ильинична, она много

настрадалась от измен мужа. Но в отличие от невестки, обиженной и израненной душою от этих измен, постепенно охладевшей к мужу, она оказывает супругу непритворное уважение. Она с поблажкой относится к этим слабостям мужа, хоть и упрекает его, но старается не раздражать и не перебирать меру. После молитвы перед едой целует руку мужа. И муж, постоянно чувствуя ее заботу, хвалит ее, доволен ею: «— Ну, маёй Афанасьі толькі ігуменняй быць — усё разумее і да парадку давядзе». Она во всем поддерживает мужа: и в хозяйских делах, и в разговорах. Даже внешность героини, ее полнота говорит не столько о страсти чревоугодия, сколько о том, что героиня всецело забыла себя: «З хаты выйшла пажылая жанчына, поўная, грудастая, у шырокай баціставай кофце з доўгімі рукавамі».

Внезапная смерть мужа сразу лишила ее почвы под ногами, сделала бессмысленным ее дальнейшее пребывание на земле. Она как-то сразу сдала, постарела: «Для Афанасьі гэта была не проста смерць мужа, з ім адыйшло ў мінуўшчыну тое жыццё, якім ён жыў, а разам з ім і яна. Цяпер яна ні пра што не хацела ведаць і хацела толькі ўспамінаць пра былое, і Ілья Аляксандравіч (якога яна раней называла грахаводнікам) здаваўся ёй цяпер увасабленнем ангельскай дабрыні і пяшчоты».

И последний, завершающий штрих к истории взаимоотношений Афанасьи и супруга: «Праз які месяц яе таксама не стала».

Можно рассматривать, перебирать множество героинь и героев трилогии и с удивлением замечать, что каждый или каждая из них получились живыми, запомнились. Писатель умеет изобразить женскую красоту, казалось бы, неуловимую, таинственную, не поддающуюся описанию. Запоминается в романе «Вяртанне» портрет женщины редкой красоты Марии Лисак, бесконечно преданной, как и Кленовик, идее большевизма, жизнь которой закончилась в брестской тюрьме на тридцать первом году. Запоминаются портреты польской учительницы Хелены, чувствующей себя миссионеркой на «крэсах усходніх», желающей служить «польскасці і касцёлу», православного священника отца Ипполита, прусковского чудака Куземки… Последний является особенно большой удачей автора. Сверкающие голенища сапог, неизменная шапка-папаха, загадочная улыбка, торопливый вид, странная, иногда иносказательная, таинственная речь, подобная речи юродивых Христа ради, которые, по всей видимости, были и на земле белорусской. Странник, при входе в дом сначала отдающий честь иконам, а потом людям, живущим в нем.

Эпопея Гниломедова — диалог-спор по самым коренным вопросам человеческого бытия. О христианстве и коммунизме, об эволюции и революции, о мире и войне, о высоком и вечном, о низком и временном. В ней отражено великое множество мнений о человеке, отражена сложность исторического момента. В ней органично сплавлено многоглазие, многоголосие с авторской субъективностью.

Конечно, социальные портреты трилогии даны в основном глазами Левона, который «тянет за собою сюжет». В его размышлениях о людях, их жизни и нравах, лежит удивление перед многообразием и многоликостью мира. Например, знакомясь в Америке с учением квакеров, живущих огромным и дружным коллективом, признающим Бога, но не признающим церкви, якобы мешающей отношениям человека с Богом, учением, направленным против разбойничьего, варварского отношения человека к природе, жалеющим даже землю, распоротую плугом, всю Божью тварь и считающим богатство вознаграждением за примерную и безгрешную жизнь, Левон искренне поражен новизной услышанного: «Прускавец ніколі не думаў, што можна разважаць вось так». Героя радует, что квакеры не только рассуждают о любви и взаимопомощи, но и стараются жить согласно своему учению. Эти бескорыстные чудаки чутко отзываются на беду и голод в России реальной помощью, что было очень приятно Кужалю, полагающему, что это могут быть именно те квакеры, с которыми он когда-то встречался.

В. Гниломедов иначе, чем писатели советского времени, на аналогичную тему, уже через призму христианских этических представлений, смотрит на эпоху революции, гражданской войны и вообще на двадцатое столетие. Правда,

автор не спешит с собственной оценкой эпохи, но дает высказаться о ней своим персонажам. Немного загадочно, но одновременно и прозрачно высказывается о причинах беспорядка в России, где происходят бесконечные бунты, мятежи, поджоги и убийства, мать Левона Мариля: «— Гэта, — дзеці, запомніце маё слова, — людзі тут недалюбленыя.

— Як — недалюбленыя? — не зразумеў сын. Усе таксама паднялі галовы і глядзелі на маці.

— Ну, як вам сказаць, не ўзычыў, не дадаў адзін другому дабрыні, не паспрыяў…

Усе на нейкі час задумаліся над словамі маці. Не простыя яны, штосьці за імі тоіцца».

Писатель признается, что его очень интересует материальный мир. В его романах много места отводится чувственным явлениям действительности: запахам, вкусу, осязаниям. «Не только запечатленные художником идеи и мысли способны характеризовать эпоху, но и ее звуки, цветовая гамма, ароматы, вкусовой букет, которые глубоко коренятся в мире вкусов и мыслей данной эпохи», — справедливо замечает в своей статье «Чувственное искушение слов» Золтан Хайнади (Вопросы литературы, 2009, январь—февраль, с. 254).

Трилогия Гниломедова содержит большое разнообразие запахов сельской жизни, вообще всякого рода запахов и ароматов. «Две-три черты, и пахнет», — сказал когда-то восторженно Лев Толстой о пейзажах Тургенева. Природа вокруг героев Гниломедова тоже благоухает, источает бесчисленные ароматы, создавая лирическую атмосферу для интимных встреч и свиданий: «густа пахла жасмінам. <…> З агародчыка даляцеў начны пах мяты…», «навокал панаваў спакой. Начное паветра густа настоена на мядовым паху чырвонай канюшыны», «вастрэй запахла духмянай бярэзінай».

Запахи пробуждают воспоминания, вызывают то или иное настроение, врываются в человеческие переживания, усиливая их. Кленовик, как и подражающий ему во всем Костя, сын первой возлюбленной Левона Ганны, не испытывающий сильной привязанности к родителям, тем не менее, растроган привычными запахами родной избы, привычным материнским запахом, и в нем пробуждаются нежность и жалость к матери: «*Прывычна запахла бульбяным шалупіннем, паранкай і яшчэ нечым — тут месціўся свой, асаблівы свет.* Па сценках віселі пучкі нейкіх траў, галінкі рабіны, засушаны дзівасіл. У кутку стаяў цэбар, у якім размешвалася паранка для свіней. Тут жа, у сенях, знаходзіліся дубовыя жорны, навокал якіх *панаваў дух мукі і вотруб'я.* Першай прачнулася і ўгледзела сына маці. Доўга плакала. Абдымаючы яе, нечакана для сябе адчуў шчымлівую пяшчоту і шкадаванне, *адчуў матчын дух*».

Гниломедов стремится во всех оттенках передать звуки, возобновить их с большими подробностями и с точностью. Удивляет, например, в романе «Уліс з Прускі» описание лягушачьей «музыки», доносящейся с озера.

Хочется кратко остановиться и на речи персонажей в романах Гниломедова. Автор придерживается принципа «местного колорита», старается воссоздать язык эпохи, избежать «гладкописи», нередко встречающейся в современных произведениях на историческую тему. Правда, в романе «Расія», может быть, было бы более уместно давать речь заполоновцев, говорящих на русском языке, в оригинале. Но автор пошел другим путем, вплетая в речь россиян белорусские слова, а русскую лексику передавая на белорусский манер. Этим самым романист, видимо, хотел преодолеть художественное противоречие между современным языком авторского повествования и отмеченной региональными, историческими особенностями речью персонажей.

Язык персонажей сочный, многокрасочный, образный, замечательно характеризует их самих, выдавая их социальную и профессиональную принадлежность, индивидуальные склонности.

Вот Левон, Фекла и Кленовик, гостящий у них, слушают громкую ругань, доносящуюся со двора соседей:

«— Размінаюцца з раніцы, — пасміхнуўся Лявон, але госць заставаўся сур'ёзным, бо па-свойму разумеў сварку.

— Гэта, браце, беднасць прымушае людзей сварыцца, — зазначыў ён, выціраючы твар і рукі ручніком.

— Не беднасць, а чорт! — сказала Фекла, ставячы скавараду на стол».

Даже в этом, одном из самых «рядовых» эпизодов, автором схвачено что-то очень существенное в характерах и взглядах героев. Левон, привыкший к таким сценам в жизни своих земляков и оптимистически смотрящий на мир, подшучивает над соседями. Кленовик с его классовым подходом, склонен и здесь найти факт, подтверждающий его теорию о необходимости вооруженного восстания в Западной Белоруссии, а Фекла по-христиански оценивает семейную ссору.

Автор чувствует себя свободным в плане выбора формы повествования, включение в романное целое различных стилей и языков. Дневники Миши Касякина (роман «Расія») и пани Покорской (роман «Вяртанне») не только раскрывают уникальность и неповторимость внутреннего мира этих персонажей, их мысли и чувства, переживания, взгляды на мир, но и восполняют пробелы во внешних событиях, прибавляют новые штрихи к картине общества и эпохи в целом.

Очень органично входят в романное целое писателя письма героев друг к другу. Письма Левона из Америки к родным и любимой девушке Ганне, письма родных и Ганны к Левону из Пруски, письма Домны, Феклиной сестры, из России и ответы из Пруски, находящейся под Польшей… Из них выявляются новые мелочи, детали и подробности внешней жизни Америки, России, Западной Беларуси, более рельефно вырисовывается душевное состояние людей.

В интервью «Я всегда иду от факта…» (Полымя, 2007, № 12) Гниломедов признается: «Я использую все традиционные художественные средства — пейзаж, монолог, диалог, элементы психологизма, несобственно-прямую речь, лирические отступления, описания и т. д., подчиняю их сюжетному действию, но отношу себя к постмодернизму».

С таким заявлением писателя во многом не согласна Валентина Локун: «Писатель считает себя нарративщиком и постмодернистом одновременно. Нам же кажется, что в его личности сформировался художник прежде всего традиционно национального классического письма. Художник, работающий в формате объективно-психологического повествования…» Не знаю уж, как постмодернистом, но нарратором писатель называть себя вправе. Особенно, если речь идет о романе «Расія», где прием нарративного интервью в самом деле используется, хоть и имеет свои особенности по сравнению с нарративным интервью французских писателей-постмодернистов.

В. Локун в статье о прозе В. Гниломедова справедливо указывала на близость прозы автора романов «Уліс з Прускі», «Расія» и «Вяртанне» к прозе национальных авторов-романистов К. Чорного, И. Мележа, М. Горецкого, В. Быкова и других, а говоря о масштабах изображения, поставила их даже в один ряд с «Человеческой комедией» О. де Бальзака, «Сагой о Форсайтах» Д. Голсуорси, «Иосифом и его братьями» Т. Манна.

Владимир Гниломедов продолжает свою работу над эпопеей, воскрешая как художник-историк страницу за страницей из прошлого нашего народа, представляя читателю немало неизвестного, затемненного в нем. У автора своя историческая концепция, свое понимание основного смысла и пафоса первой трети двадцатого столетия, психологии эпохи.

О романах В. Гниломедова, думается, еще будут писать. И еще будет показано своеобразие, красота, новаторство и значительность этого произведения в современном литературном процессе, продуктивность поисков этого романиста.



ИВАН ШТЕЙНЕР

Криница, из которой пил святой

Философская поэзия Алеся Рязанова

Каждый из фараонов египетских, ступив на трон величайшего государства в мире, начинал свою деятельность со строительства собственной пирамиды, в которой и должно обрести не только великий покой, но и будущую жизнь его временно упокоенное тело после реально-земной смерти. И это не просто естественное человеческое желание, взлелеянно-вскормленное манией величия, остаться в памяти потомков, обессмертив собственное солнечно-земное имя, но и онтологическая задача, положительная реализация которой имеет судьбоносную значимость для народа, страны, планеты в целом. Если фараон умирает до завершения строительства, то тело не будет сохранено в строжайшем соотношении с расположением звезд и планет, а потому будет закрыт сакральный выход, связывающий землю с Космосом, людей с богами; солнце (Ра) погаснет, а мир погибнет в страданиях и мучениях. Так было в Египте.

На другом конце света, в нынешней латинской Америке, также строили пирамиды. Однако абсолютно в ином стиле и совершенно для других, но тоже сакральных целей. Способы создания также разнились кардинально. Пирамиды в Египте воздвигались из блоков, которые вырезали для каждого конкретного чуда света в ближайших каменоломнях. Пирамиды народности Майя каждый новый верховный правитель строил из материала предыдущей, ибо, придя к власти, разрушал существующие и из уже готовых блоков, составляющих к тому времени былые сооружения, возводил свою, по своему проекту и для своих богов.

Каждый великий или просто хороший, настоящий поэт подобен в своем творчестве фараону или верховному жрецу, посвятившему всю жизнь созданию собственной пирамиды. Поэт осознает, что именно звезды и планеты встали так, что на его долю выпал столь великий и удручающий удел-жребий донести миру великую истину, без которой вселенная рухнет. И он должен, со скрытой надеждой на духовное бессмертие, создать собственное творение, равновеликое созданиям древних. Всякий поэт амбивалентен в данном стремлении, ибо он — созидатель, но прежде всего — разрушитель. Так как, не расчистив места для собственного строительства, не сделав собственного выбора из дилеммы традиционное — новаторское, он вряд ли исполнит предназначенное ему судьбою. Последнее в значительной степени относится и к строительному материалу Поэзии — Слову и ко всей литературе в целом.

Подобная метафоризация поисков наиболее характеризует творчество Алеся Рязанова, в котором так заметны эти два пути. Начинал он в египетском стиле, пробуя и созидая свой будущий шедевр в традиционной классической манере, стремясь вписать собственное возводимое сооружение в ряд уже существующих. Последнее выделялось на общем фоне, пожалуй, еще только внешне, декором, ибо не затрагивало онтологических основ существования (первые сборники поэта). Однако чрезвычайно быстро он почувствовал творческую неудовлетворенность данным процессом и его результатами, а потому этап простого созидания заменяется качественно новым этапом разрушения — строительства.

ЗНОМЫ. Теоретико-философские взгляды А. Рязанова наиболее всесторонне и глубоко отражены в его *зномах*. Следом за В. Короткевичем, считавшим, что наши писатели должны обижаться, когда снисходительно-небрежно утверждают, будто читать белорусскую поэзию — *як басанож па расе прайсціся*, ибо мы давно

уже выросли из крестьянских пеленок и почувствовали свою силу, имеем собственную стихию песенную и балладную, народную и философскую, наивную и книжную, А. Рязанов в вариациях *соловушка* и *скворушка* белорусской поэзии слышит скорее скрытую иронию, нежели похвалу. С его точки зрения, *пернатая* поэзия, несмотря на все ее ухищрения и определенные достижения в воспевании прошлого и нынешнего дня, никогда не сможет именно по этой причине адекватно отобразить как раз человеческую сущность поэзии, т. е. то, что отделяет человека от остального мира природы и принадлежит только ему: *Чалавек — не прырода, а мяжа прыроды, і ўсё самае значнае і галоўнае адбываецца якраз на гэтай мяжы*. А потому настоящей поэзии, особенно на нынешнем этапе, не хватает не птичьего щебета, а именно человеческого голоса.

Определить подобное весьма сложно, ведь новое в поэзии требует и явно новых критериев его оценки. Новое всегда воздвигается уже по новым законам, пусть уже из существующего и использованного неоднократно художественного материала, и потому предшествующий творческий опыт, несмотря на его обилие и значимость, не прибавляет зрячести и зримости.

А. Рязанов подвергает если не разрушению, то строжайшей ревизии все устоявшиеся критерии так называемого поэтического мастерства. И, бросая вызов едва ли не всей теории изящного искусства и высокой поэзии, вступает в борьбу даже со священными коровами классической поэзии, прежде всего метафорой, которая в своих самых крайних, самовольных проявлениях использует прием черной магии, силой сшивая то, что не хочет сшиваться, сопрягая то, что сопрягаться не желает.

Метафара занадта наўмысная, каб быць ісцінай, занадта ўмелая, каб быць шчырай, і тая паэзія, дзе самамэтнічае метафара, становіцца звярынцам, дзе ёсць самыя разнастайныя істоты, але няма ні ўнутранай прасторы, ні свабоды. Алесь Степанович уверен, что предназначение поэзии — все же не метафоризация действительности, а превращение ее в энергию, в смысл, в свет, в будущее; для поэзии главное не возбуждать, а будить. Метафора не только не приближается к действительности, а, скорее, наоборот, отдаляется от нее и совсем не просветляет последнюю, а искажает. А. Рязанов утверждает, что именно богатая метафора, звонкая рифма, гибкая фраза, т. е. все те атрибуты стихосложения, которые еще вчера определяли сущность *настоящей* поэзии и которыми так гордились, ныне уже не только не достойны похвалы, но и зачастую свидетельствуют об обратном, а искреннее неумение в стихотворчестве — более поэзия, нежели профессиональная имитация. Для поэтического произведения незначительный изъян гораздо предпочтительнее технического совершенства. Маленькое несовершенство во всем, в том числе и стихе, естественно и натурально, потому что и сам человек, и сама жизнь — несовершенны. Поэзию ни в коем случае нельзя низвести к конгломерату слов и художественных приемов, ибо она в первую очередь — духовное явление; утратив духовное начало и потенциал, творец превращается в производителя (в оригинале более созвучно *тварэц-вытворца*). Она должна всегда оставаться немного неправильной, баро́чной, ибо любая схематизация, стремление упорядочить ведет не к совершенству, призрачному и недостижимому, а к явной гибели. Каждый настоящий поэт должен самостоятельно, исключительно по-новому формировать цель и задачи поэзии, как и способ ее постижения, иначе получается не *езда в незнаемое*, а увесилительная поездка согласно правилам дорожного движения. По-новому реализует белорусский поэт соотношения рационального и эмоционального в лирике, которое отнюдь не представляет собой примитивное механическое сочетание *унция* чувств плюс *унция* мысли. Он подразумевает сплав их крайностей в таинственном самовосхождениии-превращении в этом процессе самовосхождения в нечто качественно новое, в котором чувство становится мыслью, а последнее — чувством. И логика в подобном процессе бессильна, ибо она подобна линзе, в соответствии с замыслом поэта увеличивающей или уменьшающей предмет этого отображения.

В то же время А. Рязанова, несмотря на его целенаправленную иконографию (портреты в книгах и журналах), внешний облик, манеру поведения, ореол, сложившийся в последние годы, нельзя назвать яйцеголовым профессором поэзии, как это принято в классических университетах США и Западной Европы, ибо *ratio*, несмотря на все усилия критики убедить в обратном, никогда не доминировало в его мировоззрении и поэтическом мире (вспомним хотя бы попытки перевоссоздания В. Хлебникова).

Для большинства поэзия всегда ассоциируется с вербальным процессом, неслучайно поэт фиксируется в памяти на трибуне, за кафедрой, на сцене, перед толпой, стихией. Никто не помнит конкретных слов, в памяти остается лишь жестикулировка и звучание голоса. Хотя поэзия помнит не только сказанное, но и умолченное. Тем более, что стихотворение значимо не только слышимым звуком, воспроизводимым во время чтения, но и своим эхом, которое начинает восприниматься потом, в тишине, ибо искусство по своей природе диалогическое, порожденный звук должен отзываться, иначе он становится подобным на глас вопиющего в пустыне. *Только же говорящая поэзия опустошается и вырождается.*

Подобное восприятие и понимание сущности поэзии позволяет А. Рязанову прийти к выводу, что высказанное и существует только потому, что существует невысказанное, а между этими двумя полюсами и происходит ток-течение всей языковой системы. Невысказанное — это и есть праязык до вавилонского столпотворения, а вербальность — это только верхний, утонченный слой языка, которым и пользуются в основном поэты. В силу этого язык в большинстве случаев — кантовская вещь в себе, а поскольку люди воспринимают лишь только один из множества языковых пластов, то задача для всех поколений людей постичь все величие и значимость сакрально-скрытого, спрятанного и непостижимого. (В качестве примера белорусский поэт приводит сборник поэзии древнего Вавилона и Ассирии *Я открою тебе сокровенное слово.*) В классическом стихотворении язык с его пластами становится компонентом стиха, а то, какой он — санскрит, латынь или совсем неизвестный диалект — для самого стихотворения не существенно. В то же время А. Рязанов афористически заявляет*: Кожны народ мае хоць адзін геніяльны твор, і твор гэты — мова.* В этом плане был чрезвычайно близок к А. Камю, считавшего французский язык единственным утешением в жизни.

В самых сокровенно-подспудных глубинах человеческой сущности слов нет, а потому поэзия опирается на безмолвие, подобно тому, как архитектурное творение основано не на кирпиче, дереве, бетоне или железе, а на идее, воплощенной в них. Стихотворение вырастает из тайны, которая разворачивает его, как разворачивается здание на плане архитектора, как разворачиваются деревья на плане природы. В силу этого его нельзя понимать вне стихотворения, ибо его сущность не внутри словесной оболочки (сравним с орехом), а во всем, внутреннем и внешнем, в том числе и в самой оболочке, хотя оно (стихотворение) по природе своей стремится выйти за собственные границы, как стрела выходит за границы лука, и вершина ее предназначения — полет.

Самое страшное в поэзии — это когда составление-сложение стихотворения из традиционных компонентов превращается, как и строительство дома, в схему-структуру, а потому роль автора ограничивается механизированным процессом; мастерство в таком случае побеждает творчески-интуитивное начало, хотя в силе победителя и спрятаны истоки будущего поражения. Единственная панацея — незавершенность всех процессов. Поэт всегда находится в состоянии незавершенности, и в то время, когда он творит, он создает не только произведение, но создается сам.

Новое в поэзии требует и новых критериев, нового восприятия и принципиально новых методов творчества. Геометрический рост количества стихотворений абсолютно не придает человечеству нового видения, наоборот, рост числа поэтов происходит в основном за счет потенциальных читателей, и скоро они будут равновелики. Поэзия классическая уступает новой, как классическая живопись отошла, уступила место модернизму и абстракционизму. Они изменились качественно, структурно, онтологически. *Не, паэзія — не хлеб надзённы, але —*

наддзённы. А. Рязанов, выдающийся экспериментатор современности, утверждает, что к ней нельзя привыкнуть; если привыкнешь — перестанешь понимать: *Паэзія траціцца, калі творыцца па аналогіі, па традыцыі, на майстэрства — з матэрыі вядомай, і адраджаецца, калі — з невядомай; па адкрыцці, па невыказанасці, па немагчымасці.*

А. Рязанов рассказывает о художнике Ив Клейне, который, стоя на мостике, выжимает краску из тюбиков в речной поток: на мгновения создаются и исчезают ему одному видимые узоры. Если результатом поисков всей мировой живописи стал черный квадрат Малевича, то символом всей поэзии становится белый прямоугольный лист, оставленный одним дзеновским философом как результат многолетних размышлений над смыслом жизни: *Пішам творы на белым полі сэнсу. Усё, што не адпавядае яму, што не раней адбываецца.*

А. Рязанов, не имея в своем арсенале специальных литературоведческих работ или философских трактатов, в своих *зномах* сумел показать трагедию восприятия классических традиций, форм, философии искусства в современных условиях. Он считает, что традиция наследует противопоставляя и противодействуя. Без этого *против* она окажется только заимствованием, и самое большое, чего сможет достичь, — повторить предыдущее.

КНИГА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ. Наследие для нас — все еще мероприятие, условный фактор культурной жизни и фактора сознания. Чтобы оно стало реальностью, должно находиться не только *там,* но и *здесь,* не только в *горизонтальном* пласте своей исторической эпохи, но и в вертикали постоянного диалога с последующими поколениями. Данный процесс белорусский поэт сравнивает с палимпсестом классическим, что возникло по ассоциации с известным стихотворением Владимира Жилки. Наследие, *спадчына — усё яшчэ недастаткова адкрытая, усё яшчэ недастаткова вывучаная і ацэненая, яна не мае магчымасці выконваць у грамадстве сваю неабходную і адно толькі ёй уласцівую ролю. Неактывізаваная спадчына не проста прысутнічае ў пасіве, але бесперастанна траціцца, вычэрпваецца. Як энергія, якая не ператвараецца ў карыснае дзеянне. Як святло, якое затульваюць контуры.* В наследии две устойчивые ординаты: она постоянно прошлая и постоянно современная. Своей сущностью она находится в истории, но своей специфичностью — в человеческих душах. А. Рязанов даже нашел глубокую закономерность в том, что у нищего забирают последнее, а богатому дается сверх того, что он имеет. Наследием владеет лишь тот, кто имеет силу его усвоить; тот, кто не имеет подобной силы, в лучшем случае является ее хранителем. Ценность наследия не в сумме экспонатов, а в способности этих экспонатов отзываться в эхе, которое обращается к современникам их же голосами; если затихает эхо — затихает наследие. По существу изо всей древней белорусской литературы доносится лишь слабое эхо Кирилла из Турова, Франциска Скорины и, возможно, Льва Сапеги. А. Рязанов становится ретранслятором, усилителем, резонатором национальной классической традиции. Он создал *Кнігу ўзнаўленняў*, которая стала своеобразной живой водой для национальной культуры: *Адамкнутыя паэтычным ключом, знямелыя творы старажытнай літаратуры нанава ўваходзяць у рэчаіснасць і нанава прамаўляюць тое, што яны казалі ў свой час.*

Пры ўсёй сваёй разнастайнасці яны ўзаемададаюцца і, сабраныя ў кнігу, уяўляюць беларускі кніжны эпас. Кроме упомянутых выше писателей А. Рязанов *узнавіў,* возродил произведения С. Будного, В. Цяпинского, И. Потея, Я. Руцкого, М. Смотрицкого, К. Транквилиона-Ставровецкого. Имеющий уши услышал эхо давних столетий, а *Нішто, удыхнутае ў абалонку* последнего из упомянутых философов может стать откровением, предтечей национального экзистенциализма. Патина времени покрыла рамки древних картин, придав им необходимый шарм и благородство; восстановленная опытно-бережным реставратором, она заблестела в лучах реального солнца бытия, а не музейного освещения. Восстанавливал же артефакты не ремесленник, а мастер, гениальный творец, с сенсорным душевным чувством времени. Этот урок не прошел для него бесследно, ибо он уже вырос из традиционного восприятия классики, нашел то общее, что объединяет поэтов

XII и XXI веков. Он знает, что стихотворение значительно не тем звуком, который слышится только во время чтения, а именно эхом, которое он создает после того, как отзвучит. И поэзия, живущая так долго высокими истинами, не может сразу отдаться низким. Если это она себе позволит, она упадет и разобьется.

Сравним оригинал предисловий Ф. Скорины и его воссоздание А. Рязановым:

Псалом есть всея церькви единый глас, свята украшаеть. Псалом всякую противность, еже ест бога ради, усмиряеть. Псалом жестокое сердце мякчить и слезы с него, яко бы со источника, изводить. Псалом ест ангельская песнь, духовный темъян, вкупе теор пением веселить, а душу учить.

Псалом — всеединый голос
церкви разноязычной.
Он возвеличивает торжество
и украшает праздник,
а распри,
вражду
и злословие усмиряет
ради всевышнего Бога.
Сердце,
пусть даже каменное,
псалом
трогает и смягчает
и, как из источника,
из него
источает слезы.
Псалом — песнопение ангельское,
тимьян духовный;
учит душу,
а тело
пением веселит.

А зовется псалтырь гудба, едина подобна к гуслям. Яко сам царь и пророк поет, глаголя: «Хвалите господа во псалтыри и в гуслех». И сего для поставил ест царь Давыд четырех великих ереов, их же избрал от всех людей, Азафа и Емана, и Ефана, и Идифума, абы гудли на псалтыри пред киотом завета господьня и псалмы абы припевали по вся часы, яко пишеть о том в первых книгах Паралипоменона.

Псалтырь сродни гуслям:
игра на ней
сопровождает пенье.
Сам царь и пророк завещает
в своем песнопении:
«Восхваляйте
Бога на гуслях и на псалтири!»
И ради этого царь Давид
избрал из людского собрания
четырех
иереев великих
Асафа, Емана, Ефана и Идифуна,
чтобы они играли
перед ковчегом завета Господнего
и чтобы пели
все время псалмы —
как об этом
свидетельствует первый
Паралипоменон.

Сравним, как воссоздаются строки *Тезеса* Язэпа Руцкого:

Понеже человек от душа ест составлен и тела. Подобне благій Бог, кроме иных изрядъных образ ими же своя дарованія души невидимо уделяет строити обычне, видимая знаменія ими же нами въспріемлемыми подает грехом прощеніе и изобильно благодати умноженіе. Прелесть убо изъобретенъна от многа уже времени супостаты православныя веры, и ныне некими ереси казательми отновленъна. Судити неподобъну быть вещ христіяном вне удиых знаменій къ содеянію спасенія требоваті.

Створаны чалавек
з двух непадобных пачаткаў —
з душы і цела.
Вось жа, Ўсявышні Бог
творыць не толькі
дзівосныя вобразы,
але і нябачна
сваімі дарункамі надзяляе —
каб станавілася гожай —
душу.
Ну а праз бачнае знакаванне,
якое намі ўспрымаецца,
адпускае,

у міласці да чалавека,
грахі.
Ад Бога — лагодань,
і той, хто багаты ёю,
ёю багаты адно ад Бога.
Бо ўжо здаўна,
з колішніх дзён,
абвясцілася ў свеце зваба,
а супастатамі праваслаўнай
веры цяпер
яна аднавілася ў розных
ерасях красамоўных.
Аднак хрысціяне,
дбаючы аб ратунку,
мусяць іх сцерагчыся
і не ўдавацца ў развагі
аб з'яўленых знакаваннях.

Одним из первых в новом тысячелетии он выступил против множества, которое представляется главным соперником поэта. Именно в множестве стихов последний перестает быть обязательным, перестает быть слышимым. Хороших стихотворений именно множество, но они должны быть исключительными. И они должны быть краткими: *Неабходна скарачацца да такой сцісласці і арганічнасці, як гэта ўмее рабіць кропля вады: у адной адбіваецца свет, дзве — расплываюцца, а ўвесь сусветны акіян уяўляе адну вялізную кроплю.*

А. Рязанов считает, что теперешнее стихотворение должно быть на одной страничке, дабы не перевертывать лист, и в нескольких строчках, дабы читать и иметь потребность начинать сначала; он должен сосредоточивать на себе, как сосредотачивает огонь. Но даже в этой миниатюрной форме должно умещаться значительное содержание; в будущем из них кинематограф сможет создавать фильмы. Стихотворение, как никакой другой жанр, наполнено полимерностью; в нем живут, страдают, любят и ищут истину герои стиха, смыслы, звуки, слова. Как атом неисчерпаем, так и *субатамны свет слова, паэзіі тоіць у сабе свае таямніцы і адкрыцці.* А. Рязанов сознательно культивирует миниформы, ибо *У мініяцюр свая паэтыка, свае асаблівасці і свае задачы, якіх не вырашыць буйной форме.*

У мікрасвеце мініяцюр не менш таямніц і магчымасцяў, чым у макрасвеце іншых жанраў. У мініяцюры пачынае «гучаць», істотнець не толькі асобнае слова, але і асобная літара, гук. Гук — «электрон» верша.

Мініяцюра прадбачыць паэму: як зерне больш колас, чым сцябло, так і яна больш мікрапаэма, чым мікраверш.

Нынешнее слово не в состоянии передать всю сложность бытия. И напрасно его ищут поэты в надежде, что именно через него можно высказаться до конца. Равновеликим тому слову может стать только молчание: *тое ж слова, але са знакам мінус. Яго страта, Яго след, Яго дадатнасць.* Молчание — определяющая константа мира Алеся Рязанова. Мир поэта — это мир только что созданный из хаоса, он еще не остыл, не отвердел, он мягок, подобно глине (не обожженной) или пластилину. Поэтому и слово еще не застыло в значении и значимости, в силу чего представляет собой первичную материю, подобную магме. В этом мире нет еще места человеку.

В **ПУНКТИРАХ** поэта чрезвычайно редкое появление непосредственно человека свидетельствует о его ненужности на данном этапе. Книгу пунктиров А. Рязанов назвал своеобразно — *Дождж: возера ў акупунктуры*. С чем только не сравнивали дождь за тысячелетия существования поэзии, но с лечебными иглами — никто. Поэтому и веришь оригинальности, первичности восприятия мира поэтом А. Рязановым, словно до него никто и не пытался воспринимать его образно. А. Рязанов непоколебим, что в целом абсолютно не свойственно его творческой индивидуальности, в этой причастности к великому таинству взаимодействия микрокосмоса индивидуальности и макрокосмоса бытия, хотя трудно проложить между ними границу, а душа и внутренний мир поэта

и вселенной иногда просто равновелики. А потому не известно ни будущее человека, ни перспективы мира, ибо сам *Гасподзь не ведае як след, Гасподзь вядзе эксперыменты.* Мы каждый день на рубеже бывших и будущих столетий. А потому не вернется воин, не вернется странник, вернется только сеятель. Хотя и прошлое всесильно, да и одновременно нельзя остаться оставаясь, как и нельзя исчезнуть, не исчезая:

Мінула, знікла...
і ў траве
прамень бязбоязна іграе.
Але мінулае жыве,
яно за намі назірае.

Подобно Соломону, А. Рязанов славит *міг, што быў і ўжо няма*, минуту, которой не хватает и в то же время хватает расстаться навсегда. Несмотря на определенное внешнее сходство пунктиров белорусского поэта с некоторыми формами восточной, прежде всего японской поэзии, его миниатюры — исключительно оригинальная находка, что проявляется в отсутствии исключительно строгих канонов и свободной структуре. В пунктирах от трех до восьми строчек, в последних — от одного до шести слов (вместе со служебными), нет регламента равного количества слогов, встречается в некоторых примерах, особенно в начале — рифма, отсутствует единый порядок создания художественного образа, в силу чего одни пунктиры показывают непосредственно процесс возникновения последнего прямо на глазах читателя-слушателя, другие — процесс зарождения и эволюции мысли:

Звон зазваніў і
прастора
Займела цэнтр.

* * *

Спякота.
хаваецца цень
у дрэва.

Доминирует явно и целенаправленно в пунктирах первое, зримое, импрессионистское начало, ибо, повторимся, в мире А. Рязанова практически не видно человека — он далеко, в лучшем случае на третьем плане, а потому на авансцене доминируют и владеют миром поры года, особенно осень, лес, деревья, озеро, река, ручеек, туман, птицы, камни, лужи, которые живут по своим законам, поэтому значимость каждого из них для объективного Бытия не менее велика в сравнении с человеческой. А потому путь человека — это следы в поле, когда господствуют ветер и снег; в силу этого необходимо не столько осмысливать эту жизнь, сколько воспринимать праздник жизни, увиденный глубоко своеобразно, оригинально, афористически:

Сонца заходзіць:
у двое вачэй
узіраюся ў трэцяе вока.

Поэтому и не звучит слово, а царит его антипод — молчание.

Поэзия нечто принципиально иное, нежели разговор; ее корни в безмолвии. Слово, рожденное молчанием и разумом, настоящее, в отличие от слова, рожденного словом: *Размова — мова думак, маўчанне — мова ісціны.* В свое время Андрей Белый *в поэме о звуке Глоссалолия* (1922) и К. Бальмонт в книге *Поэзия как волшебство* (1916) мечтали (вслед за А. Рембо) показать процесс возникновения слов. Каждый из них с помощью интуиции решил показать специфику звуков. Так, у Белого звук А — белый; Е — желто-зеленый; I — синева; О — красно-оранжевый; у Бальмонта: А — в лунной горе опал; И — тонкая линия, У — музыка шумов; у Рембо А — черный. Следом за оккультистами, с помощью аналогии они провели параллели между созданием слов и мирозданием. *Мир — абстракция круга миров; мир — момент мирозданий; понятие непонятно в понятии; эзотерический смысл его — круг; это — миф (А. Белый).* Креатором

чувствует себя и Алесь Рязанов, который, словно Адам, присутствующий при миросозидании и дающий имена всему сущему, проникает в смысл физического и духовного бытия вселенной и дает характеристику гриба, пня, серебра и золота, века, беды и горя, он пробует слово-понятие на вкус, пытаясь понять своеобразие *місяца, месяца, mieșęca, meșęсь, māsas:*

Украінскі місяць, быццам велічэзная міса, вісіць над местам: мешчанчукі цямяць, што гэта — поўня, і, што гэта талерка, нераспазнаны лятаючы аб'ект, — містыкі.

Польскі miesąc — місіянер: усім дням, сумешчаным у месяц, ён нясе сваё веравызнанне.

Чэшскі měsic, нібы люстэрка, звяртае ўвагу ўсіх на саміх сябе (мяне на мяне асабіста): мне — sic!

Літоўскі тепио ў мастацтве зменаў дасягнуў дасканаласці, і любое мастацтва, ці, па-літоўску, тепаs, мае ў ім свайго ментара.

Беларускі месяц перамяшчаецца па нябесным скляпенні, шукаючы на ім сваё ўстойлівае, сваё пастаяннае месца.

Праславянскі meșęсь памятае — але нікому не паведамляе — пра сэнс свайго існавання.

Старажытнаіндыйскі māsas масіўны, ён займае ўсё паднябессе, як маска, затуляючы ўсё сабою: сам — зоркі, сам — сонца, але і самота — таксама сам.

Определяя специфику *веника, вороны, голода и холода, чести, желудя,* он интригует читателя — что это, кантовская вещь в себе или постижимое умом и интуицией понятие?

В своих **ВЕРШАКАЗАХ** А. Рязанов не просто забавляется звучанием слов, игра которых в большинстве случаев непередаваема, ибо утрачивается при попытках перевоссоздания в иной языковой стихии (*збан — пазбаўлены душы-пустаты, да збана чэпяцца забабоны; не пень пеняют; срэбра — зрэбнае, зло паходзіць ад золата, век — нявечыцца чалавек; дзіда — дзірван; павуціна як ціна; бор — збор, сабор; кажух — скажоны*). Однако поток ассоциаций не поддается реальной сдержанности: *Срэбра — месяц, золата — сонца, срэбра — попел, золата — жар, срэбра — вада, золата — агонь, золата — ад розуму, срэбра — ад сэрца, срэбра — сябар, золада — уладар, срэбра бярэцца, золата — хаваецца, срэбру радуюцца, золату зайздросцяць, срэбра цешыць, золата лашчыць.*

Познаваем или непознаваем мир, изображаемый и не поддающийся изображению? Или все мы находимся в великом колесе:

Свет бязмоўна дапытваецца ў мяне,
куды я іду.
Але хіба я ведаю сваю канчатковую
мэту? Я толькі спраўджваю тое, на што
здатны, што вымагае ад мяне жыццё;
засмяглы — п'ю ваду,
галодны — ем хлеб,
зняможаны — адпачываю,
адпачыўшы, імкнуся наперад — і
апынаюся на сваіх слядах.
Я ў крузе, дзе слова шукае Слова, а чалавек — Чалавека.

В свое время всех сразило стихотворение В. Брюсова, состоящее из одной (sic) строчки: *О закрой свои бледные ноги!* Ныне появляются сборники подобных образцов, последние щедро цитируются на экранах TV (наиболее известный поэт-шоумен Вишневский с его стихами-строчками: *О как внезапно кончился диван; Вернулся муж, а мы в прямом эфире.* Появляются циклы стихов, состоящих из двух, максимум трех строчек, отдаленно напоминающих классические японские стихотворные формы. Популярностью пользуются афоризмы, переделанные пословицы, притчи в соломоновском стиле, версеты, пунктиры, стихосказы, перформансы, пересказы и адаптации классических произведений. Зачастую от многотомных сборов трудов писателей остаются лишь редуцированные

крылатые слова, да и то цитируемые в совсем ином смысле, нежели у автора. Все к месту, а чаще всего — нет, вспоминают слова Достоевского о красоте, которая должна спасти мир. Но разговор там идет не об абстрактной красоте, а о величии Христа. Да и расхожая фраза *в здоровом теле здоровый дух* звучала совсем по иному: *Orandum est ut sit mens sana in corpore sana — Следует молиться о том, чтобы в здоровом теле был и здоровый дух.*

Ныне уже завершается процесс стирания границ не только между жанрами, но и литературными родами, а потому говорить о жанровой чистоте становится моветоном (исключение, конечно, классические формы сонета, триолета, рондо, которые весьма популярны и по существу переживают второе рождение). На недавней конференции *Национальное и общечеловеческое в славянских литературах,* посвященной памяти Ивана Шамякина (Гомель, 20 сентября 2007 года) черногорский поэт и ученый Слободан Вуканович выступил как основатель *ПОЕМУВИЗА (Поезија, Музика, Визуелно)* и предложил вниманию присутствующих стихотворение *Заточеник свира баладу повратка*, в котором текст звучит под музыку Шопена (*Баллада*) и проекцию системы образов.

Вспомним хотя бы эволюцию классической баллады, которая, как нам кажется, наиболее из всех жанров подверглась модернизации, что обусловлено как ее внутренними законами поэтики, так и фактом использования на протяжении почти восьми веков поэтами самых различных стилей и ориентаций. Не случайно утверждали: *Сонет всегда оставался сонетом, элегия — элегией. Баллада не всегда была балладой.* Польский ученый И. Опацкий считал, *что баллада разных периодов напоминает фотографию одного и того же человека в разном возрасте — на первый взгляд кажется, что это разные люди.* Эманация баллады, которую Гёте назвал живым зародышем, прасеменем (*Lebendiesur — men*), изменила внутреннюю сущность не только поэзии, прозы, но и кинематографа, изобразительного искусства, музыки, придавая всем последним торжественность и возвышенность. Начав с веселой танцевальной песенки с игривым рефреном, пройдя через канонизированную форму из 28 строчек со сложнейшей рифмовкой, соединяясь практически со всеми близкими и не очень формами, в том числе даже с жанрами-антиподами (ода и эпитафия), она стала объемным эпическим произведением о трагической доле человека и сути его устремлений в этой земной юдоли (некоторые баллады, например, у Я. Чечота, были длиннее поэм). В наше же время, когда сама *поэма* состоит из 200 строчек — у Чечота объемнее интродукции, баллада уже абсолютно не похожа на классические образцы. В. Шнип на этом пути создал цикл *Баллады года*, в котором на 12 баллад использовано ровно 182 строчки (на каждую от 10 (!) до 18 (!). И это в балладе, в которой в XIX веке только для описания фона действия использовали две-три страницы текста.

ВЕРСЕТЫ. Представляют собой новую разновидность баллады версеты А. Рязанова, напоминающие баллады и притчи и соединяющие в себе сказовую интонацию и философскую афористичность, сюжетное развитие и размышление, реальность и магию фантазии. Сравним версет А. Рязанова *Безграничье* и балладу литовского поэта М. Мартинайтиса *Кукутис рассказывает о своей судьбе:*

Палову жыцця падаюся ў свет,
палову — варочаюся са свету,
палову жыцця пішу на дарозе свае імёны,
палову — закрэсліваю напісанае,
палову жыцця расту ад зямлі, палову —
расту з зямлёю:
і ўсё менш ува мне мяне,
і ўсё больш бязмежжа.

Такая ў мяне хаціна —
на два канцы:
у адным —
жывы шпацырую,
а ў другім —
памерлы ляжу.

— Такая моя изба:
о двух половинах.
В окно погляжу —
Солнце всходит,
Гляну в другое —
Солнце уже садится.

С одной половины —
цветенье в саду,
а с другой поглядишь —
листопад, умирание яблок.
В одном углу
величают невесту,
а в другом — погляжу —
вроде ее обмывают.

Данная форма абсолютно не напоминает классические формы баллад В. Скотта, Ф. Шиллера, А. Мицкевича, В. Жуковского (вспомним *Светлану, Три Будриса, Кубок*):

Дзве мэты, якія пярэчаць адна адной,
ува мне супадаюць: мэта — ўсё займець і
мэта — ўсяго пазбыцца.

а) не ведая
ведать
чего не положено
ведать
б) не видя
видеть
чего не положено
видеть
в) не думая
думать
чего не положено
думать

Балладным началом в версетах является в первую очередь движение, *рух*. Отнюдь не классическое — баллады скорость голая (Н. Тихонов) — эпохи революционных преобразований в обществе и искусстве, но движение традиционное — физическое и мысли.

В силу этого в версетах А. Рязанова ведущим, доминирующим становится образ-символ дороги и движения по ней или имитация последнего: *Дарога і вёска — асноўныя вобразы беларускай літаратуры. Але калі раней дарога ўпадала ў вёску, то цяпер, хутчэй, наадварот, і вёска ўпадае ў дарогу*. Вёска в культурной парадигме нации, в традиционном для белорусов представлении и понимании, ушла в небытие, растворилась, подобно легендарной Атлантиде, в океане времени, а потому в настоящем осталась только дорога как основа национального бытия.

В версетах А. Рязанова практически все наиболее значимые события происходят в пути-дороге или являются следствием-результатом, закономерным и неотвратимым, движения: *Шлях — не адлегласць, ён не вымяраецца верстамі. Прайсці мала, неабходна прайсці зычачваючыся, асутніваючыся. Гэта яшчэ — і перш за ўсё — унутраны працэс*.

Дорога в версетах А. Рязанова — это чаще всего лишь вектор пути, который нередко нужно торить самому. Это *Лясная дарога*, на которой из земли выступают узловатые корни, подобные чьим-то крикам и нареканиям. По этим дорогам идут *Навобмацак*, ибо движение представляет собой не путь из пункта А в пункт Б, а перелет из одного бытия в иное; каждый последующий — только за небосвод; в каждом мгновении сосредоточено, сконцентрировано все время. Именно поэтому все, кто идет по дороге — *дзядзькі, дзецюкі, цёткі, маладзіцы, падлеткі, жанкі, старыя* — уже не посторонние для поэта, не чужие, а неким образом свои. Рязановская дорога полна впадин и погорков. Рядом бегут асфальтированные трассы, на которых все ровно, определенно, понятно, о них известно все — откуда они и куда ведут, однако поэт избирает свою дорогу, ибо *яна рухаецца, яна разважае, яна размаўляе, яна ўдакладняе маю хаду*. Тем более, что, спускаясь в очередную впадину, он изведывает сумрак, которого нет еще на земле; поднимаясь на новый погорок, он еще раз встречает солнце, уже зашедшее на земле.

Движение под силу лишь живому и действенному. Вот почему на том же самом месте, в том самом времени, в том же измерении остается лишь одногодок поэта (*Гаворка Саша*), с неземной грустью следящий за дорогой, по которой удаляются в неизвестное будущее его одноклассники.

На дороге, уже своей сущностью подразумевающей опасность для жизни странствующих, спорадически возникают непреодолимые препятствия. Так, пришедшая внезапно ночью вода превращает улицы в непроходимые реки (*Плынь*). С неба падают огненные искры, монеты древних княжеств, жабы и рыбы, разноцветные камни; земля под ногами превращается то в трясину, то в песчаную пустыню, то в кладбище динозавров; в деревнях на заборах встречают голосистые

петухи, а из-под забора выбегают собаки и гусаки (*Здарэнне*). Даже обыкновенный порог (*Парог*) становится калиновым мостом, разделяющим мир на тот и этот, ибо он сделан из *шчырага дрэва*, людьми, которых уже нет с нами. Забор (*Дубовы плот*) движется вместе с поэтом, мешая ему встретиться со своим умершим дедом, который зовет-влечет внука к себе обещанием раскрыть тайну жизни. Внезапно он, забор, превращается в изгородь территории Бабы Яги, не той, сказочной, любимицы детворы, а именно Костяной ноги, повелительницы царства мертвых, ибо на каждой штакетине появляется Дедова голова. Порог, как и дубовый забор, становится границей между живыми и умершими. Ибо без порога нас нет, после порога — тоже:

Ёсць месца ў набытку і месца ў страты.
Дзе растлумачыцца чалавеку, хто ён такі?
Хаты чакаюць, што вернуцца людзі.
Пыл ацярушваецца на парозе.
Калі мы са светам — мы супраць свету,
калі мы з прыродай — мы супраць прыроды,
калі мы з родам — мы супраць роду…
Мінулае тоіцца ў змроку, будучыня — у светлыні.

В версете *У царкве* именно храм становится местом и сущностью борьбы друзей, разъединенных судьбой — герой с этого света, а он — уже с того. На них смотрят проникновенные образа, сами собой вспыхивают и гаснут свечи, считают победы и поражения каждого начерченные в воздухе кресты. Да и сама церковь балансирует между реальным миром и потусторонним, ибо цена поединка немалая; если победит он, то забирает героя с собой; если герой осилит, то остается здесь.

В целом нелегко определить однозначно, каким путем движется поэтический мир А. Рязанова — библейским или космическим? Идут ли его герои к определенной цели (неведомой, скорее всего, никому, в том числе и им) или продолжают ходить по извечному кругу:

Спыніўшыся на дарозе, адны з нас бу-
дуюць на ёй жытло. Мы ўжо знайшлі, —
яны кажуць, — месца сваё пад сонцам.
Другія, збаяўшыся, што іх у канцы не
стане, падаюцца назад, ва ўсё большы цень.
Трэція, аддаўшы дарозе, што іх затрым-
лівала і цямніла, увароходзяць, быццам у
браму новага свету, у сонца, і самі стано-
вяцца сонцам, і ў людзях зямлі прадбачаць
сонцалюдзей.

Дорога рязановская настолько всесильна, что она без особого труда каждого идущего заставляет играть определенную роль до самого конца пути. Им неоходимо быть одновременно и всем, и ничем, ведь дорога никому ничего не объясняет, а просто вновь заполняет собой все до конца, раздавая идущим новые роли. А потому снова все будут удивлятся тому, что люди есть люди, и что скоро всему — конец. Дорогу указывают чаще всего вещие птицы (*Птах, Адгэтуль*), ибо звезды даво сложились в знаки нераспознаной карты. Со всех сторон снова зеленеют леса, половеет жито, пестрят цветами роскошные луга. Но нельзя вернуться туда, где ты уже был, стать против своих следов; как и нельзя задержаться здесь: *Мой прастор — мяжа. Мой час — вастрыё. Мой шлях — шлях агню: адгэтуль.*

Не случайно дорога, которая вела его героя, вдруг повернулась поперек и стала расщелиной (*Расколіна*), превратив все стремления ее преодоления в пустую надежду, ибо она расширяется на все окрестные тридевятые земли, реки, пустыни, горы.

Притчевое начало также заметно определяет структуру версетов А. Рязанова, хотя надо всегда помнить, что содержание и форма в произведении не совпадают, а взаимодействуют: то, что было содержанием для предыдущей формы,

само становится формой для последующего содержания. Поэт всегда заставляет держать в сознании представление о ядрах ореха и самом орехе, составляющих неделимое целое. И хотя Ф. Скорина утверждал, что в классической притче *сокрыта мудрость, яко моцъ в драгом камени, и яко златъ в земли, и ядро в ореху*, для А. Рязанова более близка концепция о единстве и неделимости поэтического произведения, вот почему сущность версета в органическом сплаве упомянутых уже афористичности, сюжетного развития размышления, реалистичности и фантазийности. Ведь и сам человек нечто единое с окружающим миром и в то же время стремящееся выйти — вырваться из этого единения, ибо в этом только его спасение. Человек стремится познать этот мир снаружи и изнутри, и в то же время остерегается чрезмерного знания и самой тайны бытия (*Я баюся таго, што ведаю*), мучится, страдает, стремится не позволить им овладеть своим разумом и одновременнонно боится остаться с ними наедине (*за вокнамі маёй свядомасці цішыня крыкі — «Вучань чараўніка»*). Однако выйти из подобного состояния невозможно, ибо сердце мироздания бьется в нем. Подобно непознаваемости языка доминирует непознаваемость мира. Границы последнего человек способен отметить табличками, которые лишь заменяют сущность явления (*Шыльдачкі*). Непознаваемость мира, его самодостаточность и самофиксация, герметичность и сакральность не позволяют человеку постичь, откуда может прийти неизведанное, неизвестное, а потому опасное. И пусть люди ограждают себя каменной стеной, мостят дол, ставят молниеотводы, создают законы, планируют свою жизнь на века, все равно вдруг наступит урочный час X, когда пожелтеет береза в сквере, упадет возле ратуши мертвая птица, загорчит вода в колодце и все услышат, как плачут наши предки (*По ком звонит колокол?*) или нечто иное. Апокалипсис наступает отнюдь не по графику, тем более человеческому.

Несмотря на то, что европейская притча своими корнями уходит в иудейско-христианские традиции, непосредственно ветхозаветные и евангельские мифологемы в поэзии А. Рязанова, как и в целом в белорусской культурной традиции (исключение — Р. Бородулин), не доминируют, если использовать эвфемизм. Пожалуй, за исключением сынов Иова, непосредственно библейские персонажи не упоминаются (лишь в одном из *зномов* поэт протестует против того, что Христа тянут, словно одеяло, на себя). Аллюзии на Священное Писание у А. Рязанова отнюдь не зримы, скорее скрыты, подспудны. Так, во фразе *калі мы лічым адно аднаго па пальцах — нас шмат, калі мы лічым адно аднаго па душах — нас мала* слышится извечное *много званых, но мало избранных*. Версет *Дзічка* генетически связан с Христовой притчей о смоковнице, на которую уже подготовлен топор. Правда, акцентация образа кардинально меняется — у А. Рязанова дичка не знает, что она дичка, как горькая полынь не знает о своей горечи, а люди не знают, что они люди.

Именно в небе среди белых облаков сосуществуют чистые души апостолов и коров (*Пастухі*). В рязановском *рэчка цячэ — і знаходзіць дарогу да мора* явно слышится классическое *и возвращается ветер на круги своя.*

Отличительной особенностью мира версетов А. Рязанова является его несформированность и незастылость. Поэт словно присутствует при воссоздании вселенной, он одобряет этот процесс настолько, что даже возомнил себя его участником, заготовив глину, дабы создать своих людей (*Гліняныя чалавечкі*). В чем-то идя на сознательное богохульство, он лепит фигуры соседей, родителей, себя, однако, несмотря на внешнее сходство искусственных людей с реальными, вдохнуть в них душу, оживить глиняные копии он не в силах.

Лирический герой А. Рязанова пытается оторвать себя от земли и еще раз, подобно креатору, отвести от глухоты свой слух, отделить от слепоты свое зрение, из непостижимого выплавить свое понимание (вспомним, как отделены были при создании вода от земли, а день от ночи, свет от тьмы). В этом формирующемся мире может существовать *Другое сонца*, погасить которое под силу лишь матери, а также происходят непостижимые вещи — восходя на башню, можно размышлять башней; идя по дороге — видеть дорогой; существует возможность следить за воскрешением звезд. Даже камень становится зрячим (*Відушчы камень*), благо-

даря чему он в состоянии читать разноцветные мысли людей, ему под силу заставить сиять землю, море, небеса и, завершив существование старого мира, создать новый — зрячий. А в небе возникнет новая *Планета метамарфозаў*. Если мир столь необычен, так как же людям познать его? Существуют некие силы, неподвластные пониманию человека; нет извечной опоры, на которой люди смогли бы удержаться, никому нельзя доверять, даже камню и железу. И все, что случается, определено отнюдь не человеком. Прошлое постоянно присутствует в нынешнем дне — *мінулае жыве, яно за намі назірае*. Все следит за человеком, его делами и ошибками. Природа стирает следы человека, засыпая их песком или заглушая травой, не случайно песок у калитки напоминает волну мертвого времени. А потому он никакой не царь природы, а просто игрушка, забавка в руках мощной силы. Хотя и он пробует сказать что-то свое. Так, человеку вкладывают в одну руку то поражение, то радость, и он успевает схватить в другую победу, грусть. А то, к чему он прикасается, становится собственностью, даже частицей человека (оружие, щит и меч так прирастают к рукам, что становятся частью тела, и от них практически невозможно избавиться). Герой А. Рязанова, подобно древнему пращуру, не может до конца постичь — живая река или нет; мертвый топор или нет, ибо первая бежит, движется, а второй рубает деревья. Ему позволено отделить сладость от горечи, наслаждение от страдания, рай от ада, хотя невозможно жить только в *слодычы, насалодзе,* эдеме, без антипода они хиреют и пропадают, их односторонность не витальна. А посему можно говорить с ангелами, которые огненными мечами зорко всматриваются в души. А мир продолжает свои эксперименты и испытания, и хотя апокалипсис не наступает, звезды переворачиваются и выливают на наши поля серу и смолу, взрываются громы над нашими городами, качается солнце (*Апошні час*).

Невозможно постичь сущность внешнего и внутреннего мира, ибо мы не в силах выйти из ограничения, наложенного природой, несмотря на все ухищрения и включения в него не только земли, но и великих миров и галактики (*Абсяг*). А человек стремится приобрести все и все потерять; что отвоевывает у дня, забирает ночь; что отдает ростаням, забирает перекресток. Да и сам мир под стать человеку, ибо на небе светятся сразу два месяца — молодик и ветах (*Мяжа*): *ты ўжо мінуў, — гаворыць мне вечар. Ты яшчэ не настаў, — гаворыць мне ранак. Я мінаю і настаю, і неадступна мае сляды цягнуцца ўслед за мною.* Мертвый, как казалось, мир вещей не менее живой. Даже камни, символ неподвижности, гордятся собой, чувствуют свое превосходство, учатся быть людьми. Мечта героя — уйти в траву, раствориться в земле, исчезнуть. На пороге сидит старик, которому уже трудно выйти из хаты и возвратиться в нее: тело вобрало весь путь и само стало порогом — что же может помочь человеку переступить этот порог? В этом он подобен слову, что учится говорить, мысли, что учится мыслить, жизни, что учится жить. Ибо всесильное время и растит человека, и косит его, как траву; смерть становится рождением, которое не помнит о том, что было перед ним. Все съест сырая земля — даже гробы из дуба, граба, сосны, камня; да и человек — это земля, в которой хранится чье-то сокровище; путь загадочен, как полет летучей мыши. Мир нельзя отобразить единым во всей его целостности: он познаваем только в единстве единичных мгновений. Поэтому в зеркале нельзя увидеть свое отражение, лишь только изредка появляются изображения птиц, очертания неизвестных вещей, облики людей (*Падарунак хроснай маці*). В зазеркалье живет Бог, только узнать его невозможно. Как увидеть что-нибудь на иконе, на которой нет никакого изображения, никаких черт (*Чорны абраз*). Лишь осколки разбитого зеркала смогут дать общую картину бытия, хотя и они, отображая жизнь в каждое мгновение, не хотят объединяться в неделимое (*Асклепкі*). А потому Познание — наказуемо: *Потым мы будзем хварэць, будзем пакутаваць, але будзем ведаць, што далучыліся да самай сутнасці свету і што пілі з крыніцы, з якой піў святы.* В этом и скрыт смысл Бытия, к которому каждый идет своим путем.

Диалог поэтов и культур

Недавно получил письмо из Казани. Пишет Ренат Харрис. В прошлом году он и еще один татарский поэт — Роберт Миннуллин — были участниками «круглого стола» «Художественный путь друг к другу». Побывали вместе с белорусскими писателями в Сморгони. Открыли для себя музей Франтишка Богушевича в Кушлянах. Познакомились с нашими белорусскими литературно-художественными журналами. Ренат Харрис неединожды уже писал мне о том, что хочет приобщить своих коллег к переводу современной белорусской поэзии на татарский язык. И вот первая ласточка: в еженедельнике, издающемся в Казани и название которого на русском языке звучит как «Культурная пятница», в марте опубликованы стихотворения Миколы Метлицкого, Змитрока Морозова, Леонида Голубовича, Миколы Чернявского, Юрия Сапожкова, рассказ Алеся Бадака.

Но всё имеет свои истоки…

Восемьдесят лет назад в одном из номеров белорусского литературно-художественного журнала «Маладняк» за 1929 год появилась статья о татарской литературе. Будто в подарок к этому своеобразному юбилею была издана в Минске книга стихотворений народного поэта Татарстана Рената Харриса на белорусском и русском языках — «Серебряный луч». Правда, в этом отрезке времени из восьми десятилетий произошло немало событий, свидетельствующих о развитии белорусско-татарских литературных связей. В 1968 году в Казани увидела свет антология белорусской литературы на татарском языке. А в 1975 на языке Янки Купалы и Якуба Коласа «Моабитскую тетрадь» легендарного Мусы Джалиля пересказали белорусские поэты Алексей Пысин и Степан Гаврусёв. Отдельная тема — жизнь народного песняра Беларуси Янки Купалы в Татарстане. 20 апреля 1942 года поэт пишет литературоведу Евгению Мозолькову: «…Я живу здесь под самой Казанью, по другой бок Волги... Адрес мой: Татарская АССР, Верхне-Услонский р-н, Печищи, мельница». В 1984 году в Казани была издана повесть белорусского прозаика Александра Капустина «Соленая роса», возвращающая читателя в Беларусь 1941 года.

…Стихотворения, собранные в минском сборнике Рената Харриса, автора более 40 книг, собрания сочинений на родном татарском, на русском, английском, башкирском, чувашском языках, написаны в разные годы. Оценкой поэтического мастерства автора «Серебряного луча» являются присужденные ему Государственная премия Российской Федерации за 2005 год, Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, Республиканская премия молодежи Татарстана имени Мусы Джалиля. На белорусский язык стихотворения Рената Харриса перевел Виктор Шнип, на русский — Юрий Патюпа. Автор предисловия к книге и генератор в деле появления ее на свет — писатель Сергей Трахимёнок, который в своем творчестве много внимания уделяет теме интернационализма, дружественных связей разных народов. А «засверкал» «Серебряный луч» тиражом в тысячу экземпляров в минском издательстве «Ковчег».

Книга Рената Харриса подтолкнула и к такого рода размышлениям. С Беларусью, ее фронтовой и партизанской судьбой, так или иначе связаны многие татарские писатели, поэты. В июле 1944 года у села Городилово Витебской

области парторг роты поэт Исхак Закиров поднял в атаку свое подразделение. Сам, сраженный фашистской пулей, упал… Целый ряд его стихотворений, в том числе и написанных на фронте, перевел на белорусский язык поэт-фронтовик, военный журналист (работал он и в газете Белорусского военного округа «Во славу Родины») Петро Приходько. В 1941 году в боях под Оршей участвовал татарский поэт Наби Давли. Попал в окружение. Затем был фашистский плен. В апреле 1945 года убежал из Магдебургской тюрьмы, перешел линию фронта, стал в солдатский строй… И его стихотворения звучат на белорусском языке. На фронте стал офицером татарский поэт Фатех Карим. Воевал в Беларуси, погиб под Кёнигсбергом. Освобождал Беларусь и писатель Гадель Кутуй, который умер в госпитале на территории Польши. В газете «За счастье Родины», выходившей в одном из соединений 3-го Белорусского фронта, служил поэт Шайхи Манур. Воевал в Беларуси и поэт Шараф Мюдарис, одно из стихотворений которого перевел на белорусский язык Иосиф Скурко. В партизанском соединении Константина Заслонова воевал татарский поэт Заки Нури. В знак благодарности в Беларуси он отмечен званием почетного гражданина города Орши. И это, конечно же, не все подсказки к военным страницам в биографии белорусско-татарской литературной дружбы. Почему бы не издать такой антологический поэтический сборник, представляющий военную тему в творчестве татарских поэтов, связанных с Беларусью? Возможно даже, издание должно быть на трех языках — белорусском, татарском и русском. И, наверное, и Ренат Харрис, и Роберт Миннуллин могли бы быть в этом деле главными генераторами с татарской стороны?..

Но сегодня подумалось вот еще о чем… Журнал «Нёман», поскольку издается на русском языке и на русском языке представляет белорусскую литературу, является своеобразным мостиком в широкое пространство. А сейчас это особенно важно. Если о тебе не знают в мире, вряд ли возможно быть влиятельным и в своем доме. Вот и Ренат Харрис тексты для перевода на татарский брал из «Нёмана». Здорово было бы, если журнал приходил бы во все крупные библиотеки, хотя бы Российской Федерации. Когда-то болгары рассылали один из своих авторитетных литературно-художественных журналов всем членам правления Союза писателей СССР, живущим в разных республиках. Рассылали бесплатно! Такое сегодня и «Нёману», и Союзу писателей Беларуси, конечно же, не под силу. Но идти вперед, смело заявлять о себе во всем мире — это и «Нёмана» задача. Задача во имя утверждения и развития белорусской литературы

Кирилл ЛАДУТЬКО



Авторы номера

ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович. Родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг прозы «Гісторыя хваробы», «Смута», «Шчарбаты талер», «Афганская шкатулка». Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

МЕТЛИЦКИЙ Микола (Николай Михайлович). Родился в 1954 г. в д. Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Член правления Союза писателей Беларуси. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси. Главный редактор журнала «Полымя». Живет в Минске.

КОЗЛОВ Анатолий Сергеевич. Родился в 1962 г. в деревне Осиновка Краснопольского района Могилевской области. Окончил Гомельский государственный университет, аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Прозаик. Автор книг прозы «Міражы ценяў», «...І тады я памёр», «Незламаная свечка» и др. Работает в журнале «Нёман». Живет в Минске.

ЦИРКУНОВ Анатолий Иванович. Родился в 1936 г. в Минске. Окончил Белорусскую государственную консерваторию им. А. В. Луначарского. Поэт. Печатался в журналах «Вожык», «Беларусь», «Крыніца», «Маладосць», «Полымя», еженедельнике «ЛіМ», в российских изданиях. В «Нёмане» — впервые. Живет в Минске.

СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы «Вежа», «Сам-насам». Живет в Минске.

СОЛОВЬЕВА Наталья Федоровна. Родилась в 1962 г. в д. Ерошевка Крупского района Минской области. Окончила Белорусский государственный университет. Печаталась в газетах и журналах Беларуси, России, Украины. Автор книги поэзии «Не любить нельзя». Живет и работает в Витебске.

МАКСИМОВА Дарья Николаевна. Родилась в 1987 году. Студентка факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. В «Нёмане» публикуется впервые.

ЛИТВИН Георгий Егорович. Родился в 1941 г. в д. Малиновка Ушачского района Витебской области. Закончил Минский политехнический техникум. Печатался в областных и республиканских газетах, журнале «Нёман».

ШУГЛЯ Владимир Федорович. Родился в 1947 г. в г. Кыштыме Челябинской области. Окончил Свердловский институт народного хозяйства, Уральский социально-политический институт в 1991 г. Член-корреспондент Международной академии информационных технологий. Автор нескольких сборников поэзии. Президент холдинговой компании Торговый дом «Мангазея» (г. Тюмень), почетный консул Республики Беларусь в Тюменской области.

НОСИК Борис Михайлович. Родился в 1931 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Московский институт иностранных языков. Прозаик, биограф, публицист, драматург, переводчик. Автор множества книг. Живет в Париже.

НЭШ Огден Фредерик. Родился в 1902 г. в г. Рай штата Нью-Йорк (США). Учился в Гарвардском университете, но не окончил его. Известный поэт-сатирик. Автор множества сборников поэзии. В 1950 г. был избран членом Национального института искусств и литературы. Умер в 1971 г. в Балтиморе (США).